

Министерство культуры Республики Беларусь
Белорусский государственный университет культуры и искусств

И. В. МОРОЗОВ

ДОМИАДА

Корпус 1

**ДОМ,
КОТОРЫМ
МЫ ЖИВЕМ**

Минск
БГУКИ
2023

УДК 130.2:[392.3+314.117.3]
ББК 71.061
М801

*Рекомендовано к изданию
ученым советом Белорусского государственного университета
культуры и искусств (протокол № 2 от 06.10.2022)*

Рецензенты:

*В. А. Салеев, доктор философских наук, профессор,
заслуженный деятель культуры Республики Беларусь;
Т. В. Котович, доктор искусствоведения, профессор,
профессор кафедры германской филологии
ВГУ им. П. М. Машерова*

Морозов, И. В.

М801 Домиада. Корпус 1. Дом, которым мы живем / И. В. Морозов ; М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2023. – 250 с.
ISBN 978-985-522-323-9.

Не найти другого столь величественного феномена-архетипа, нежели Дом. Он – явь и символ, сказка и быль, память и грезы, святыня и изгой. Источник самых трепетных переживаний: уединенности и общения, бездомности и одичалости, ухода и возвращения, пустоты и тишины, потаенности и простоты, магии и обыденности... Словом, Дом был-остаётся не просто телесным вместилищем, но одушевленной аурой-средой. Ею мы живем-сопереживаем общую жизнь-судьбу. Не зря на чувственном Востоке говорят: не «мы строим дом», но «дом строится нами». И тому есть-приводится множество убедительных соображений весьма знаменитых домочадцев человечества.

**УДК 130.2:[392.3+314.117.3]
ББК 71.061**

Научное издание

Морозов Игорь Вячеславович

ДОМИАДА

Корректор В. Б. Кудласевич
Технический редактор Л. Н. Мельник
Дизайн обложек Е. И. Морозова, И. В. Морозова

Использована репродукция конкурсного проекта ЮНЕСКО «Жилище будущего»,
рисунки Маргариты и Романа Морозовых

Подписано в печать 10.05.2023. Формат 60x84¹/₁₆.

Бумага офисная. Ризография.

Усл. печ. л. 26,15 . Уч.-изд. л. 19,44. Тираж 50 экз. Заказ 808.

Издатель и полиграфическое исполнение:

учреждение образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,

распространителя печатных изданий № 1/177 от 12.02.2014.

ЛП № 02330/456 от 23.01.2014. Ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск.

ISBN 978-985-522-323-9

© Морозов И. В., 2023
© Оформление. Учреждение образования
«Белорусский государственный
университет культуры и искусств», 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Сказка-правда с намеком на ложь, или Домомиф, что внутри нас есть	4
Закат и Восход Дома, или От явного к потаенному	22
Преодоление геометрии притяжения, или Свято Место пусто...	39
Одичалость без доверия, или В поисках новой укрытости	52
Встать-пойти из Дому, или Осуществление в себе личности	69
В думах о Матери-Доме, или Прилет к ненаглядной певунье своей	85
Место встречи с самособой, которое изменить нельзя, или Многоликое одиночество	99
Свой Дом, который живет в нас, или Рука через порог с радостью	115
Именной дар-наследство, или Уют гнезда, хранящего от зла	130
Дома без Огня не бывает, или Гость на Пороге	144
Стук в открытые Двери, или Око Окна	163
Многоликая Пустота Дома, или Ис-на-полнение Вселенской Пустоты	175
Бесчинства шума городского, или Обитель Поумолчания	190
Береженого и Дом бережет, или Без вины виноватая	211
Староновость Дома, или Возвращение в вечность	230

*Моим родителям и их предкам,
моим детям и их потомкам,
имеющим свой родной Дом
и меня в нем*

ДОМ, КОТОРЫМ МЫ ЖИВЕМ

**Сказка-правда с намеком на ложь, или Домомиф,
что внутри нас есть**

Этот рассказ мы с загадки начнем –
Даже Алиса ответит едва ли:
Что остается от сказки потом,
После того, как ее рассказали?

В. Высоцкий

Как только на глаза уже прямоходящему ребенку попадаетея некий «строительный материал» – ветки, камешки, песок – он тут же превращается в подобие зодчего-демиурга. Лучше всего это прослеживается на песчаном пляже, безмерной песочнице. Диву даешься, наблюдая, как малыш с помощью какого-то чутья определяет в девственной, морем приглаженной стихии песка место своего будущего творения. Как он затем, ничего ведь не зная о принципах архитектуры, создает вполне выразительную и внятную форму.

Секрет здесь прост: в ребенке уже заложена-лучится врожденная целостность всего человеческого в Человеке: от первых навыков пространственно-временной ориентации до сложнейших духовных актов богоискательства. Им подспудно движет космогонический опыт многих поколений, опыт творческого обретения собственного мира, соответствующего опять-таки врожденным представлениям о порядке, гармонии и красоте. Фактически детское творчество, мировосприятие в целом самобытно возвращают нам детство человечества-культуры с его

органическим слиянием с миром. В нем не было ничего без жизни, без души, без заботы. Ибо появление человека естественно вышло в «заботившейся» об этом Природе.

В Ветхом Завете не зря это названо Творением. Не один День-эпоха прошел, прежде чем Господь Бог, преисполненный только ему ведомой озабоченностью, решился на создание собственно человека. При этом он все время требовательно контролировал себя: только увидев, «что это хорошо», продолжал начатое. Так вот дух этой изначальной Заботы ребенок непосредственно воспринимает-претворяет как не подменную присущность своего бытия. Вот почему он так доверчив принявшему его миру с устоявшимися нормами, обычаями и привычками.

Ребенок, он ведь время проживает сполна, а не прячет его, словно недоеденную сладость, и не берет его займы у будущего обещаниями. В его «здесь-теперь» всегда подспудно требуется лад-хорошее, а не сомнительное удивление: да ладно! То, что предлагается «крохе-сыну», он впитывает как некий образец. Так что взрослые в ответе за то, чем-чему приучили детвору...

Прежде всего Домом-к-Дому. В подавляющем большинстве – это «всерьез и надолго», на многие годы стабильно, консервативно, хотя физические размеры для ребенка подвижны, фантомны и не имеют принципиального значения. Так, у Маленького принца, как обнаружил Сент-Экзюпери, «родная планета вся величиной с дом». Нередко малышу и малогабаритная квартира велика, и он забивается в свой угол-кут где-нибудь в шкафу, под столом, в коробке из под купленного накануне холодильника. Бывает и двор мал, и он ищет некий пустырь, в подспудной надежде одомашнить его. Так он не только обретает пространство, но анимирует-примиряет, отмеряет-примеряет его на себя.

«...Как хорошо было дома! – думала бедная Алиса. – Там я всегда была одного роста!»¹.

От такого откровения только разыгрывается воображение, свидетельство Творца, и живучести пантеистической способности превратить быль в сказку. И наоборот. И оно буквально

¹ Здесь и далее курсивом выделены цитаты из «Алисы в Стране чудес» и «Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла.

с детской непосредственностью, ничтоже сумняшеся уведо-
мит: «что нам стоит дом построить. Нарисуем – будем жить».

«Инстинктивно» взрослые противятся этой гибели-уходу
наивного «времени оно» детства и порой вожделенно, не боясь
показаться смешными, «впадают в детство», решаются «трях-
нуть стариной» и с не меньшим увлечением берутся за мелки-
карандаши-краски.

...Ивонна с кисточкой садится у окна
И краски в чашечках рассеянно мешает.
Она художница сейчас. Она решает,
Что выбрать мастеру семи неполных лет.

.....
И все, что движется, оставив на потом,
Ивонна думает и выбирает дом...

.....
Мне тоже, глупенькая, не было семи,
Я тоже в локонах, как ты, играл с детьми
И, ветер вызвездив воздушными шарами,
Изображал дома в зеленой панораме...

Г. Аполлинер

Да и в возрасте родительском, не смущаясь, принимаются
отцы-матери за «песчаный замок» на пляже. Или щемятся
влезть в купленный для ребенка игрушечный вигвам. Дитя же
с неподдельной серьезностью обустроивает его, по-своему
наводит порядок, находя всякой вещице только ему понятное
место...

Куда же уходит детство?

Оно и не уходит вовсе-окончательно, ибо «остается» при
Доме. Потому как, оставаясь ребенком, человек подсознатель-
но хочет вернуться туда, где было легко, спокойно и защищен-
но. И даже имея свой Дом, неведомая сила тянет в Дом роди-
тельства. Из всех видов запретов-табу, защищающих от зла-
горя, «лучше всего в сказке отражен запрет покидать дом»
(В. Пропп).

Хотя, возможно, это наиболее нарушаемый запрет. Уж
больно соблазнительно-интересно заглянуть за его таинствен-
ные кулисы, к тому же весьма испещренные родительскими
нравоучениями и наставлениями.

«Если бы только родители могли себе представить, как они надоедают своим детям!» (Б. Шоу).

Психоанализ убеждает в вездесущей врожденной магии бессознательного, утверждая, что «неясные воспоминания детства и на них построенные фантазии всегда заключают самое существенное в духовном развитии человека» (З. Фрейд).

То есть в истоках антропогенеза, культуры, где главенствует-возвышается мифотворчество – плодотворная колыбель сказок, легенд, басен, преданий, поверий – всех изустных сказаний-эпосов, что и оставляют нас в «детстве» Культуры, с его очевидной достоверностью и неизбывной таимностью.

Уже только поэтому миф, несмотря на периодические гонения-низвержения, неистребим. Ныне вообще можно говорить, что миф не развенчивается, но вновь увенчивается великим титулом сотворца Человека-Культуры. А самые различные дискурсы – научные, художественные все более поклоняются-предаются мифопоэзису. Как признательность-благодарность мифу, ведь он не столько отражает человеческое существо, сколько является таковым. Ибо каждая мифологема – реально-феноменологична, научно-художественна, сознательно-бессознательна, обретаемо-архетипична. Языком синергетики – гармоничная диалектика-симбиоз бытия-становления, бесконечно многообразного в интерпретациях.

Отсюда Дом метамифологема как социокультурная первореальность. Он, собственно, и есть «архе» – первожданность, первообиталище, первомир человека, призванный противостоять гибели-деградации. Словом, принципиальный форпост в его и зримо-осязаемыми и семиотических пределах на подступах физической и духовной энтропии.

«То, что есть в доме, будет проецироваться в вашу жизнь вне дома: порядок и организованность дома и в доме – порядок и организованность в жизни» (Д. Линн).

Такая феноменальная способность Дома объясняется его архетипическим символическим статусом, общекультурным наследством-достоянием, посланием заповедным, посланием-даром пращуров – потомкам. То есть символом также самого себя как этой трансисторической «эстафеты».

«Что касается любого конкретного индивида, такие символы являются по большей части данными ему. Он находит их уже

существующими в обществе, когда рождается, и они продолжают существовать после его смерти с некоторыми прибавлениями, убавлениями и частичными изменениями, к которым он мог приложить, а мог и не приложить руку... И всегда с одной и той же конечной целью: возвести некое сооружение на основе событий, через последовательность которых он проживает» (К. Гирц).

Так что миф неспроста воспекает-превозносит Дом – символ миропорядка, благодати жизни человеческой, поскольку он, как и сама жизнь, искони синкретичен и при желании отвечает на все вопрошания относительно бытия человека-в-мире и космогонического предназначения Дома как ориентира в «непрекращающемся течении предстающих перед опытом вещей» (Дж. Дьюи).

Ведь он – «глас вопиющего в пустыне», в безмолвии «ничейного» пространства. И первая вежа распростирания мира людей, изначальная аура бытия, где «я» впервые целокупляется с «мы» и дает начало-рост семье, роду, племени-народу, человечеству.

В актуальной парадигме философской ревизии подвергается само существование человека, ведь становление указывает на то, что еще не существует, но только стремится к существованию-исполнению. Отсюда утрата уверенности, что человек исполняется сугубо в априори экстравертивной деятельности по одной и той же формуле: «человек есть то, что он из себя делает».

Экзистенциальная феноменология попыталась проникнуть за эту очевидную «одежку», по которой «встречали» человека. Потому как «провожают», поняв-приняв принципиальное – по уму-душе. Благодаря этому человек освободился от образа результирующей вещи-предмета, обретясь неудержимостью континуального исполнения-тока.

В концепте «негативной антропологии» человек и вовсе понимается в модусе ускользящего «что-кто» и может рефлексироваться в понятиях разве что психоанализа.

«Чеширский кот» да и только... Однако в его откровенно ироничной улыбке видятся принципиальные пертурбации воззрений на человека, которые словно сорвались с насиженных мест и ринулись в чарующую неизвестность.

– А у нас ТАМ, дома, – сказала Алиса, – всегда бывает по-другому. Если бежишь, то непременно окажешься в другом месте.

– Ну и медленная тамошняя ваша страна! – пренебрежительно бросила Королева. – У нас приходится нестись из последних сил, чтобы лишь удержаться на месте. А уж коли желаешь сдвинуться, то лети в два раза быстрее.

Это все о том, что Человек – это символическое существо, на котором многолюдный Дом-мир его обитания оставляет метки, следы, раны и рубцы. Однако они весьма неоднозначны, символичны и тем преисполняют мифопоэтику бытия культурного, религиозного, художественного.

Поэтому в Доме искони видится-принимается отнюдь не материально-физическое сооружение-строение, но как в-нем-с-ним Человек исполняется в мире.

Поэтому же и сотворение Дома относится к событиям особому, торжественно-космогонического рода, исходно наделенным архаической ритуальной магией и внутренним преображением. Постройка нового Дома или даже переезд в новую квартиру отмечается подобно тому, как мы празднуем Новый год или рождение человека. Ведь все они «демонстрируют смутно ощущаемую потребность в совершенно новом начале incipit vita nova (лат. Начало новой жизни), то есть полного возрождения» (М. Элиаде). Потребность в таком «праздничном» возрождении-воскресении накрепко засела в нашем подсознании ювенальной мифологемой космогонии.

«Это не должно удивлять нас, так как мы знаем, что каждое жилище является imago mundi и каждое строительство нового дома является повторением космогонии. Все вместе эти взаимно подтверждающиеся и дополняющие друг друга символы...» (Г. Башляр).

С незапамятных времен обыкновение обновлять-освящать Дома весьма торжественный акт-событие, когда особенно усердно молились-славили богов, благодаря-прося ниспослания благодати и покровительства.

«Как бы ни были далеки эти мирские торжества от своего мистического архетипа – периодического повторения сотворения – тем не менее, очевидно, что современный человек все

еще ощущает потребность в периодическом проигрывании таких сценариев, какими бы секуляризованными они не стали» (М. Элиаде).

И сегодня с нескрываемым трепетом мы торжественно отмечаем «закладку первого камня» и перерезаем символическую ленточку, зачиная жизнь нового Дома. Пусть даже это будет офис, контора, предприятие – мы хотим, чтобы он стал для его сотрудников «вторым» Домом – приветливым и благодатным. Все это ремейки древнейших, по сути, радостных космогонических ритуалов. И, напротив, мы испытываем нечто сродни гипнозу, непереносимую грусть, когда на наших глазах разрушается Дом. Рассыпается-ничтожается он, уходит в небытие – мы чувствуем, что низвергается нечто гораздо большее, чем физическая конструкция. Происходит микрокатастрофа – силы хаоса наступают на космос, уводя из жизни что-то исключительно дорогое-невосполнимое.

Добрый обычай в мире содержится:
в дом новозданный аще кто вселится,
Все дружи его ему приветствуют,
благополучно жити усердствуют...

Симеон Полоцкий

Добрый обычай содержится всем нашим существом, неустанно налаживающим Свой Дом, потому и не собирается меркнуть.

«Нет возможности определить, насколько глубоко современный человек все еще осознает мифологическую основу своих празднеств; для нас важно то, что такие торжества все еще имеют в его жизни хоть и смутный, но глубокий резонанс» (М. Элиаде).

Он, возможно, бездонно глубок, поскольку в космогонии Дом – мирозданческий центр, собирающий центростремительные силы. И так его образ-перцепт «делает ощутимыми неощутимые силы, которые населяют мир и воздействуют на нас, заставляют нас остановиться. Дом ведь не отрывает нас от космических сил, в лучшем случае он лишь фильтрует, сортирует их» (Ж. Делез, Ф. Гваттари).

Собственно с Дома в его метафизическом и архитектурном выражении начинается мир человека как средоточие его

витально-духовных потребностей, как точка отсчета для осмысливающего погружения в природу и там находящего в ней художественный импульс. Ибо «если природа подобна искусству, то именно тем, что на все лады сопрягает эти два живых элемента – Дом и Вселенную» (Ж. Делез, Ф. Гваттари).

«Дом вытесняет случайное, незначащее из жизни человека, наставляя его в постоянстве. Если бы не дом, человек был бы существом распыленным. Дом – его опора в ненастьях и бурях житейских. Дом – тело и душа. Это первомир для человека» (Г. Башляр).

Архаическая мифотриада «дом – космос – тело» обнаруживает изоморфизм своих элементов, и человек живет-исполняется в своем теле точно так же, как он это осуществляет в Доме и в целом в Космосе, некогда-навсегда созданных друг для друга.

Отсюда распространенная мифомодель мироздания, уподобляемая Дому, который при этом облекается в антропоморфные черты-образы. В славяно-русской мифологии, например, образ Дома складывается из традиционных частей с аллегорическими названиями: чело – фасад, око – окно, уста – устье, ноги – основание, спина – тыльная сторона.

В обрядовой практике славян четыре стены дома искони соотносились с четырьмя сторонами света, а на период строительства в центр будущего жилища сажали деревце, уподобляя строительство Дома его посадке-росту. И тут же космические ассоциации-аллюзии: небо – крыша, земля – пол, подпол (погреб) – место погребения (преисподняя).

По народному воззрению-поверью, небо – терем Божий, а звезды – от взирающих оттуда ангелов. Эпическая поэзия живописно рисует космос теремом, «а небесных свечек, обитающих там, – семьей».

Народный космизм живописал Вселенную огромным небесным Домом-вселением. В знаменитом русском мифологическом компендиуме «Голубиная книга» слово Вселенная звучит как «поселенная». В величальных песнях-колядках (фрагментах древних празднеств в честь языческого Солнцeboга Колы-Коляды) хозяин Дома именуется Красным Солнышком, хозяйка – Светлой Луной (Месяцем), а их дети – частыми звездочками. И все они – Дом завидной гармонии.

Психоанализ, понятно, также не остается безучастным к столь принципиальной телодуховной проблематике. Так, согласно З. Фрейду, Дом среди вневременных и внепространственных символов «как образ и проекция самого человека». Дома с гладкими стенами символизируют мужчин, тогда как дома с балконами и лоджиями – женщин.

Короче говоря, в любой метафизической трактовке Дом служит неотъемлемым промежуточным звеном в цепи-связи разных уровней бытия. Он принадлежит человеку, олицетворяя его вещный мир. И он же смычка с внешним миром, являясь своеобразной репликой внешнего мира, уменьшенной до человеческой соразмерности.

Дом – метафизическая «одежка», по которой человек встречает-судит о мире, выворачивая наизнанку «внутреннее» во «внешнее» и обратно, придавая тем самым форму-тело себе-космосу. Телесность космоса, получившего пространственную локализацию, характерна для первых мифорефлексий человека. Дом – тело человека, оболочка чувственно-телесного «блока ощущений» (Ж. Делез). И действительно подобен одежде-облачению, заботливо продолжающей жизнь за ее кожно-осязательный покров.

Тогда не есть ли ветхозаветное указание на исходную наготу Адама-Евы обнаружение их еще-пока бездомности?

...И сказал Адам после того, как Творец привел ему созданную из ребра-тела его Еву: «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть». Надо понимать одним, причем собственным Домом-семьей. Но до сего «были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Поскольку голую были, голытьбой, нищие, прежде всего духом, неспособностью на космогоническое созидание Дома и одомашнение себя-в-мире.

Душе грешно без тела,
Как телу без сорочки,
– Ни помысла, ни дела,
Ни замысла, ни строчки.

Арсений Тарковский

«Чтобы расцвести, телу нужен дом». И Дом сообщает плоти «костность», «скелетность», наделяет разноориентированными кусками планов, указывает вектор целостного становления. Бутон внешневнутреннего развития цветка-плода (Ж. Делез). А душе-сердцу требуется убежденность в том, что ей не придется расставаться с телом раньше времени-срока.

Примечательно, что и сам ветхозаветный Господь, в представлении пророка Исаии, откровенно озабочен своим Домом, придающим ему «телесность», то есть «очевидность» своего присутствия-бытия: «Так говорит Господь: небо – престол Мой, а земля – подножие ног Моих; где же построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего?..» («дом созижденье Ми, и кое место покоища Моего?») – в церковно-русской транскрипции).

Отсюда-то Храм – Дом Божий, по которому можно судить, каковым Он является миру в Него верующих.

Не следует забывать и то, что Адам-Ева фактически по детско-исследовательской воле отправились творить Дом-мир свой уже отнюдь не нагими, ибо «сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло...».

И непременно при этом иметь право на ересь (греч. – выбор), дабы, в конце концов, увидев созданное, признать: ладно-хорошо. Поскольку в домоустройстве, поистине космогоническом Творении также «обнажаются» оппозиции-альтернативы: главное – второстепенное, внутреннее – внешнее, светлое – темное, правдивое – ложное, застарелое – перспективное, «мое» – «чужое»... И только обитая-выбирая среди них находится верный путь к Дому-Храму.

...Сколько времени прошло с того знаменательного исхода-преображения сотворенной первопары в истые люди, неизвестно. Памятно же то, что «Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила...». Учитывая их знание добра и зла, можно полагать, что прежде позаботившись о ДOME-жилище. Дабы стать не просто, как условие, «человеком мыслящим» (*Homo sapiens*), но «человеком домашним» (*Domum hominis*), что и поныне живет в нас. И будет жить-творить пока нас не оставляет равнодушными врожденная мифопоэтика.

Примечательно, что сегодня мы переживаем своеобразную реабилитацию мифа, признавая, что неодушевленная вещь или явление, если их брать не как предметы абстрактно-изолированные, но как явления живого человеческого опыта и творческой онтологии, обязательно «суть мифы» (А. Лосев). Что в них человеческий опыт обретает свое «кумулятивное и концентрированное выражение» и в них затаился «скрытый принцип организации опыта» в его «очевидных и мистических проявлениях» (О. Шпенглер). Что в нем всегда существует прорыв священного, вытаивание, обнаружение иерофании (М. Элиаде).

Закономерно, что все это весьма прослеживается в Доме, созижденье которого вообще невозможно без мистификации, искони преисполняющей наши грезы, фантазии, воображение, вдохновение, «беспричинные» симпатии и антипатии, суеверия, предрассудки.

Дом – сфера «мистической причастности», исполнение «мистических связей», укрепляющих и очищающих то, что «в действительности заключено в самых прочных соединениях, примеры которых дает нам повсюду физический и человеческий мир» (П. Тейяр де Шарден).

Самое же прочное соединение из всех – человеческая жизнь как неистребимая память-мечта.

«Наши прошлые жилища обретают в нас бессмертие, потому что воспоминания о них переживаются нами как мечта» (Г. Башляр).

И так же, как вера-надежда в метафизические, сверхъестественные силы, призванные восполнить нашу ментально-биологическую немощь-ущербность бытия в суровом непредсказуемом мире, пришли и прочно ужились в наших мифологемах. Здесь же, понятно, и Дом, реально восполняющий эту самую нашу уязвимость, за что и заслужил всяческой сакрализации, облачения в магические образы-смыслы.

Они – плод нескончаемого отыскания-понимания смысла Дома как перманентной череды восхождений-нисхождений от абсолютно логического к крайне абсурдному, от явного, рационального к потаенному, иррациональному, только и возбуждающих «мистическим чувством» (Ф. Шлейермахер). А оно врожденно и не обязательно оформляется в религиозно-культовую систему, но преисполняет трепетным отношением к

Дому, приюту душевного уюта, найдено-созданного неисчислимыми поколениями пращуров. И заложенного на всю жизнь в плодородный археслой «осадка коллективного бессознательного» (К. Г. Юнг).

Наше бессознательное тоже «нашло приют». Наша душа – это жилище. Вспоминая о разных «домах», о разных «комнатах», мы научаемся «жить» внутри самих себя. «Мы уже успели понять: образы дома имеют двоякое действие, они находятся внутри нас в такой же степени, как мы – внутри них» (Г. Башляр).

Чем не современная сказка-миф сродни постклассическим воззрениям-концепциям вселенской голографии, пространственно-временных струн-искривлений?..

...«Сказка ложь, да в ней намек» – знаменитая пушкинская при-сказка, которая акцентирует не сказочную выдумку, но, зачастую, и в иносказании ясное наставление к достойному поведению-поступку. И тем передавать опыт, «сына ошибок трудных» для благого домоустройства.

«В тесноте, да не в обиде» – мудрость, которая встречает впечатлительное детское сознание в добрососедском «Терем-теремке»: «...Мы все тут живем: Муха-Горюха, Мышка-Норушка, Лягушка-Квакушка, Петушок-Золотой Гребешок и Зайчик-Побегайчик...».

«Заюшкина избушка» подвигает понять разницу между избушками «любяными» и «ледяными» и не доверяться коварным «риэлторам».

«Волк и семеро козлят» «пугает» опасностью ослушиваться взрослых и доверяться всяческому посулам незваных гостей-шарлатанов.

«Кошкин дом» прививает чувство сострадания и соучастия к бездомным скитальцам, а также презрения к равнодушным домовладельцам.

«Три поросенка» – поучительный урок для тех, кто Свой Дом строит наспех, кое-как, из чего попало.

У взрослых фактически то же самое обретает вид весьма пространных притч, тех же сказок-басен. Так и загадочнее, так и доходчивее, ибо настраивает на размышление.

«...Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии, и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули вет-

ры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое» (Мф. 7. с. 24–27.)

...И много чего еще об этике-благе и непосредственности домоимения исповедует образ охочего до гостеприимства Винни-Пуха. Или персона наивно-мудрого Карлсона, что имел свой сокровенный Дом на крыше многоэтажного и весьма уютного дома. Посему в одной из квартир которого он, подобно участливому врачевателю, излечивал беспокойную душу Малыша, тоскующего в доме без Дома.

О том, что мир действительно обширен и прекрасен, но Дом родной-заповедный всего один рассказывает «Как Муравьишка домой спешил». И поспел вовремя благодаря бескорыстности случайных встречных.

Разве что Колобок-постреленок решается отбыть из Дома родителей-опекунов своих. И не предавая их доброту, но противясь их старческой, привязанной к домашним сусекам нищете. Так и познал он мир в разных его проявлениях, обжегшись на неведомочаянной житейской хитрости. Зато не был буквально съеденным по примитивной голодухе.

Впрочем, это все – веление детства-молодости, преисполненной искательствами, но и чреватой конфликтом «отцов-детей». В любом случае, это не лень-немошь преклонных лет, но боготворческий зов миропознания, влечение убедиться в величии Дома в Доме.

...Но Устрицы преклонных лет
Не выплыли на зов.
К чему для странствий покидать
Страну своих отцов?
Ведь можно дома в тишине
Прожить в конце концов.
А юных Устриц удержать
Какой бы смертный мог?

Л. Кэрролл

Душа-дух творческий, что у человека врожденный «по образу и подобию» Творца, подвигает смену вдоволь поношенной

«одежки», несмотря на страх остаться-показаться «голым». Существование человека не имело бы смысла без потребности-счастья человека переустройства к лучшему своего Домашнего бытия, а в итоге самое себя.

...И снится мне другая
Душа, в другой одежде:
Горит, перебегая
От робости к надежде.
У человека тело
Одно, как одиночка.
Душе осточертела
Сплошная оболочка.

Арсений Тарковский

Странности-приключения сказочной Алисы в Стране чудес фактически на эту же, по сути, тему. Ведь ее взаимоотношения с Домом были непредсказуемы и не шуточны. Не то она, не то он, а может быть сразу-вместе меняли свой рост-размер от чуть заметной козявки до гигантской персоны, что упиралась головой в потолок и сильно наклонялась, чтобы не сломать себе шею.

Посему откровенный испуг-ужас:

«Ой-ой, хватит, хватит! Ой, неужели я не перестану расти, я и так уже в дверь не пройду!..».

«Очень скоро ей пришлось встать на колени, а спустя минуту оказалось, что и этого мало; бедняжка попробовала лечь на пол, упершись локтем одной руки в дверь, а другую руку положив за голову. Но скоро ей опять стало не хватать места – она все продолжала расти. Тогда она попробовала последнее средство: руку высунула в окно, а другую ногу поместила в камине...».

В Зазеркалье также не отпускала «недетская» проблема парадоксального «одомашнивания». Сначала, правда, все шло в привычном порядке.

«... Через миг Алиса прошла сквозь зеркало и легко спрыгнула в Зазеркалье. Прежде всего она заглянула в камин и очень обрадовалась, увидев, что в нем жарко пылают дрова; огонь был настоящий, совсем такой же, как дома!».

Впоследствии же она испытала все сюрпризы зазеркального Дома, который, надоев вконец, магически не отпускал ее.

«...И она повернула назад. Но, куда бы она ни шла, где бы ни сворачивала, всякий раз, хоть убей, она выходила снова к дому».

«...Самое интересное – как это все вдруг могло случиться со мной? Ведь раньше, когда я читала сказки, я думала, на самом деле таких вещей никогда не бывает, а тут, пожалуйста, сама попала в самую настоящую сказку!».

Благодаря этому удивлению «Алиса» и осталась сказкой, но не выдумкой. Ведь не притупилось ее воображение, повзрослела же она, несмотря на все ее «домашние» перипетии.

«По мере того как возраст умножает надобности нашего естества, он все больше сводит на нет наше воображение» (Люк де Клапье де Вовенарг).

Тем не менее и во «взрослой» литературе персонаж Дома, если и не стоит откровенно на краю сцены повествования, то не уходит с нее неисчерпаемыми своими мизансценами, метафорами, аллегориями, символами – полетом памяти-воображения.

«Литература дома имеет ту простую человеческую особенность, что рядом с ее героями хотелось бы жить, мы под крышей дружеского дома, ты укрыт от мировых бурь, ты рядом с доброжелательными, милыми хозяевами. И здесь в гостеприимном и уютном доме ты можешь с хозяином дома поразмышлять и о судьбах мира, и о действиях мировых бурь» (Ф. Искандер).

...Ныне же отнюдь не сказкой-выдумкой выглядят представления о вселенском Доме. И не намеками, но цельными научными теориями. Ведь принцип космического Всеединства обязывает относиться к реалиям бытия в их неразъемной пространственно-временной ипостаси. Тогда жизнь человековечества – непрерывная цепь-черода событий уже подумывает, не тесен ли ей Дом земной...

Мы дети Космоса. И наш родимый дом
Так спаян общностью и неразрывно прочен,
Что чувствуем себя мы слитными в одном,
Что в каждой точке мира – весь мир сосредоточен...

А. Л. Чижевский

«Из своего земного дома мы вглядывались вдаль, стремясь представить себе устройство мира, в котором мы родились. Ныне мы глубоко проникли в пространство. Близкие окрестности мы знаем уже довольно хорошо. По мере продвижения вперед наши познания становятся все менее полными, пока мы не подходим к неясному горизонту, где в тумане ошибок ищем едва ли более реальные ориентиры. Поиски будут продолжаться...» (Э. Хаббл).

Хотя нас окружает бесчисленное число галактик, человека, конечно же, в первую очередь интересует и всегда будет интересоваться его собственный Дом – Галактика Млечного Пути. Однако, поскольку земляне обитают внутри собственного миллиардозвездного Дома, им не дано воочию убедиться в его величии, в наличии в его центре таинственного источника «очага» колоссальной энергии. И это существо, как обнаружили компетентные ученые, чрезвычайно напоминает живой организм, обладающий своего рода обменом веществ – своего рода «космическим метаболизмом» (М. Демин).

Таковым живым существом может представляться и наш земной человекоразмерный Дом как развивающаяся энергия, обладающая сознанием.

«У него есть сущность, с которой вы можете общаться: как живой организм, он может исцелять вас и вашу семью, если вы понимаете и уважаете его жизнь» (Д. Линн).

«Ничто не ново под луной»... Потому как на этом же мирозданческом тезисе зиждутся многие учения далекого прошлого, особенно Восточного.

Фэншуй («Ветер – Вода») – учение практиковалось в Древнем Китае на протяжении тысячелетий. Его последователи искони воспринимали Дом существом одушевленным, имеющим особое энергетическое поле на основе мистической энергии. Исходя из ее проявлений, и поныне определяется местоположение Дома и его вещного содержимого.

Древнеиндийское учение о Доме – Васту, в котором звучит санскритское «вас» – «обитать» со смыслом – «место, где обитают люди». Более того, Васту – общий термин для проявления грубой и тонкой субстанции, первичной материи и энергии, которые сегодня в силу их необъяснимости называют «темны-

ми». Индус, живущий своим Домом, проникнут неоспариваемым фактом: все мы суть Васту, и живительная энергия, сущая в нас, есть Васту-пуруша, или воплощенная энергия внутри вселенского Дома. Ибо Васту живой организм есть...

...Впрочем, и сегодня для многих сие рассуждения, как и актуальные концепции космогенеза, принимаются за игру инфантильного воображения, за наивный миф-сказку, пусть даже и весьма не страшную.

Не бойся сказок. Бойся лжи.
А сказка? Сказка не обманет.
Ребенку сказку расскажи –
На свете правды больше станет.

В. Берестов

Хотя бы про «Незнайку на Луне», что рисует идиллическую картину Солнечного города сродни утопии Т. Кампанеллы, а также крупнейшего лунного города-«мегаполиса» Давилона, явно отсылающего к прославленному Вавилону:

«Поднявшись на холм, Незнайка увидел красивый двухэтажный дом с большой открытой верандой. Вокруг дома были разбиты клумбы с цветами. Здесь были и лунные маргаритки, и анютины глазки, и настурции, и лунная резеда, и астры. Под окнами дома росли кусты лунной сирени. Все эти цветы были такие же, как и у нас на Земле, только во много раз мельче».

В сонме современных сказок-мифов для «взрослых» замкнутости Кафки, неприкаянный странник-изгнанник Гессе, блуждания-бездомность Джойса, тревожные фантазмы Брэдбери, замерший в ожидании-предчувствии мир Маркеса, и он же брызжащий зеркальными фантомами у Борхеса, топософия Г. Башляра, сюрреализм Дали, Башляра, сны наяву Феллини и Тарковского, бытие, живущее во времени Хайдеггера, фэнтези Толкина, душещемящий реализм Шукшина, реальный мистицизм «квартирного вопроса» Булгакова...

Кому-то в их «пророческих» откровениях увидится парамнезия, смешивающая прошлое-настоящее, реальное-вымышленное... Словом, психопатология, впадение в детство... Однако все это мифопоэтика, реальная сказочность Дома. А взрослые, «большие дети», что все родом из детства, без усталости сочиня-

ют, как наитие-послание из него, сказки-были для детей. Да и для себя обязательно тоже. Дабы не «стареть» и быть всепринятыми, непременно рисуют Дом.

Дали Мурочке тетрадь,
Стала Мура рисовать.
«Это – елочка мохнатая.
Это – козочка рогатая.
Это – дядя с бородой.
Это – дом с трубой».

К. Чуковский

Закат и Восход Дома, или От явного к потаенному

Чтобы обозначить весь человеческий род,
достаточно назвать одного человека
в единственном числе

Лактаций

... «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...». Песня, понятно, оптимистично-советская. Однако сия идеология и образ мыслей энтузиастов вполне обширны в исходных обещаниях-посулах цивилизации. Среди них провозвестие свободы, возможность вырваться из «застенков» Дома, «оседлав» реальные «ковры-самолеты» авиации, надев «семимильные сапоги» авто, прихватив «скатерть-самобранку» общепита...

Человек, существо качественно различающе-сопоставляющее результаты всяческих изменений некогда понял, что можно жить лучше, безопаснее-сытнее, для чего, правда, требуются его миропреобразующие усилия. Посему исстари он всячески напирал-донимал природно-естественную наличность в стремлении-попытке приспособить-«прогнуть» ее под свои все более емкие потребности. Закономерно, что, в конце концов, homo sapiens существенно утрачивает духовно-органическую связь с Природой, «довольствуется» этим отказом-отчуждением, слепо принимая его за свободу, за победу разума над бездуховно-мертвой материей. И так потрафляет его тщеславию этот «триумф», что кажется логично-закономерным.

В итоге на смену духовной Культуре приходит техногенная Цивилизация, в которой машина, созданная самим же человеком, восстает-гнобит своего недоумевающего «родителя». Точнее, он самовольно натравляет ее на себя, покорно превращаясь в ее крепостного-раба, винтик некоего неподвластного ему механизма. Но он упорно убеждает себя, что будущее за «новым порядком», установленным по требованиям рациональной логики, индустриальной типичности...

Но и этот вполне «здоровый», казалось бы, безупречно современно-перспективный подход, обескураживает и тяготит недоумением. Пиррова оказалась победа, ибо была над самим собой, причем не как восхождение человечности, но как ее нисхождение.

«Можно отказаться от жизни и выстроить мой народ, как горшки вдоль дороги, – порядок будет безупречным. Можно заставить мой народ жить по законам муравейника, и опять будет безупречным порядок. Но по нраву ли мне муравьи?» (Экзюпери).

Не по нраву нам и то, как теплота Дома вымещается холодом массовых построек без памяти, а главное, без мечты.

Слава прабабушек томных,
Домики старой Москвы,
Из переулочков скромных
Все исчезаете вы...
Домики с знаком породы,
С видом ее сторожей,
Вас заменили уроды, –
Грузные, в шесть этажей.

М. Цветаева

И эта аннигиляция Дома все более и более печалит-пугает.

«В Париже домов нет. Жители великого города существуют в коробках, нагроможденных одна на другую... Наша парижская комната, замкнутая четырьмя стенами, – это своего рода геометрическое место, обычная нора, где мы навешали картинок, наставили безделушек и шкафов в шкафу» (П. Клодель).

«Почему все построено так скверно, что порой рушатся высокие дома, а внешней причины на то найти невозможно. Я лажу потом по кучам щебня и спрашиваю каждого, кого встречу: «Как это могло случиться? В нашем городе... Новый дом... Сегодня это уже пятый... Подумайте только. Тут мне никто не может ответить» (Ф. Кафка «Описание одной борьбы»).

Мрачная, надо признать, безответность, реально «глас вопиющего в пустыне», поскольку в безмолвнокаменном, «лун-

ном» ландшафте ищет он слушателя-собеседника. Но находит скорбное молчание на вопрос: где эта улица, где этот Дом? А с ним и ощущение экзистенциальной потерянности...

Лишь на заре-восходе культуры царила картина природного ландшафта, пока лавина урбанизации не погубила его животворную способность-предназначение, как нежный гумус срезает слепой бульдозер. Это пустынь не для достойного Дома.

«Да это и вообще больше не дома..., а в чистом виде жилье, созданное не кровью, но целью, не чувством, но духом экономического предпринимательства»².

«Победное шествие» индустриального домостроительства расколдовало, секуляризировало феномен Дома, лишив его истинно человеческого тепла-душевности, превратив в банальное жилище.

Там нет заподозренных чувством святынь,
Там нет пригвождений к преданью.

К. Бальмонт

«Я – эфемерный и не слишком недовольный гражданин столицы... неотесанно-современной, потому что все разновидности вкуса были устранены из обстановки и внешнего вида домов, а также из планировки улиц» (А. Рембо).

Массовый домострой нанес коварный удар по вольному Домосозижденью. Органичный изначальный круг Дома сплюснулся. Он стал угловато-неудобным и холодно-безразличным, выродившись в сменную временку, застенки в четыре угла – квартиру (от лат. quartus – четвертый). Стал, как и мечтали-радели модернисты, машиной-махиной для столь же механизированного проживания, осиротевшего на обрядовость, формальные остатки которой ушли в бизнес всяческих «ритуальных услуг».

Домовладелец стал статистическим жильцом и напрочь лишился всякой возможности быть сотворцом своего Дома, став безликим квартироръемщиком, хронически испорченным «квартирным вопросом».

² Здесь и далее курсивом мнения Освальда Шпенглера из «Заката Европы».

Подъезд – как мучительно-неизбежное чистилище. Как дот, с бронированными дверями и амбразурой сиплого диктофона. С реальной, отнюдь не «золотой» лестничной клеткой, словно грудной у некоего испутившего последний дух и вымершего монстра. Ночной звонок анонимного будильника или пересуды жильцов невесть с какого этажа – как привычная «награда» за добрососедство.

Дому-сооружению под ноль обрезали корни, установив на асфальтную мостовую, от которой до также усеченной кровли громоздятся друг на друга этажи-комнаты, и весь город накрыт мутным шатром неба без звезд-горизонта. Редкие и жалкие огородики-палисадники, что кое-где еще разбивают обитатели многоэтажек – как щемящая ностальгия по своему Дому и «травы» у его порога.

«Современный доходный дом (искусство прошлецов) растет из замка; но замки стояли особняком, окруженные воздухом, насытив себя пустынным, походя на громкое междометие! А здесь сплюснутые общими стенами, отняв друг у друга кругозор, сдавленные в икру улицы, чем они стали с их прыгающим узором окон, как строчки чтения в поезде! Не так ли умирают цветы, сжатые в неловкой руке, как эти дома-крысятники?» (Велимир Хлебников).

«Город, все более и более обособляясь от земли, наконец, полностью ее обесценил и стал сам определять ход и смысл высшей истории вообще. Всемирная история – это городская история».

Начало человеческой цивилизации правомерно ассоциировать с появлением городов. «Цивилизация» (от лат. *civīlis* – гражданский) собственно и означает «выгороженный», что предполагает «ограду», различимый, осязаемый и метафизический, виртуальный контур-предел. Он и давал возможность сбыться некоему острову-острогу, противостоящему «дикому» окружению.

Мировые грады-столицы, «каменные колоссы» – монстры, которые *«презирают материнский ландшафт своей культуры и дискредитируют его»*. В результате *«душевно сформированный землей культурный человек оказывается полонным своим собственным творением»*, *«он делается им одержим, становится его порождением, его исполнительным органом и,*

наконец, его жертвой. Человек мирового города не способен жить на какой бы то ни было почве, кроме искусственной, ибо космический такт ушел из его существования».

Здесь люди страшатся своих же теней, особо агрессивно мрачно-длинных на закате завтрашнего дня.

В городах безумные тени,
как сыщики, ходят за мной,
Тени юности, спутники мои,
прошлого призраки худой.
Они меня ловят, они твердят
о том, чему я не рад:
Холодные усмешки мужчин,
женский презрительный взгляд.

Томас Харди

Главное – миллионы людей уже «не нуждаются в знакомстве друг с другом» и «настолько схожи в своем воспитанье, работе, старенье, что жизнь их должна быть намного короче» среднестатистической (А. Рембо). Поскольку, надо понимать, их существование-наличие вовсе не сущностно-уникально, но среднестатистически, словно у бегунов в массовом забеге.

...города в своих бесповоротных
движеньях делят неисправимый век,
ломая и деревья, и животных,
народы вовлекая в дикий бег.

.....
Там, кажется, дает им ложь уроки,
собой быть им больше не дано,
и деньги соблазнительно-жестоки
и тянут обессиленных на дно...

Р. М. Рильке «Дом»

«На дне» все более становится метафорой бытия отдельной маргинальной общности, но фактически всех обитателей болезненно разбухающих мегаполисов. Они так сжимают в несъемных тисках своих безропотных обитателей, что доводят их до жалкого существования, вызывая и сочувствие к их немощи сопротивляться своему ничтожению, и презрение за эту самую экзистенциальную податливость.

Человек уже не звучит гордо, но и кажется едва приметной
обыкновенностью.

В мучительно-тесных громадах домов
Живут некрасивые бледные люди,
Окованы памятью выцветших слов,
Забывши о творческом чуде.

.....
Я проклял вас, люди. Живите впотьмах.
Тоскуйте в размеренной чинной боязни.
Бледнейте в мучительных ваших домах.
Вы к казни идете от казни!

К. Бальмонт

У кого хватает совести-разумения, не может не заметить-
испугаться столь радикального для гармоничного Космоса ми-
зантропного переворота.

Вновь Хаос к нам пришел и воцарился в мире,
Сорвался разум мировой...

К. Бальмонт

«Современные дома-крысятники строятся союзом глупости
и алчности. Если прежние замки-особняки распространяли
власть вокруг себя, то замки-сельди, сплющенные бочонком
улиц, устанавливают власть над живущими в нем внутри его». Обитание в таковых «клетках» сродни тягостному наказанию. То есть «значит без вины вести жизнь одиночного заключения... это жизнь гребца на дне ладьи, под палубой; он ежемесячно взмахивает веслом, и чудовище алчности темной и чужой воли идет к сомнительным целям». Отсюда подспудный протест подвигает отпорную «кричаль», ведь «не все ли равно сурово наказанному, даже если он не подозревает о страшном равенстве своего жилища: суд или быт бросил его, как военного пленника, в темный подвал, отрезанный от всего мира?» (Велимир Хлебников «Мы и дома»).

«Сражающемуся с чудовищами следует позаботиться о том, чтобы самому не превратиться в чудовище. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя» (Ф. Ницше).

Предчувствие-ощущение края всеубийственной бездны подвигает не только ее констатацию и не ограничивается эмоционально возмущениями, поэтическими метафорами. Назревала потребность в ее глубоком философском осознании-рефлексии, дабы увидеть истоки, понять существо, прогнозировать, а лучше корректировать тенденции-последствия.

Особо острое откровение, неутешительный «диагноз» сделал-поставил Освальд Шпенглер: «Закат Европы» (1918). В ином переводе – «Закат Западного мира», притом, что греческое слово Европа (Еυροpe) происходит от ассирийского «эреб» – «запад». Однако существеннее другое – «закат» самый мягкий перевод «Untergang», которого есть и другие, более драматичные значения – «падение», «гибель», точнее, пожалуй, передающие удручающий пафос констатации происходящего.

«Трагизм нашего времени заключается в том, что лишенное уз человеческое мышление уже не в силах улавливать собственные последствия... цивилизация стала машиной, которая все делает по образу машины».

Отсюда новаторский тезис о несовпадении, более того, о противоречиях и даже антагонизме Культуры и Цивилизации, которая есть кризисный исход, завершение Культуры. Она низвергается как *«целостность, определенное внутреннее единство форм мышления и творчества, некая единая стилистика, запечатленная в формах экономической, политической, духовной, религиозной, практической, художественной жизни».*

Знаменательно, что аргументацию тому философ находит в феномене Дома, исконного островка душевной безопасности, жизнеутверждающего вдохновения и чувства гармонии человека-в-мире. Он обращается к нему как к последнему оплоту западной Культуры. И, видимо, семени-ростку Культуры общечеловеческой.

Как бы то ни было, Дом есть исток и фактор антропогенеза, археатрибут Человека-Культуры, поскольку *«начинающий делаться оседлым человек уже не удовлетворяется просто крышей над головой, но строит себе постоянное жилище...».*

Так что Дом вправе рассматриваться *«как индикатор развития локальной культуры».* Локальной в пространственно-временном измерении, пронизывая насквозь территории-эпохи. Следовательно, культурогенез, мировая история есть не

просто череда локальных культур, а смена *«типов человеческих домов»*. Они же надежнейший представитель-указатель расы.

«Дом – наиболее чистое выражение расы из всех, какие только бывают».

Дом – «родовое пятно» ее уникальности и вся хроника ее взлетов-падений, болезней-выздоровлений.

«Форма дома пересаживается только вместе с расой. Если исчезает орнамент, это значит, что изменился только язык; если же исчезает тип дома, угасла раса».

Значит, можно полагать, история-душа народа – это история-душа его Дома.

«Как только мы отвлекаемся от дома как расового выражения, мы сразу замечаем, как трудно распознать сущность расы».

Достаточно сравнить и форму, и содержание, источаемое Домом, чтобы проникнуться душой самобытных культур.

«Достаточно сравнить устройство древнесаксонского и римского домов, чтобы почувствовать, что душа людей и душа их дома – одно и то же».

... *«Мой дом – моя крепость»* – афоризм вполне адекватный мировосприятию Западно-европейца. Поскольку он строит, словно пишет декларацию: весомо, крепко, зримо. Чтобы не было сомнений насчет того, кто хозяин и готов ли он отстаивать свое сокровище. Поэтому западное домостроение предпочитает геометрическую лапидарность, устойчивую брутальность, четкую очерченность всех краев, граней, плоскостей, объемов. С какой стороны ни посмотри, сразу видно: это Дом, и его никак не спутаешь с не-домом.

Такая архитектура сродни живописи маслом – тщательно подобранная палитра, плотные непроницаемые мазки, нанесенные на прочное основание (грунтованный холст, дубовая доска, каменная штукатурка). Нисколько не противоречит она и западной философии, что зиждется на основательных парадигмах, логических посылах стройной каузальности и нацеленности на завершенность концепций-моделей. Метафорически они напоминают внушительный бастион, возведенный из крупных, добротнo подогнанных блоков, скрепленных густым раствором: хорошо различимы и «источники», и «составные

части», чувствуется большой запас прочности, гарантирующий безопасность при любом стечении обстоятельств-стихий.

Восточное мировосприятие, напротив, даже и не пытается противостоять им. Ведь согласно буддизму, лишь тот Будда – человек просветленный – кто постиг и постоянно живет в совершенной гармонии с природой.

«Будда – это олицетворение природы» (Д. Судзуки).

Природа же – олицетворение буддистского Дома: он всячески выказывает свое расположение, толерантность, сраженность с ней. Для чего не нужны массивные и громоздкие конструкции. Такое зодчество сродни традиционной живописи в стиле сумие (“бережная кисть”), основанной на эскизной, экспрессивной манере одного нежного прикосновения и предельно скромной гамме чувств. Противоестественны всякие излишества-напыщенность, выражение силы. Благодатна лишь кроткая созерцательность. Даже в интеллектуальной сфере Восток не столько утверждает, отстаивает, сколько предлагает, наблюдает, любит.

«Ищет не богатства идеи, не блеска или торжественности в изложении мысли и построении философских систем, а простого, спокойного довольства, доставляемого мистическим созерцанием...» (Д. Судзуки).

Так что не философствует Восток, а мудрствует, нежно проникая во все очень ранимые, по сути, явления Природы. И истый японец скажет: мой Дом – всеобщий Дом, всегда доступный вселенскому единению. Ибо все рукотворные ограждения он создает так, чтобы они более сопрягали, нежели размежевывали. Они как бы мнимы, призрачны, необязательны, так сказать, факультативны. Точно так же и юрта сибирского аборигена никак не порождает ощущения замкнутости, не препятствует движению мирового пространства. Ее почти прозрачная оболочка, кажется, может исчезнуть в любое мгновение, как мираж, открывая проникновение космоса. И эта всепроницаемость не тяготит и, тем более, не страшит, поскольку не нарушает мировой порядок, в основе которого благодатное «растворение» в Природе, сотворчество с Естеством...

Обитатели индустриального жилья отчуждены-лишены подобного априори плодотворного споспешателя в Домострое.

Они приобретают его, как одежду, иную штампованную утварь на рынке недвижимости.

И если они вовлечены в движение, то оно сугубо рефлекторно-механистичное. Внутри гиперпространств мегаполиса они обескураживают невозможностью сориентироваться, определиться на Месте и выбрать свой Путь. Так мегаполис глумится-издевается над нашим «выученным бессилием», будучи удовлетворенным «неспособностью наших умов в данный момент начертить план великой глобальной мультинациональной и децентрализованной коммуникационной сети, в которой мы пойманы как индивидуальные субъекты» (Ф. Джеймисон).

...Первоначально же Дом выращивался из *«органического чувства»*, а праформа дома всецело *«прочувствована и органична»*. В таком дискурсе возникает впечатление, что она создана на бессознательном уровне.

«Как скорлупа наутилуса, как пчелиный улей, как гнезда птиц, она внутренне есть нечто само собой разумеющееся, и все черты изначальных обычаев и формы существования, супружеской и семейной жизни, организации племени имеют точное свое подобие в плане дома и в основных его помещениях».

Однако скорлупы-соты в неизменном виде существуют, возможно, миллионы лет и создаются в неизменном виде по протоинстинктивному алгоритму, не изменяя естественный ход вещей. Дом же живет-развивается вместе с человеком, будучи материализацией его знаний-воображений о себе-в-мире, который также не стоит на месте, но активно включен в формирование адекватной среды обитания Человека. То есть реально-уникально почувствован-продуман, поскольку им озабочена Культура – *«человеческая индивидуальность высшего порядка»*.

Отсюда рождается трактовка Дома и искусства противоположностями друг другу как природное и «техногенное». И получается, *«пока жив дом, жива культура, как только на смену дому приходит искусство, начинается цивилизация»*. Ведь если образ-вид крестьянского Дома или шире – Дома человека доиндустриальной эпохи – вне искусства и архитектуры, то архитектура индустриальной эпохи всецело подчиняется правилам искусства. А оно противоположно жизни, поверхностно и

на «закате» цивилизации якобы также обречено на неудержимую деградацию.

Однако не стоит бранить-пенять архитекторов – они создают, как могут, то есть в согласии с запросами культурогенеза, с «духовной ситуацией времени» (К. Ясперс), ища не просто новые формы, но актуальные образы-смыслы человеческого бытия. Возможно, даже не задумываясь, что всякий Дом есть зеркало культуры, а также отдельного человека ей-ее принадлежащего.

Бесспорно все же и то, что созидание Дома нельзя назвать ремеслом и даже искусством. Он творение, преисполненное *«темного житейского обихода»*, и живет *«многообразием нравов и обычаев»*, откуда его *«живой, но не застывший стиль»*. Именно потому архитектурная теория так и не смогла освоить тот феномен, ибо ошибочно усматривала в жилом доме некую позитивно познаваемую структуру и тем относила ее к части строительного искусства – архитектуры. Отсюда и логичное сетование-признание, что до поры «Заката Европы» не существовало всеобщей истории «дома и его пород». И тут же полагается, что таковая могла бы стать *«одной из настоятельных задач будущего исследования»*.

Правда, вестись оно должно *«совершенно иными методами»*, нежели традиционная история искусств. То есть свободными от догматов, навешанных Цивилизацией – сциентизмом и техницизмом, структурализмом и рационализмом, воинствующим атеизмом и историческим материализмом...

О необходимости именно этого ментального сдвига-скачка в картине мира исповедует самобытный «Апокалипсис» О. Шпенглера как предтечи-пророка того беспрецедентного явления, что ныне принято называть глобализацией, массовой культурой и, соответственно, массовой архитектурой. Поскольку он прозорливо отмечал, как амбициозно напирал урбанизация самоуверенно пытается исповедовать-внедрить новую «религию» беспорочности научно-технического прогресса.

Однако ее адептов сначала удручало, а затем и начало пугать превращение обездомленных мегаполисов в застывших монстров, которые свидетельствуют об утере городом целостности и органичности, о его дезинтеграции и дезорганизации,

источающих разве что взаимную ненависть и отчуждение. Другого трудно было ожидать, ведь *«масса квартиросъемщиков и постояльцев начинает вести в этом море домов блуждающее существование от крова к крову, как охотники и пастухи предвремни»*.

Чувство самосохранения Культуры подвигло принципиальный пересмотр благодатности императивной Цивилизации и отказ от безапелляционного *«фаустовского мышления»*. А также последовательное становление в зодчестве, в картине мира в целом *«средового видения»* и даже *«средового мышления»* сродни осмотрительному и заботливому, органичному чувству Крестьянина. Благо, что *«крестьянин – это вечный человек, независимый от всякой культуры, гнездящейся в городах... Он предшествовал культуре, и он ее переживет, тупо продолжая свой род из поколения в поколение, ограниченный заземленными профессиями и способностями»*.

Можно, конечно, не соглашаться с тупостью и ограниченностью Крестьянина, *«обладающего органическим чувством»*, иначе в диалектике культурогенеза он бы просто не выжил. Можно поспорить и с тезисом: *«что для крестьянина его дом, то для культурного человека город»*, выставляющего крестьянина существом *«бескультурным»*.

Вполне обоснован и другой антитезис: крестьянский Дом движется вместе с Культурой, находится в центре истории человечества, служа ей и мирозданческим репером, и, как ни странно, направлением. Что и снимает страх перед *«концом истории»*. Потому как продолжение рода из поколения в поколение – есть великое творчество. И с позиций синергетики вечность Крестьянина и соответственно его Дома даруется одновременным исполнением *«становящегося»* (культуры) и *«ставшего»* (цивилизации).

И с гибелью деревенского Дома кажется, что исходит и весь мир человеческий.

В деревне горько стынет дом последний,
как будто он последний в мире дом.

Р. М. Рильке

Закономерно, что особым пиететом наделяется крестьянский, по факту, онтологически исходный Дом человека, обретшего «место под солнцем» и верного ему обладанием органического чувства родины и самоопределения в мире. Поэтому-то крестьянский Дом – явление вневременное, ибо «вечен», как сам тип крестьянина. Он не признает пространственно-временных границ *«высшей истории человечества»*, сохраняя себя в своей идее неизменным при всех трансформациях строительного искусства, которые осуществляются на нем, но не в нем. Ибо Дом, как всякое живое существо, изменяясь внешне, не утрачивает своей исконной сущности. Так что крестьянин по духу своему культивирует, «вращивает» Свой Дом, изначально обнаруживая в нем не оболочку-укрытие, но органическую часть собственной самости, расстаться с которой невозможно по определению.

Эту же мудрость обнаруживал в своем архтворчестве грек Ж. Кандилис. Он пытался вдохнуть *«органическое чувство»* в крупные городские массивы, будучи еще в молодости очарованным удивительным своеобразием «дома для человека», что выпестовал своими руками крестьянин по имени Родакис. «Поскольку то был его мир, его жизнь, Родакис вложил в свое творение всю душу, все свое сердце и все свое воображение. И добавил еще совершенно бессознательно то, что необходимо постройке, чтобы стать архитектурой – любовь и чувство».

Их целая плеяда по настоящему гениальных «крестьян»-домосозидателей, «вечных людей», кои не давали и не дают окончательно закатиться-сникнуть Дому. Об этом свидетельствуют искорки-зарницы, исходящие из верно-беззаветных подвижников-адептов Дома. От пророков-волхвов его прихода-возвращения, кои не перестают давать знать о СебеДоме.

В этой экзистенциальной связи современная цивилизация закономерно не перестает представлять «настоящей аномалией» в истории: единственная среди всех нам известных, она избрала сугубо материальный вектор развития, она единственная, которая не опирается ни на какой принцип высшего порядка. Это материальное развитие, со все большим ускорением идущее на протяжении вот уже нескольких веков, сопровождалось интеллектуальным упадком, который оно совершенно неспособно компенсировать. Речь идет, разумеется, об истинной и

чистой интеллектуальности, о том, что можно было бы назвать также и духовностью...» (Р. Генон).

В «Кризисе современного мира» (1927) Р. Генон безжалостно характеризует удручающее состояние, которое заслужило человечество к началу XX столетия – «Темный век». Названия глав книги-приговора говорят сами за себя: «социальный хаос», «индивидуализм», «профаническая наука», «материальная цивилизация», «примат действия над знанием», «экспансия Запада».

Отсюда закономерен, прямо-таки выстрадан разворот к Востоку. К тому же Васту, пятитысячелетнему кладезю мудрости, уповающему на Дом, – мощный источник сил, вдохновения, здоровья, благополучия, процветания и семейного счастья.

Все более выпукло этот эпохальный разворот прослеживается в культуре постмодерна. На первый взгляд он деструктивен, обнаруживая стирание граней между своим-чужим, частным-публичным, родным-чужим, а в итоге: между Домом и не-Домом. Меж тем в таком растворении границ пространств-времен веет ветром перемен. Причем, радикально иного, анти-модернистского толка, ведь «пост» в его названии есть индикатор-маркер того, что с модернизмом он откровенно и бесповоротно кончает-прощается. И твердо намерен не столько отрицать бытовую зависимость от машинерии, сколько освободиться от тотального механицизма в мышлении-намерении, в духовном самовыражении в целом. Поскольку на самом деле культурной деструкцией грешит именно модернизм, который увлекаемый взрыво-лавинной урбанизацией решительно низвергает географические, этнические, классовые, религиозные, идеологические – культурные границы. То есть, выступая объединяющей силой, он одновременно расчленил основания для коллективной и личностной идентификации (М. Берман).

В намерениях постмодернизма проглядывается большее – восстановление личностной идентичности, притом, что Дом – самое чистое-показательное выражение Человека-личности.

Для этого следует не избегать, но подвигать-провоцировать поиски-дискуссии, понятно, сложные, противоречивые, неоднозначные... Чтобы стать-служить «культурной доминантой, допускающей наличие и сосуществование широкого спектра

самых разных, но подчиненных друг другу свойств» (Ф. Джеймисон).

Возвращение-реанимация Дома в его исконно гуманистическом статусе-предназначении вполне заслуживает таких усилий-забот.

Видимо, мазохизм насилия над Человеком-Культурой достиг своеобразного «болевого порога», что и вызвало ее весьма активное восстание-сопротивление по «инстинкту» выживания, но главное, потребности творчества, воли к свободе. Ведь то, что мы следуем законам собственной природы, и есть свобода. Правда, это становится вполне ясным и убедительным только тогда, когда и внешнее проявление этой природы будет отличаться от внешнего проявления природы других. Словом, когда Дом отличим от Дома и формально, и содержательно, и феноменально. И его нельзя смешать ни с одним другим, что доказывает, что формы нашего существования не навязаны нам никем другим (Г. Зиммель).

Свобода толкования-интерпретации Дома предполагает относиться к нему как к феномену символическому. Ибо Дом постмодерного человека уже принципиально новое явление, нежели в эпоху его генезиса – с утверждением оседлости. Ведь ныне и дух номадности-кочевничества, раздуваемый возможностями-идеями глобализма весьма активен-деятелен. Так что и он свидетельствует, причем с особой пронзительностью, о будущности. А она укоренена в контексте культурогенеза, что, естественно, возбуждает интерес к отысканию пролога злоключений в бытии Дома.

По одной из версий его начало обнаруживается в эпоху эллинизма, когда умаляются-низвергаются идеалы полиса с Олимпа гармоничной иерархии античного Космоса. И он весьма страдает от нашествия Хаоса с его агрессивной социальной конфликтностью-деспотизмом (М. Бубер).

Иными словами, архаика, «эпоха обустроенности» вытесняется парадигмой Рима, когда тесносемейный Дом-ойкос выживается многоэтажносемейными наемными инсулами, реально походившими на клетки животных. К тому же нетленные источники городских пожаров-«сожителей Рима» (Плутарх). Наконец, «приюты» вражды-преступности – прародина пресловутого отнюдь не жизнерадостного «квартирного вопроса»...

А так хочется-грезится «строить дома, сочетая жилище свое воедино. С крышей другой; чтоб доверье взаимное нам позволяло. Возле порога соседей заснуть» (Ювенал).

...Два тысячелетия спустя в проблематике Дома констатации-чаяния стали более резкими, и они разделились на два ярко выраженных лагеря.

В одном сосредоточились сторонники-адвокаты модерна, всячески прославляющие его за порождаемое машинами возбуждение и технологическую отвагу, за безудержную инновационность.

Напротив – обвинители модерна безапелляционно придавали ему весьма нелицеприятные эпитеты – «железная клетка конформизма», «духовная пустыня для народов, лишенных органического единства» (П. Андерсон).

В этой связи у урбамонстров появляется и соответствующая типология. Так, выделяются «Тиранополис» с его паразитизмом и гангстерами и диктаторами, «Мегаполис» с его алчностью, отчужденностью и варварством и «Некрополис», отличающийся мародерством и примитивностью, следующими за войной, голодом и болезнями (М. Мамфорд).

Тем не менее они то и стали «питательной средой», «своим отечеством» для диалектически неминуемого явления «пророков», в первых рядах которых видятся Дж. Рескин, Ф. Ницше, за ними – фактически все сторонники «философии жизни», экзистенциализма, феноменологии, «нового рационализма» (Г. Башляр) и иже с ними.

С ними приходит-возвращается представление о городе не видимо-наличном, но который «существует благодаря сфере воображаемого, которая в нем рождается и в него возвращается, той самой сфере, которая городом питается, и которая его питает, которая им призывается к жизни, и которая дает ему новую жизнь» (М. Оже).

Жизненная метафора – еще одно свидетельство обращения к Культуре.

«Каждая культура проходит возрастны ступени отдельного человека. У каждой есть свое детство, своя юность, своя возмужалость и старость».

Или другими словами:

«У каждой культуры есть своя собственная цивилизация».

Следовательно, каждая Цивилизация имманентно начинена-вызревает Культурой, что звучит, бесспорно, оптимистично.

Примечательно, что Цивилизация признавалась событием изменчивым, не бесконечным, преходящим уже с первым упоминанием термина «цивилизация» (Н. А. Буланже «Древность, разоблаченная в своих обычаях», 1766):

«Когда дикий народ становится цивилизованным, ни в коем случае не следует считать акт цивилизаций законченным после того, как народу даны четкие и непререкаемые законы: нужно, чтобы он относился к данному ему законодательству как к продолжающейся цивилизации».

Ныне сама Цивилизация оказалась разоблаченной в своих «обычаях», нормах-требованиях, которые также рассматриваются в качестве плода нашего воображения.

«Интерес к эволюции сферы воображаемого вполне оправдан: сфера эта затрагивает как город (с его константами и изменениями), так и наши взаимоотношения с образностью, которая также подвержена изменениям – подобно городу и обществу» (М. Оже).

«Каждая новая культура пробуждается с неким новым мировоззрением».

И мировоззрение это можно назвать постиндустриальным или постцивилизационным Возрождением, омоложением, возвращающим Человека к его, прежде всего, духовному исполнению, ибо...

«Каждая культура имеет свою душу, на первом этапе эта душа порождает язык, верования, искусство, науку и государство, на втором этапе душа внезапно коченеет, что приводит к упадку и гибели культуры. Молодые культуры расцветают как цветы в поле, старые напоминают гигантские высохшие деревья, которые топорчат свои гнилые сучья в девственном лесу».

Так что есть резон говорить о расцвете, зарнице-восходе «молодого» Дома – вновь феномена первозданно-экзистенциального, величественно-сакрального, многогранно явно-потаянного в недрах «здорового смысла» и темницах бессознательного.

Преодоление геометрии притяжения, или Свято Место пусто...

Дом – это и келья, и вселенная. Геометрия преодолена
Г. Башляр

Первые ассоциации, приходящие со словами «здание», «сооружение», «постройка», обусловлены весомо-зримостью их, объемностью, занимающей некую часть-долю пространства. Посему они так легко укладываются в чертежи-модели, аксонометрии-перспективы.

«Действительно, дом – это прежде всего объект геометрической формы. Мы испытываем искушение заняться рациональным анализом этого объекта. В своей первичной реальности дом доступен зрению и осязанию. Он построен из ровно обтесанных камней, хорошо пригнанных балок. Прямая линия в нем господствует»³.

...Невиданные наяву, «сказочные» скорости авто-авия искони преисполняли восторгом тотально-победного покорения физического пространства. Однако принципиально важнее другое – посредством действенного духовного усилия человек способен вырваться из кубатуры «естественного» пространства, «искривлять» его притяжением своей воли-воображения. Словом, не просто жить-быть в нем, но и переживать, присваивать-одухотворять в той мере, в какой он может быть хозяином собственной жизни-судьбы. Ибо он обитает-исполняется в истинно жизненном пространстве, в «жизненном мире» (Э. Гуссерль).

Именно в нем повседневность, жизненная реальность, освоенная человеком и соразмерная с ним, характеризуемая непосредственной очевидностью, фактичностью, интересубъективностью (возможностью межсубъективных взаимодействий), бла-

³ Здесь и далее курсивом заимствования из произведений Гастона Башляра.

годаря которой осознается, «где» мы «всегда уже» находимся-живем обретая семью, знакомых, друзей, соседей, гостей... Правда, и неприятелей-врагов, гостей незваных тоже...

Все это о Доме, который исходно обеспечивает «жизненный мир» – «первоначальную окружающую среду» (Ur-Umwelt), «мир его дома» (Heimwelt), семьи (Familienwelt), расширяющийся в пространство «родины» (Heimat) (Э. Гуссерль).

Исходя из признания этого феномена, новыми яркими красками пишется картина мира, корректируется понимание существа-предназначения человека, смысл его существования как гармоничное со-бытие в Космосе. При этом признается лишь одна, «положительная» онтология, основанная на сугубо гуманитарной парадигме, априори предполагающей не исчисляющие феноменально-экзистенциальные воззрения-интерпретации.

И если есть намерение проникнуться глубинным смыслом-предназначением произведения человеческого творчества, постичь сами его «зародыши», то должно преисполниться и теми *«великими космическими решениями, которые глубоко пронизывают человеческое воображение»*. *Поскольку ум чрезмерно геометрический, видение слишком аналитическое, эстетическое суждение путается в обилии специальных терминов, то они есть те решающие причины, по которым «причастность к элементарным космическим силам может быть заблокирована. Эта причащенность тонка и деликатна»*.

Образы Дома как «творения» души-духа едины тем, что благодаря воображению создают *«внутренние пространства человека»*. Посему поэтика Дома обусловлена проблемой внутреннего бытия-исполнения человека, никак не вписываемой в декартову систему координат. Ее «клетка» не в состоянии удержать многозначность-мистику смыслов-символов, что хранит-излучает Дом.

«Разве не прекрасен самый скромный дом, увиденный сквозь призму души?»

Воображение представляет-рисует Дом не на плоскости, не в погонных метрах, не в площадях-кубатурах, но, взмывая над Эвклидовой геометрией и пронзая насквозь трехмерное бездыханное картезианское пространство, живописует его на безрамочном полотне «пространства переживаемом».

«Переживается оно не в силу его объективных качеств, но со всей пристрастностью, на какую способно воображение. В частности, почти всегда это пространство обладает притяжением».

И это опять-таки сугубо метафизическое притяжение только подвигает отказаться вовсе от постулатов геометричности. Домометричность – явление вообще не линейное, но динамично-силовое и притом органично согласованное с динамикой человеческого духа-творчества.

Так в актуальную теорию архитектуры вводится «экзистенциальное пространство» (К. Норберг-Шульц). Оно трактуется не как субъективный результат непосредственного восприятия, а как достаточно устойчивый «образ окружения», определяемый не только личностными чертами характера, но и наличием социально-культурных структур-смыслов, опять-таки недоступных «абстрактной геометрии». Ведь оно не есть нечто «внутри» или «снаружи», скорее это особая «размерность» человеческого существования с его творческим опытом и интенциями «жизненного мира», гармонично упорядоченного Космоса.

«Дом – поистине космос, космос в полном смысле слова».

Так уж нам подсказывает-настаивает наша весьма неоднозначная повседневность.

«Дом, данный нам в достаточно богатом опыте, – не просто неподвижная коробка. Обжитое пространство трансцендентно пространству геометрическому».

Эта магическая трансценденция отзывается не по долгожданному приказу извне, но *«происходит сразу же, едва мы воспримем дом как пространство успокоения и сокровенности, пространство, призванное быть конденсатором и стражем сокровенности».*

Посему, отвергая априори тщетную попытку рационально-рассудочного, квалиметрического постижения образно-смысловых потаенностей Дома, остается единственный путь понимания-интерпретации феноменолого-герменевтический. Путь весьма тернистый, поскольку чреват подозрениями-обвинениями в субъективизме, бездоказательности, надуманности... Однако семиология, герменевтика зачинались-разви-

вались как раз словно в пику этим нападкам. А можно ли иначе понять-прочувствовать символику-поэтику Дома?

«Прежде всего, мы ставим проблему поэтики дома, как и надлежит в исследовании, посвященном образам внутреннего пространства. Здесь возникает множество вопросов. Как никому не ведомые, исчезнувшие комнаты становятся обителью незабываемого прошлого? Где и как обретает самые благоприятные условия покой? Отчего в наших сокровенных грезах хрупкие укрытия, случайные убежища порой наделяются ценностями, лишенными какого-либо объективного основания?».

Ответы на неисчислимы подобные вопросы если не отыщутся всецело-сразу, то наверняка продвинут проникновенность в таинства Дома, имеющего *«топографию нашей глубинной сущности»*, при консолидации всей гуманитаристики в единый научный корпус и соответствующий метод *«топоанализа с печатью топофилии»*.

Отсюда и особый ныне интерес к Месту. Местоположение, локализация характерны для любого живого организма и даже для минералов (месторождение), но в отличие от человека, они ничего не изменяют в своем ареале.

Принципиально иное Человек, «живая жизнь», и не он пребывает в пространстве, подобно всякому мертво-бездушному предмету, а пространство пребывает в человеке всякий раз в уникальной форме-смысле. И он как «действующая жизнь» предназначен-вынужден искать-отвоевывать сугубо свое «Место под солнцем» (М. Мамардашвили). А мир в целом как творческий континуум видится гармоничной целокупностью Мест.

...Душевное равновесие-гармония, удовлетворенность-спокойствие, чувство благополучия-счастья можно свести к широко толкуемому акту-событию пространственно-временной ориентации, успеху в ней. Для человека это означает последовательное раздвижение сферы потенциального опредмечивания мира: он находит всему свое Место, как будто расставляя вещи в пустующем Доме. Более того, обнаруживает: он сам «есть место в мире», «имеет место быть», что наделяет любое человеческое существование особостью-уникальностью. Так для ума-чувства жизнь стала чем-то выделенным, «имеющим место в пространстве» (О. Шпенглер). И тем привнесло в

него жизнь живую, став «экзистенциальным пространством», которое получает свое существо от Мест и разворачивается сугубо под их влиянием (М. Хайдеггер).

Словом, «человек принимает именование Места как дар. И не будь человек постоянным преемником этого дара, он не был бы человеком» (М. Хайдеггер). Одарявая себя, человек одаривает уникальностью и само Место, делает его одухотворенным плодом житнетворчества, частицей-участником всего происходящего. Затем мы испытываем необъяснимое волнение, особое чувство полноты самосознания всюду, где обнаруживается эта частица нас самих. Так выказывается феномен Место-пробы, Место-имения человека, обнаруживается «магическая причастность» (Г. Юнг) фрейдовского Я, Мы и Оно к всеобщей со-в-местимости на просторах Бытия.

...Во избежание наказания, в стремлении скрыться с глаз долой библейские первогрешники Адам и Ева, подобно нашкочившей детворе, ищут в садовых кущах какое-нибудь укрыто-укромное место. И это им удается-таки, ибо сам Всевышний воззвал с недоумением: «Адам, где ты?». То был поучительный первоопыт нахождения нужного Места, который весьма пригодился, когда люди, «став, как боги» и покинув Эдемские кущи надоумились-принялись самостоятельно (как говорится, с Божьей помощью) за собственное местоустройство. И одариваясь место-имением уже сугубо по своему «образу и подобию». То есть, не просто творя-преобразуя мир, но и всячески одомашнивая его, самоодаривая себя Домом. Пожалуй, в этом и состоял самонадеянный и самоуверенный «первогрех» как культурный вызов.

Как бы то ни было, с тех допотопноисторических пор Дом – Место, где человек становится человеком-самостью и при этом удерживает связь со Вселенной.

Место, по-древнегречески – «топос», что передает некое статичное со-стояние, словно мраморное изваяние. Не случайно оно перешло в риторику в качестве «общего места». Однако славянские языки взяли себе также древнегреческое, но существенно другое понятие – «Местос». Или «наполнение» как содержимое-содержание, обуславливающее свою форму-тело исполнения-бытия и невозможное без человека – единственной мотивации-источника-цели.

Очень вероятно, что Местос впитало в себя древнешумерское Ме, общее местоимение могущественных таинственных высших сил, управляющих мировым порядком. Ими обладали как боги, так и их Дома-Храмы. В качестве морального кодекса сонм Ме был передан людям богами через своих посланников, в результате обучивших их ремеслам-искусствам, домоградостроительству. Так что и ПроМЕтей, видимо, из таковых вольнодумных посредников. А также «ойкуМЕна» – освоенная, обжитая территория, которую венчает Ойкос-Дом, наполняя ее возвышенным смыслом причастия к миру-культуре. К истокам-стимулам искусства, где есть свое архевоначало.

«Искусство начинается... вместе с домом; поэтому первое в искусстве – архитектура. ...Самая изысканная архитектура все время создает планы, грани и состыковывает их. Поэтому ее можно охарактеризовать как «раму», различно ориентированные и вставленные друг в друга рамы, и эта рама затем становится обязательным условием других искусств, от живописи до кино» (Ж. Делез, Ф. Гваттари).

С возникновением Дома вырастает Человек и живет им. И с возникновением Дома возникает археискусство – архитектура. Неспроста же Гегель отводит Архитектуре место в авангарде художественной эволюции. Не случайно преданные служители прекрасной музыки утверждают: «Все есть архитектура» (К. Холляйн), «Чудесное изящество излучает Великое Искусство Архитектуры» (К. Мельников).

Все другие виды-музы искусства преклоняются перед Аполлоном архитектуры.

«Живопись и Скульптура, говорит мне демон объяснения, – это брошенные дети. У них умерла мать – мать их, Архитектура. Пока она жила, она указывала им место, назначение, пределы. Свобода бродяжничества была им заказана. У них было свое пространство, свое точно определенное освещение, свои темы, свои сочетания... Пока она жила, они знали, чего хотят...» (П. Валери).

В их хотении уже заложен посыл к обживанию, только которое и одаривает духовным взлетом.

«Большинство Людей духовно воспаряет, когда они проникают в пространство-время, духовно обжитое. Они осознают

свою принадлежность к этому народу, к этому языку, к этой местности» (О. Розеншток-Хюсси).

Собственно за это и поклонялся древний Рим *Genius Loci*, «Гению места» – «духу места», покровителю-эгиде не столько определенной территории, сколько ее обитателям-приверженцам, сплоченных со-в-местностью.

Примечательно, что этимология-перевод *Me* близки глаголу «быть» с возможным значением «сущность». То есть как некое принципиальное содержание. Не отсюда ли +ское «змест», а также общее название мест-местечек, «мясцін», содержательных своими уникальными Домами-людьми, содержащих, как могут, Дома свои.

«Мы не можем обнаружить никакого пространства, которое было бы самостоятельным пространством; оно есть всегда наполненное пространство; и нигде оно не отлично от своего наполнения?» (Гегель).

Более того, Дом преисполнен особой духовной экзистенцией и посему обладает способностью «вместить, принять даже то, что нам кажется непонятным или неприятным» (М. Мамардашвили).

К таковым «вместилищам» при желании можно причислить недолговечные и анонимные локации: свалки-заброшенности, руины-кладбища... Но это «не-места» (М. Оже), ибо в них отсутствия-пустопорожности подавляюще больше, нежели наполненности-содержательности.

Сюда можно прибавить и утопии, места желанные, но, как минимум, пока-еще не существующие. В извечно перманентной неудовлетворенности существующим ходом вещей их воображает врожденная «утопическая сущность человека» (Х. Ортега-и-Гассет). Это она искони подвигает всяческие концепты-модели идеального жизнеустройства, желанного всеблагого Места. Ведь уже то, что мы отдаем предпочтение Местам перед неизвестностью, наделяет их «эмоциональным значением» (Ф. Шлейермахер), «эмоциональной очевидностью» (Ф. Brentano).

Так что мы живем-творим не просто от Места к Месту, но выделяем в них богатейшую палитру семантических индивидуальностей, благодаря чему наш мир насыщен Местами удобными-тягостными, неожиданными-памятными, ужасны-

ми-радостными, мрачными-приятными, гиблыми-выгодными, знаменитыми-легендарными... Причем, во всей нескончаемой палитре их сочетаний-вариаций. Поскольку сугубо Человек-творец красит-обогащает смыслом Место.

«Для творческого духа не существует бедности, и нет такого места, которое было бы безразличным и бедным» (Р. М. Рильке).

Наконец, вершина «местной» иерархии: Мест любимых, родных, святых. С ними навсегда мы связываем свое представление о судьбе, проникаемся «мистической причастностью» к той части суши, на которой изначально обитаем, над которой витают духи лишь наших предков (К. Г. Юнг).

Этот дух успокаивает – Человек на своем Месте, то есть вполне защищенный, уверенный в себе, и потому достаточно независимый свободный человек, гармоничный, вполне счастливый. Нет места на свете – нет житья. Не находить себе места – внушаться безотчетным беспокойством-страхом за невнятное будущее, поражаться паникой-апатией, неодолимой депрессией. В конце концов, подпасть под идею-быль крепкой руки-власти и полнорабского подчинения ей.

Так что Дом – априори Святое Место, обладающее глубочайшей сакраментальностью, мистикой, эпически-магическим смыслом-значимостью. Будь то Дом простолюдина, будь то Храм – Дом Божий, по праву презумпции духовного притяжения.

«Подлинно сокровенное не отталкивает. Все пространства сокровенного отличаются притягательностью. Повторим еще раз: их бытие есть благобытие. Вот почему топоанализ несет печать топофилии. Такую ценностную направленность мы и должны придать изучению всех видов жилища».

Посему уже никак не удовлетворяет определение Места как «пространства, занимаемого телом» (В. Даль). Более прав оказывается Аристотель, не будучи замеченным в пристрастии к мистификациям: «Чем-то великим и трудноуловимым кажется место».

Ведь человек – это существо, которое сознает свое Место во Вселенной, и это сознание сохраняется в нем, покуда он жив. Не то важно здесь, что человек – единственное творение, дерзнувшее приступить к миру и познать его, хотя и это само по

себе удивительно; куда важнее, что ему известно отношение между ним и этим миром. Таким образом, прямо из среды мира возникло нечто, к миру обращенное, заявляя о своей особой проблематике (М. Бубер).

Более того, «определяя место дома в картине мира и характер соотношения данной пространственной единицы с другими, мы получаем возможность судить о “внутренней организации” той или иной культурной модели и ее аксиологической иерархии» (Ю. Лотман).

Эта возможность безотказно реализуется и на переломе судьбы отдельного Человека-Дома, и на гребне «ломки эпох», когда человечество живет в предчувствии-ожидании, в яви «заката Европы» (О. Шпенглер), «тупика истории, финала цивилизации» (Г. Флобер), «смерти всех богов» (Ф. Ницше), «конца света» (Г. Гейм). Словом, во времена обострившейся озабоченности и даже страха-ужаса от непонятного полета-падения, духовной невесомости, утраты экзистенциальной почвы под ногами.

То, куда мы спешим,
это ад или райское место,
или попросту мрак,
темнота, это все неизвестно...

И. Бродский

Вполне явные истоки этой своеобразной «паники» обнаруживаются в том культурном мегасобытии, когда доселе вполне уютно-гармоничный, Вселенский Дом, «разрушительными» стараниями Бруно, Кеплера, Коперника, если и не рухнул во все, то весьма впечатляюще заколебался, угрожая похоронить под своими обломками исходную восторженность Нового времени своими прагматическими открытиями-достижениями.

Сперва было развенчано воспевание Вселенной как *amplissima domus*, Наилучшего дома (лат.), лишившегося былой романтической загадочности-поэтики. На что последовательный сциентист Б. Паскаль откликнулся неожиданным, но закономерным откровением: **«Le silence eternel de ces espaces**

infinis m'effraie» («Меня ужасает вечное молчание этих безграничных пространств»⁴).

Эта беспредельность надвинулась со всех сторон, и человек оказался в мире, устрашающая реальность которого уже не позволяла видеть в нем прежний Дом с традиционно человеческой мерой. С непревзойденной и поныне ясностью он прочувствовал обе бесконечности – бесконечно большого и бесконечно малого – и познал человеческую ограниченность, недостаточность и обусловленность.

Наиболее панические откровения на этот счет, родившиеся в контексте революционных астрономических открытий, отчаянно сетовали на катастрофическую «хрупкость и ничтожность» человека.

«... Ибо что такое человек во Вселенной? Небытие в сравнении с бесконечностью, все сущее в сравнении с небытием, среднее между всем и ничем. Он не в силах даже приблизиться к пониманию этих крайностей – конца мироздания и его начала, неприступных скрытых от людского взора непроницаемой тайной...».

Раз есть тайна-запрет, то человеческая природа идет на ее приступ неумными размышлениями.

«Когда я размышляю о мимолетности моего существования, погруженного в вечность... и о ничтожности пространства, не только занимаемого, но и видимого мной..., я трепещу от страха и спрашиваю себя, – почему я здесь, а не там, ибо нет причины мне быть здесь, а не там, нет причины быть сейчас, а не потом или прежде».

Таковая неприкаянность, неприютность человека в бесконечности Вселенной поднимается разумом-чувством из глубин его внутренней столь же бесконечной вселенной. Вот только те, кто осмеливается заглянуть в нее, спешат отринуться, поскольку тут же осознают: трещит-терется, **«заложенный нами фундамент дает трещину, земля разверзается, а в провале – бездна».**

С этим чувством неожиданной личностной не-у-местности, социальной необустроенности и космологической небезопасности уже не в силах была справиться также растерянная гу-

⁴ Здесь и далее жирным соображения из «Мыслей» Б. Паскаля.

манитаристика. А последующая концепция расширяющейся во все стороны Вселенной навевала мысль, что все в ней отдалается-убегает, отлетает-отстраняется собственно от человека, от его весьма обжитого-намоленного Дома-Места.

Злободневно, вольно-вынужденно изживая из себя эту предательскую неуверенность, декаданс-упадничество находится выход – «наложить свое пребывание на реальность» (М. Хайдеггер), в которой само пребывание в мире исполняется как ЧеловекоДом посредством нахождения достойного Места, устройства надежного основания, возведения прочных стен-крова.

Кстати, такая метафора стара, как мир-философия. Так, Аристотель охотно отождествлял в «Метафизике», и не только, труд ума с творчеством архитектора, последовательно домовозводящим. Философствование как подражание домостроению принимал Фома Аквинский («Сумма теологии»), Георг Гегель («Эстетика»).

«Уверенной поступью, как бы переходя с этажа на этаж и из комнаты в комнату этого надежно сложенного дома с прочным фундаментом, стенами и кровлей, передвигается всеведущий человек Гегеля внутри нового дома мировой истории...» (М. Бубер).

И в каждом из подобных метафор заложен фактически евангелический посыл:

«Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне; почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его...» (Лк. 6:48).

Просвещенцы-рационалисты на свой, естественно, лад исповедовали-утверждали этот же образ-идею.

«В различных местах моих сочинений я говорил, что подражаю зодчим в том отношении, что, когда они стремятся построить прочное здание на почве, в которой камень, глина или какие-то другие твердые породы засыпаны сверху песком, они сначала роют траншеи и выбрасывают из них весь песок и другие лежащие поверх него или перемешанные с ним породы, дабы затем воздвигнуть опоры на твердой почве. Точно так же и я сначала отбросил, подобно песку, все сомнительное, а за-

тем, поняв, что немислимо сомневаться, по крайней мере, в том, что существует сомневающаяся, или мыслящая, субстанция, я использовал это как скалу, на которой укрепил опоры моей философии» (Р. Декарт).

Но что тогда означает эта скала, точнее, напряжение любящего мудрость ума, а фактически сам человек с его призванием-ответственностью самопонимания?

«Но что такое человек, что он философствует в недрах своего существа, и что такое это философствование? Что мы такое при нем? Куда мы стремимся? Не случайно ли мы забрели однажды во Вселенную?».

Как на это ответят философы?

«Самый болезненный, самый мучительный вопрос, идущий из самой глубины сердца: где я смогу почувствовать себя дома?» (А. Камю).

А что здесь скажут поэты?

«Новалис говорит в одном фрагменте: “Философия есть, собственно, ностальгия, тяга повсюду быть дома”... Повсюду быть дома – что это значит? Не только здесь и там, и не просто на каждом месте, на всех подряд, но быть дома повсюду значит: всегда и, главное, в целом. Это “в целом” и его целое мы называем миром» (М. Хайдеггер).

Глубинновысотная, можно сказать, ностальгия, что подобна невидимой лестнице-духу вниз, поднимающей на поверхность рассудка-сознания самое сокровенное. Следовательно, обязательно и Дома, настойчиво зовущего собой к себе.

...Ну, идем домой!

Но где мой дом и где рассудок мой?

А. Ахматова

...Итак, человек – существо метапространственное. Его Дом-ойкумена – не вдали-высоте-шири, но в «пространстве его озабоченности» (М. Хайдеггер), в котором человек не просто двигается, ощущает, но размышляет, в котором создает произведения-вещи и создается ими, беспрестанно обогащая свой мир новыми смыслами, ДомМестосами.

«Всюду, где мудрый человек поселяется, он приносит богам этих мест жертвы, почитаемые и уважаемые им боги почитают и уважают его. Как мать заботится о своем любимом сыне, они заботятся о нем» (Будда).

Сегодня о «нем» консолидированно заботится мировая философия-зодчество.

«Главное для меня – человек. Я подчиняю человека царству, чтобы он нашел себя и свое место в жизни» (Экзюпери).

«Задача архитектора состоит в том, чтобы помочь человеку найти экзистенциальную точку опоры» (К. Норберг-Шульц).

Иными словами, вернуть в актуальной трактовке гуманное измерение экзистенциальному пространству – ставшему рыхлым, топким, угрожающе одномерным, выродившимся в массовую одноразовую «упаковку», вытеснившим Дом на обочину живой жизни, в удручающую бездомность.

Одичалость без доверия, или В поисках новой укрытости

И странника, утратившего кров,
не ждет ли час смертельного исхода?

Р. М. Рильке «Дом»

Может показаться невозможно-парадоксальным, но неоспоримый факт – переживаемая ныне экзистенциальная ситуация-чувство «бездомности» стала обозначаться, тотально усугубляться вместе с прогрессирующим массовым индустриальным домостроением, насыщающим и множащим мегаполисы. Мыслью чуткой к проблемам бытия-экзистенции сия тревожная культурная инверсия исходно трактовалась именно как «безосновательность», или «бездомность» человека. Посему и бытие человека в мире наделяется новым для философской антропологии термином – «Un-heimlichkeit», что буквально означает «без-домное», «бес-приютное» (М. Хайдеггер). В русском переводе они имеют яркую эмоциональную окраску – соответственно «жуть» и «не-по-себе», хотя в первоначальном смысле означали «свой дом», «домашний уют».

На такие «жудостные», вполне апокалипсические мировоззренческие виды-видения подвигнуть могла разве что действительно мрачная ситуация. Ведь Мегагород-Левиафан зажил-преуспел, тихой сапой отняв традиционную домоладную жизнь, и поглотил в свое все более раздающее чрево, где приветливая каждому среда обитания искажается-деградирует до «мест общего пользования». Десакрализуется Дом, а с ним и Природа-Естество в целом. Беспрецедентное, надо признать, состояние-ощущение.

«Это состояние можно определить как невиданное по своим масштабам слияние социальной и космической бездомности, миро- и жизнебоязни в жизнеощущении беспримерного одиночества. Личность чувствует себя одновременно и подкиды-

шем природы, брошенным, подобно нежеланному ребенку, на произвол судьбы, и изгоем посреди шумного человеческого мира» (М. Бубер).

Социально-космический Домоцид приводит не только к растрате исторического оптимизма, накоплению уныния, но покушается на веру во вселенскую обустроенность, в которой человек занимал вполне достойно-почетное Место. На смену ему и приходит-укрепляется осознание бездомности, безродности, экзистенциального одиночества, которые становятся судьбой современного мира и причиной отчуждения человека (М. Хайдеггер).

Впрочем, подобная эпохальная ситуация не уникальна. Ибо отмечается, что проблема бездомности обостряется всегда, когда социум испытывает исторический кризис-перелом, когда вследствие войн-революций, эконом-экологических крахов-коллапсов люди массово срываются с насиженных мест, лишаются Домов в силу хронического и неодолимого неДОМогания.

«В истории человеческого духа я различаю эпохи обустроенности (Behaustheit) и бездомности (Hauslosigkeit). В эпоху обустроенности человек живет во Вселенной как дома, в эпоху бездомности – как в диком поле, где и колышка для палатки не найти» (М. Бубер).

Однако нынешняя эпоха воистину беспрецедентна – состояние «невиданного по своим масштабам слияния социальной и космической бездомности, миро- и жизнебоязни в жизнеощущении беспримерного одиночества» (М. Бубер). Практически во всех размышлениях-промыслах, посвященных духовной ситуации времени, характеризуя актуальное положение человека в современном мире именно как бездомное – беззащитно-потерянное, безопорно-подвисшее, что некогда красноречиво обозначил Б. Паскаль.

И все-таки в этой мрачновато-печальной, явно упаднической картине мира, по надежденской природе человека, появляется-искрится и вполне радужно-романтический сюжет – о человеке как средоточии космических сил, пронизывающих природу и связывающих индивидуальное «я» со вселенской «сверхдушой» (over-soul). При этом верно замечено: «Одиночество не измеряется милями, которые отделяют человека от его ближ-

них» (Г. Торо). Измеряется же оно модусом-степенью переживаемой бездомности...

Дом-прибежище дарует уверенность в правоте своих устремлений, служа ориентиром в помыслах-поступках. Не имея его, смысла стези-жизни, человек неминуемо пропадает, словно в сплошной туман, беспристрастно обдающий унынием-отчаянием.

«Если же туман рассеивается, и он видит вдали какой-нибудь домик, который сможет послужить ему прибежищем, он сразу же ощущает свежий прилив сил (В. Франкл).

Дом-убежище придает убежденность: есть, существует, хочется, чтобы неизменно была «последняя опора» в мире. Лишить человека Дома – все равно что обрушить почву из-под ног, вырвать с «корнем», лишить витальной опоры в мире. На это способна-направлена лишь самая антигуманная идеология, преследующая цель подавить личность несвободой местоимения и так подчинить его своей воле.

Иван Грозный практиковал периодическое перемещение своих влиятельных и заведомо подозрительных подданных на новые земли, как только они своими Домами-родами пустят житейские корни-побеги на прежних. Так искоренялось «предковское право», право-воля быть и распоряжаться своей судьбой на земле своих пращуров. Дабы подкосить душевно и не завелось даже ощущения устойчивости-независимости.

«Интерес казенный или царский поглощал все интересы. Начнет ли торговый и промышленный человек жить с устроением (с комфортом), на него навязывают какую-нибудь разорительную должность вдалеке от его обычного места жительства» (Н. Костомаров).

По жизни это проявилось в выселении «сильных людей» из столицы по волостям, как через века, «за сотый километр», навсегда из родового по-местья.

Только разве что персонажи А. Платонова и иже с ними могут видеть счастье в разборке домов как «следов своего угнетения». Ведь «пролетариату нечего терять кроме своих цепей», Дом он уже потерял, не имея. Отсюда его бессмысленная и беспощадная агрессия к Домам.

«Дворянское гнездо»? – сжечь дотла, ограбить-разрушить, припевая, что это в согласии со стремлением также поступить со всем «миром насилия».

Кулак, состоятельный крестьянин-трудолюб? – вон его из дородного, трудом-потом утвердившегося родового Дома.

Иные волелюбцы, даже целые народы гордые своими Домами? – гнать, да подальше, в «чисто поле», лучше поодиночке, чтобы средств-сил не то что вернуться, но и Домоустроиться на духовной целине-чужбине не нашлось...

Объяснение-причина сего отречения от Дома – признание его «пережитком прогнившего прошлого» и порыв-заряд на рытье «котлована» для башни-общезития мира нового, как обещалось-верилось, светло-прекрасного. На самом деле трудно придумать более изощренное средство унижения-удержания человека-бездомника, нежели пресловутые «общаги», «ведомственное жильё», иные невольные «временки», порождающие сверхмизантропный бомжизм.

...Тридцатилетний Воцев, получив расчет, изгоняется из своего «отечества», небольшого механического завода по причине душевного томления-неудовлетворенности, «задумчивости среди общего темпа труда». Зато он – свободен, ведь сам согласился на изгойство, поскольку «не мог дальше трудиться и ступать по дороге, не зная точного устройства всего мира». Так что «ушел из завкома без помощи. Его пеший путь лежал среди новостройки – «строили дома и техническое благоустройство – в тех домах будут безмолвно существовать донныне бесприютные массы». «До самого вечера молча ходил Воцев по городу, словно в ожидании, когда мир станет общеизвестен. Однако ему по-прежнему было неясно на свете, и он ощущал в темноте своего тела тихое место, где ничего не было, но ничто ничему не препятствовало начаться. Как заочно живущий, Воцев гулял мимо людей, чувствуя нарастающую силу горящего ума и все более уединяясь в тесноте своей печали». Просто он «не мог дальше трудиться и ступать по дороге, не зная точного устройства всего мира и того, куда надо стремиться». И еще: «Не убывают ли люди в чувстве своей жизни, когда прибывают постройки? Дом человек построит, а сам расстроится. Кто жить тогда будет?».

Вообще Воцев без знания истины не мог работать. Истинно, истинно наговорил-внушил ему инженер Прушевский, разработчик проекта котлована, который должен стать «единственным общепролетарским домом вместо старого города», мечта-

ет, что «через год весь местный пролетариат выйдет из мелкоимущественного города и займет для жизни монументальный новый дом».

Словом, Вошев соглашается, ведь «они должны сегодня начать постройкой то единое здание, куда войдет на поселение весь местный класс пролетариата, – и тот общий дом возвысится над всем усадебным, дворовым городом, а малые одиночные дома опустеют, их непроницаемо покроет растительный мир, и там постепенно остановят дыхание исчахшие люди забытого времени».

Вошев спускается в котлован, поскольку «теперь допускал возможность того, что детство вырастет, радость сделается мыслью и будущий человек найдет себе покой в этом прочном доме, чтобы глядеть из высоких окон в простертый, ждущий его мир. Уже тысячи былинки, корешков и мелких почвенных приютов усердной твари он уничтожил навсегда и работал в теснинах тоскливой глины».

Впрочем, и душа-разум инженера Прушевского не оставались в уверенном спокойствии. Да, это он «выдумал единственный общепролетарский дом вместо старого города, где и посейчас живут люди дворовым огороженным способом; через год весь местный пролетариат выйдет из мелкоимущественного города и займет для жизни монументальный новый дом. Через десять или двадцать лет другой инженер построит в середине мира башню, куда войдут на вечное, счастливое поселение трудящиеся всей земли».

Так воочию будет реализован сакральный лозунг о соединении пролетариев всех стран. Для него, убежденного «технаря», не было сомнения в возможности такого «произведения статической механики в смысле искусства», что вполне доказали Эйфель, Шухов, заокеанские небоскребостроители. Ясна была и целесообразность его помещения «в центре мира»...

Докучало лишь то, что он «не мог предчувствовать устройства души поселенцев общего дома среди этой равнины и тем более вообразить жителей будущей башни посреди всемирной земли. Какое тогда будет тело у юности и от какой волнующей силы начнет биться сердце и думать ум?». И как всякий достойный творец, он хотел загодя знать, «чтобы не напрасно строились стены его зодчества; дом должен быть населен

людьми, а люди наполнены той излишней теплотою жизни, которая названа однажды душой. Он боялся воздвигать пустые здания – те, в каких люди живут лишь из-за непогоды». Иными словами, его донимали чувства «стеснения сознания» и «конца дальнейшего понятия жизни, будто темная стена предстала в упор перед его ощущающим умом».

И это была стена его Дома-Самости, у которой он, «шевелиясь», с тех пор мучился. Находил некое успокоение в том, что, «в сущности, самое срединное, истинное устройство вещества, из которого скомбинирован мир и люди, им постигнуто». Что насущная наука фактически исполнилась и «расположена еще до стены его сознания, а за стеною находится лишь скучное место, куда можно и не стремиться. Но все же интересно было – не вылез ли кто-нибудь за стену вперед». Любопытство сие он удовлетворил сразу, как только «подошел к стене барака, согнувшись, поглядел по ту сторону на ближнего спящего, чтобы заметить на нем что-нибудь неизвестное в жизни; но там мало было видно, потому что в ночной лампе иссякал керосин, и слышалось одно медленное, западающее дыхание».

Оно невольно воспрянет, когда в барак котлованщиков «светлого будущего» пред всем их лицом по утру явится сам председатель окрпрофсовета товарищ Пашкин, который после осмотра начатого котлована заключил: «темп тих», надо повышать производительность, ведь «социализм обойдется и без вас, а вы без него проживете зря и помрете».

«Пашкин жил в основательном доме из кирпича, чтоб невозможно было сгореть, и открытые окна его жилища выходили в культурный сад, где даже ночью светились цветы». Поэтому смотрел на всебарачное житие-бытие строителей «морщась от забот и привычной осведомленности». Однако «обошел своим шагом жилое помещение, изучая невзрачным взглядом гигиеничность и кубатуру, и нашел условия приличными: ведь пролетариат еще только делает себе существование, так что требовать ему блага не с кого».

«Пусть сейчас жизнь уходит, как течение дыханья, но зато посредством устройства дома ее можно организовать впрок для будущего недвижимого счастья и для детства» (А. Платонов «Котлован»).

...Упоение «свободой» бездомности призрачно: человек-«перекати поле» в глубинной экзистенциальной основе своей – пленник неподвижного несчастья.

«Бедные, лишенные крова странники на шоссе, в лесах, в лучшем случае укрывшиеся в куче листьев или среди товарищей, незащитные перед всеми угрозами неба и земли!» (Ф. Кафка).

Самое печальное же в том, что под небом-землей наличествует более существенная, экзистенциальная угроза – рожать-множить племя апатрид, лишенцев родины, всякого гражданства, а с ним и Дома.

Внешне весьма довольный жизнью и даже респектабельный «турецко-подданный» Остап Бендер внутренне исходит бездомностью своей, самоиронично упоминая «ключ от дома, где деньги лежат», которого у него, видать, и в помине не было. Потому и окружал себя себе подобными – бездомно-неприкаенными, «без кола, без двора» бедолагами. И, видимо, злополучные стулья искал-собирал, словно хотел богатым своим воображением обрести-обустроить свой вожделенный Дом. И, не исключено, увидел его в своем последнем сне в магической полноте-соборности числа 12.

Но теперь уже воображение его авторов-создателей сделала тот сон не вечным, предоставило ему вторую, надо сказать, удачную попытку убедиться, что его бездомность сродни бездомности Карейко, вне зависимости у кого пресловутый чемодан с миллионом. И в грезном Рио Дом для него пустая безможность. Отсюда посильное желание-решение – «переквалифицироваться в управдомы». Видимо, в подспудном желании помочь хоть как-то разрешать животрепещущий «квартирный вопрос», ибо он более, чем падающие ниоткуда деньги и без вмешательства Воланда испортил и продолжает портить «обыкновенных людей». Хотя «милосердие иногда стучится в их сердца», «в общем, напоминают прежних...». А квартиры их есть – сущее логово чертовщины-бесовщины всяческой.

...От того-то, знать, не
Дом, в котором мы живем.
Надо б лампочку повесить –
Денег все не соберем.

Б. Окуджава

Поэтому, чтобы декларировать-заявлять оставить дома свои покинуть «или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей...» (Мф. 19:29), нужно было глубоко прочувствовать, сполна испить свою, прежде всего чашу «бездомности» и возненавидеть существующие домопорядки. Ибо, как пронзительно и правдивее звучит иное откровение Христово: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Мф. 8:20). Отсюда символично-знаменательны слова-заверения Христовы на прощанье с учениками: «Я иду приготовить вам место, а, подготовивши, Я возвращусь и возьму вас к Себе...». Ведь заботливо обещал не просто Место, но Дом, обетованный, всепокой.

Во все времена наличие достойно-современного Дома есть признак-атрибут присутствия-принадлежности к цивилизации, привычному миру людей, если даже реально таково не утрачено. Робинзон Даниэля Дефо, вырванный из мира людей, не довольствуется пещерой, но строит себе истую резиденцию, пусть это в его условиях и требовало значительных усилий. Но страх потерять статус достойного горожанина вдохновлял, не спрашивая, о чем *не понаслышке знали древнейшие боги*.

...И случилось так, что божественный Энкиду обрушился гневом на блудницу, не менее божественную Шамхат и во гневе проклял-назначил ей «великое», но весьма человеческое проклятье-долю: «Пусть ты не устроишь себе дома на радость... Чистое серебро, гордость людей и здоровье пусть у тебя не водятся в доме... Пусть будут брать наслаждение от тебя у порогов, Перекрестки дорог тебе будут жилищем... Пустыри пускай тебе будут ночевкой... Тень стены обиталищем будет... Отдыха пусть твои ноги не знают... Пусть не чинит твою кровлю строитель. Пусть к тебе на пир не сходятся гости...» («Эпос о Гильгамеше»).

Так что искони Дом, *придавая смысл жития-бытия человека, одаривает высоким чувством-пониманием собственного сбытия, утверждения Самости, вольно соизмеряющей свое где-когда в мире*.

«Ты не дома, если не знаешь, куда попал...» (Экзюпери).

А тут такая обескураживающая драма – человек, сам того не желая, своими же «стараниями» оказался «пересаженным

в другую действительность» (М. Хайдеггер), причем с опасным повреждением своего естественного экзистенциального корневища, рубя при этом еще и «сук, на котором сидит». Другими словами, разрушается предустановленная гармония, естество-природа, в том числе и собственно человеческая натура. Ибо ничто в окружающем мире не признается своим, но чуждым-враждебным. Человек отравляет «чужие» воздух, воду, землю, уничтожает плоды человеческого труда, и все это расходуется-ширится. Единственный выход философия видит в повороте от метафизики к новому способу мышления, «новому рационализму» (Г. Башляр), феноменологии онтогенеза Человека-Культуры и его укоренения в Мироздании. А оно отнюдь не метафорически объясняется плодородностью почвы-земли.

Для этого в закромах античной философии отыскивается понятие-образ – «этос», сущностный принцип бытия человека с древнейшим, во времена Гомера, значением – «дом-очаг». Позднее им обозначались «нрав, обычай, характер», что легко объясняется восприятием Дома в духовном родстве с его хозяином и их взаимном со-жительство, бытийствовании. И уже с этих, явно не физикалистских позиций приоткрылось феноменологическое, до конца невытаиваемое существо бытия, априорной тайны, которая, однако, не залегает в глубинных пластах, требующих натужного поиска и могучих усилий для ее вскрытия. Тайна сия лежит на поверхности и ее следует прожить-пережить, и лишь тогда она в некоей мере открывается пониманию-чувству. И таким образом сам человек преобразается, вырывается из бессмыслицы эмпирического функционирования, делается само-бытным, самим бытием.

Умом понять такое отважился «оптимистичный экзистенциализм» с его подвигом встать на «путь от экзистентно угнетающего переживания обнаженности человеческого существования к новому чувству укрытости», или к «новой укрытости», удовлетворяющей актуальную витальную потребность. Или, наконец, к разоголению Адама-человека, к обретению им домушности.

Исходной здесь послужило вопрошание-выяснение, «каким образом человек может разорвать оковы экзистентного одиночества и вернуть для себя опору во внешней реальности». Она подразумевает «другого человека, человеческое сообщество,

учреждения, в которых формируется жизнь этих сообществ, а также силу духа в той мере, в которой все они плодотворны для человека – короче, все, что может придать смысл и содержание человеческой жизни как нечто постоянное и надежное».

Это, в свою очередь, подвигает говорить-заботиться о «новом отношении к действительности», «обозначенное как доверие». И речь здесь идет не о доверии к тому или иному определенному бытию, к тому или иному определенному человеку, но о некоем лежащем в основе этого доверия к миру-жизни, следовательно, о доверии как таковом, еще без определенного предмета, которому доверяют. «Доверие это возникает в процессе самой жизни из чувства глубокой укрытости». При этом оно не сводится к сугубо религиозному доверию, но к более древнему, исходному «бытийному отношению, которое предшествует любой религиозной трактовке» и «является предварительным условием для всякой человеческой жизни». С тех пор как «наивная уверенность в жизни была утрачена» она «заключает в себе неустранимое противоречие между отчаянием и доверием, между безнадежностью и надеждой, в этом вечном антифонном пении между адом и небом». Таким образом, и возвращаемое, «новое доверие к бытию остается постоянно под угрозой и должно быть достигнуто заново перед лицом сомнения» (О. Ф. Больнов).

Такое ювенильное «доисторическое» доверие априори необходимо человеку по рождению, как ласка-забота. Она является условием, без которого даже при благоприятных внешних обстоятельствах ребенок нормально не может развиваться. Так исходно человек становится сугубо человеком – именно «в этом доверяющем-себя-открывании, в любовной привязанности к матери, в особом опыте привязанности ребенок открывается миру как собственно человеческое существо». Сугубо «мать своей заботливой любовью создает для ребенка пространство, достойное доверия, полное надежности и ясности, поскольку все включенное в него становится причастным ребенку, осмысленным, ожившим, доверительным, близким и доступным... Более того, не только люди, но и вещи обнаруживают свою сущность, свое устройство, свой скрытый смысл» (А. Ничке «Страх и доверие»).

В противном случае «умирает» даже надежда. Притом, что имеется в виду опять-таки не надежда на что-либо конкретное,

на некое определенное событие, которое можно наглядно представить, а та глубочайшая надежда, которая не заключается в ожидании какого-то результата, а просто характеризует отношение к жизни в целом. Это «фундаментальная надежда», напротив, включает в себя некое имманентное и незаменимое содержание; она является актом личностной экзистенции, добродетелью, выражением согласия с самим собой, которое конституирует бытие (Г. Плюгге).

Восстановление самости – надо понимать, веры-убежденности в своевременности-современности своего присутствия в мире, для чего опять-таки востребована решимость собственной воли, что вырывает из обреченности обыденного бытия и дарует «подлинность» экзистенции. Или преодоление субъективной обособленности, а также изготовленности сопротивляться всяческому деструктиву извне, создав-сотворив свое доверительное Место-позицию. Иными словами, путь к этой подлинности-самости обязан-обречен преодолеть «безмерность», «безродность» человека, освободить его от «чувства потерянности», «дезориентации», «бесприютности». И только одним универсальным способом – обретением Дома.

«Дом – это основа человека. Люди считают жилище своим домом, и, если они живут в спокойствии, род процветает. Если в беспокойстве, то род приходит в упадок» («Трактат о жилищах Хуан Ди»).

«У кого есть дом, куда сунуть голову, тот, бесспорно, с головой на плечах» (У. Шекспир).

Человек есть «существо, строящее Свой дом», а его Дом – результат креативных поисков-находок человека, вконец не утратившего вкус к достижению своих идеалов, через «доверие» к существующему бытию в собственном «доме» (О. Ф. Больнов).

Сквозь «домашнее» доверие открывается просвет к осмыслению феномена «крайнего одиночества», воспринимаемого покинутостью, одним из принципиальных понятий современного экзистенциализма. У М. Хайдеггера оно «отброшенное бытие» (Geworfenheit) – существование в мире, не ощущая себя «дома». И даже не гостем, ибо к нему никто не проявит помощь-заботу, и он лишен опоры-поддержки, Места в живой жизни. Остается лишь взаимная без-заботность с миром как

глухая неблагодарность за всяческий дар, будь то кладезь мудрости, будь то чаша вина.

«...А помнишь ли вот еще что, о Заратустра? Когда был ты на острове своем, ты – источник вина среди ведер пустых, раздавая и расточая себя жаждущим, даря и раздаривая, – пока, наконец, не остался ты в одиночестве, жаждущий среди пьяных, и не стал жаловаться по ночам: “Не большее ли блаженство в том, чтобы брать, нежели давать? И красть, нежели брать?”. Это была покинутость!».

Покинутость – это когда делать добро становится опасным, а верить-доверять ближнему чревато, как минимум, сожалением и разочарованием.

«Я чувствую, что опаснее мне находиться среди людей, чем среди зверей... Это была покинутость!» (Ф. Ницше).

Из этого же феноменального ряда-рода и заброшенность, неизбежное возлагание ответственности за свое собственное бытие-в-мире на самого себя (М. Хайдеггер). Или сложная постоянно исчезающая-настигающая причина-следствие «себя-бытия», которое, однако, «никогда невозможно постигнуть» (Ж.-П. Сартр). Действительно, есть ли еще такая недостижимая даль-глубина-высь, нежели, по-христиански, «царство небесное, которое внутри нас есть»?

Хотя и чувствуется всеми фибрами души ее щемящими как беспризорность, запустелость, затерянность, неухоженность, сиротство, отверженность... Наконец, одичалость – самый, пожалуй, верный, «окончательный» указатель на дисгармонию со всем иным-другим, точку невозврата, выход за гуманитарный «горизонт событий» и вход в последнюю стадию разложения перед полной деградацией, экзистенциальным ничтожением, духовной аннигиляцией...

Приснопамятному Робинзону Крузо удалось избежать одичалости «в полной безмолвия печальнейшей жизни». Правда, немалым старанием-напряжением домоустроителя, чем, помимо всего прочего, волей-неволей весьма плодотворно реконструировал генезис-зарождение Дома.

...После бедственной «высадки» на острове неведомом первую ночь он «гостит» на дереве. И была ночь, и было утро. Вторая ночь прошла в «стенах» из нагромождения сундуков-ящиков, что вынесло на берег после кораблекрушения. И были

ночи, и были утра, дни выживания. И вот на скате дикого холма отыскивается полянка напротив небольшого углубления в скале. Здесь и «возводится» палатка, огражденная частоколом вбитых в землю крепких стволов. Наведать эту «крепость» удавалось только по приставной лестнице. Углубление в скале расширяется до пещеры, весьма пригодной для погреба. Ибо уже было что хранить-беречь из плодов налаженного земледелия-скотоводства... Наконец, домашний быт-мир «окончательно» налаживается благодаря трем кошкам, собаке и в меру разговорчивому попугаю.

Так что домовитый Робинзон вправе гордиться собой: «Терпением и трудом я довел до конца все работы, к которым был вынужден обстоятельствами».

Довести свои дела до благодатного конца-возвращения в родной Дом ему помогла и его незатерянность во времени. Недаром он устанавливает большой столб и, словно на дверном косяке, делает ежедневные зарубки, привязывающие его к исторической повседневности.

Так что бездомными не становятся вмиг, хотя, скорее всего, навечно. Этому споспешествует тотальное изгойство. В нем явствуется болезненная сила-резкость, направленная на извержение, выбрасывание, выкидывание, вышвыривание, выпотрошение... – на осуществление всяческих действий по отстранению-изоляции из определенной сущности-идеи. Поэтому оно подвергает испытанию все существо ЧеловекоДома на стойкость ко всем чуждым посягательствам извне, на готовность ответить на любой вызов упорством оставаться самим собой.

Насильно-принудительное изгнание-изгойство, норма-практика остракизма основывались именно на лишении Дома-самостоятельности, на изгнании в безликую зону необитаемости и неразличимости, то есть от-решенности как отлучения от принятия действенного решения.

Изгойство, ссылка – древнейшее и страшное наказание, своего рода тюремное заключение.

Не дай моим устам испить из горькой чаши
Изгнанья мрачного по каплям жгучий яд.

А. Фет

Сравнимо решительное изгнание разве что с изощренно-жестокой казнью, поскольку своеобразно умерщвляет человеческое в Человеке. Древнейшая надо сказать, пытка-кара.

«И сказал Каин Господу Богу: “Наказание мое больше, нежели снести можно; вот Ты теперь сгонишь меня с лица земли..., и буду изгнанником и скитальцем на земле”...» (Быт. 4: 13–14).

Вынужденная «не-при-Каянность», означающая, что человек утратил-потерял нечто очень важное, сущностное, что и вызывает порыв очищающего расКаинования.

Библия умалчивает, но можно представить-уверовать, что у Каина оседлого, по определению землероба, было некое достаточно стойкое к внешним порывам жилище. Свое и потому особо почитаемое. На него с объяснимой завистью и поглядывал Авель пастух-кочевник. Может, из-за него и приключилась смертоубийственная распря между братьями, и Каину было что защищать. Возможно, этим обстоятельством проникся недальновидный Господь и, словно замаливая свою вину, пообещал неприкосновенность Каина: «Всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». Значит, догадывался-знал Господь, что есть-поживают и другие помимо его творений люди на Востоке. Туда-то в страну-край прекрасных таинственных женщин, носителей духа домашнего очага-уютя, порядка-мира и пролегал изгойский путь Каина.

Был ли у тамошних домоустроительниц иной Творец или все тот же, но экспериментирующий с достойным мироустройством, и тогда похождения Каина были для него частью особого промысла – не суть важно.

Главное, что Каин на новой для него земле Нод заложил прославленную в веках династию зодчих. «И познал Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха». Сын-первенец явно выдался удачливым на поприще домосозиденья, ибо построил он город и назвал город «по имени сына своего: Енох». И означает имя-название это «воспитывающий, обучающий, открывающий новое». Благо, что именно он стал-избран истым праотцем ныне живущих и открывающих двери новых Домов, потому как он породил Ламеха. А тот взял себе в жены Аду, «украшение» – первое исто человекоженское имя, упоминае-

мое Библией. Она-то и родила Иавала, отца всех живущих в шатрах... Вот оно – начало приснопамятной и нескончаемой ДомиАды.

...Впрочем, как бы то ни было, изгойство-остракизм древнейшее приспособление-реакция общины на «крамолу» инакомыслящих, несущих потенциальную угрозу устоявшемуся порядку, одним словом, месть.

Голосованием немymi черепками-остраконами из общего Дома-демоса изгонялись подозрительные персоны-вольнодумцы. Иногда без какого-либо внятного обвинения, но профилактики-устрашения ради.

Христианский демос осуществил собственную виртуальную остракофорию, приговорив на бессрочное изгойство приснопамятного Агасфэра, Вечного жида, который, по преданию, оттолкнул-отринул просьбу идущего на Голгофу Иисуса Христа прислониться для толики отдыха к стенам своего Дома. За то и был осужден «правоверный» иудей на скитания в бездомности из века в век, до Второго пришествия «сына человеческого».

Каково перенести-пережить это изгойство – надо спросить у самого небывало проклятого «невозвращенца», пока еще, по видимому, есть время. Любопытно также, кто вынес этот явно сверхчеловеческий вердикт? Если сам Отец-Сын, не склонные, правда, к мщению, то куда-почему смотрел-промолчал верховный иудейский амбициозный и неумно ревнивостительный к своей власти Саваоф? Или это мистический самосуд самого Агасфэра, ведь совесть также из божьих даров, хотя и «тяжелых». Как у мифического царя Эдипа, невольника чести и рока-фатума, обрекшего его без вины виноватого на самоослепление и скитальчество, на изнуряющую неприкаянность...

Отстранение от Дома-порядка источает и страх перед изменениями, способными поколебать привычные устои-отношения, и тем лишить одних уверенности, что «хуже не будет», снять опасение «как бы чего не вышло». Иных пугает утратой «первого места» в таковом Доме. Тогда с его порога вослед изгоям катится молох презрения, летят соответствующие «напутствия»: предатели, отщепенцы, изменники, вырожденки, «вероотступники», «враги народа», «космополиты», «диссиденты»...

И те, кто осознанно соглашается на такую участь-судьбу – принимают изгойство как должное за отказ от ленисти-привычки, мягкотелости-малодушия, согласия-терпения жить-мыслить не по своей воле-разумению. Среди таких странных «пророков в своем отечестве» самые звонкие-легендарные имена. И теперь «безумству храбрых поем мы песни».

...Отец баснеписания Эзоп ничтоже сумняшеся при первой же возможности изгнал себя из-под весьма фешенебельного и благосклонного к нему крова его хозяина-рабовладельца. И обрел острейшим умом, неукротимым самоуважением свой неотъемный поднебесный Дом-свободу, за который также, не сомневаясь, отдал жизнь.

...В ответ на обвинения в «поклонении новым богам» и «развращении молодых людей» Афин Сократ не кается, не изменяет себе, своему обустроенному со всех сторон Дому-учению пред ничтожной чашей с цикуттой. Теперь он зачинатель многогранного Дома западной философии.

Или новаторские проповеди Заратуштры, у них был один «попутчик» – изгойство-унижение. Только в Доме-Дворце легендарного персидского царя Кави Виштаспы он нашел признание и деятельного поклонника-«апостола». Неизвестно достоверное Место, откуда именно есть-пошла во все стороны небывалая «религия выбора», но имя его вольнодумца Заратуштры и сегодня актуально. Ибо сказано им про Митру, «то, что связывает», ибо записано в «Авесте»:

«Мы почитаем Митру... О Митра, глава дома, И рода, и народа, Страны и всей общины». «Да сохраним обитель, Обитель не покинет! Да не покинем дома, Да не покинем рода, Народа не покинем или своей страны, Всего, что мощнорукий от недругов хранит!»...

И так испокон веку...

...«Изгнание из Рая» в религиозной среде толкуется однозначно – страхобожьим наказанием за невиданное преступление. Но не к смерти оно было, но к жизни жизненной. Потому само-отверженно «выгнались» они на свободу из вконец надоевшего бездомья, из весьма и сытно-беспечного существования, не знающего творческой самости. Творец, всевидя, как изнывает Адам-Ева без своего Дома, не мог больше оставлять свои чада-творения нелюдями бесплодно несвободными.

И хитро-заботливо подвигает их искать-находить, понимать-исполнять свое Место в мироздании.

«Человек – это существо, которое сознает свое место во Вселенной, и это сознание сохраняется в нем, покуда он жив» (М. Бубер).

Если человек пожизненно ищет-имеет свое Место, то место сугубое его есть-быть должно, и это событие-достояние олицетворяется его самостью-величием Домом.

«Бытие сразу предстает как ценность. Жизнь начинается хорошо, с самого начала она укрыта, защищена и согрета во чреве дома» (Г. Башляр).

И здесь не смогут поколебать истину никакие приятные слуху плацебо философских, религиозных, политико-социальных «дружеских» уговоров-обещаний. Телодуховность человека, дабы не пропасть в омуте одичалости, нуждается во вполне видимо-осязаемом и гипотетично-символическом Доме.

«Условимся раз навсегда, жилище есть основной камень жизни человеческой. Примем аксиому: без жилища человек существовать не может» (М. Булгаков).

Однако еще более аксиоматична пожизненная насущность-потребность в сугубо-именно Своем Доме.

Встать-пойти из Дому, или Осуществление в себе личности

Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре –
что мало любили и мало путешествовали

Марк Твен

В исконной космогонии Дом – исходный пункт, «точка» отсчета, из которой великий «взрыв», дающий импульс-энергетику индивидуально-личностную расширяющейся «вселенной» сознания-чувствования. Во всех мифолого-символических интерпретациях Дом – первая веха, исходный репер распространения мира людей, изначальная локация присутствия и самоопределения человека-рода. Так что закономерно Дом служит «нулевым километром» экзистенциального путешествия по просторам времен-смыслов, исполняется как изменение-движение человеческой самости, как ее реальное и метафизическое пере-мещение.

«Из всех видов движения самым обыкновенным и в собственном смысле движением будет движение в отношении места, которое мы называем перемещением... Если все существующее находится в некотором месте, то ясно, что должно быть и место места, и так далее до бесконечности...» (Аристотель).

Из всех же видов Мест самым «обыкновенным», жизненно живым было-есть-будет Дом, и потому наиболее значимым-впечатляющим навсегда останется путь-перемещение от-к Дому.

Человек, дабы попросту выжить, вынужден оставлять Свой Дом и отправляться на добычу всего витально-необходимого. И это несмотря на то, что выход в «открытый космос» бытия априори чреват всеми возможными опасностями-угрозами. Ведь в отличие от зверя, которому природой дано обитать в-с-ней «как у себя дома», человек не имел столь надежного крова-защиты, что воспитало в нем непрестанное чувство тревожной

чуждости. А с ним и потребность-стремление к приспособлению-выживанию, то есть различать-сравнивать, сопоставлять-выбирать, где жить хорошо-лучше.

Впрочем, это эмоционально-интеллектуальное развитие началось не в мире животных, но на «планете людей». Поскольку вот-бытие есть бытие-присутствие в мире со-в-местном, то есть априори в клубке проблем-интересов, столкновений-конфликтов. Иными словами, человек – существо, повсюду находящееся под непредсказуемой угрозой, вынуждающей на решительные действия, рисковать. «Мы бесконечно рискующие», вынужденные воспринять-выдержать эту «совершенно чистую угрозу мира». Причем, не прячась под искушающую охрану личного бытия, по сути дела, всегда оказывающегося ломким и слабым, но сознательно ввергать себя в «безохранность» (Р. М. Рильке).

Так, на первый взгляд, парадоксальным образом разрешается дуалистическая проблема человека: «преодоление бездомности» и одновременно согласие с ней. Потому как «человек соглашается на свою бездомность и затерянность во Вселенной, дабы испытать насколько он у-местен в этом мире и реализовать возможность узнать, как Бог любит в нем самого себя (*adaequata cognitio aeternae et infinitae essentiae Dei*), есть ли он творческое подобие» (М. Хайдеггер).

В то же время, дабы уйти-ринуться из привычно-знакового в неведомо-чужое требуется весьма могучая решимость. И она экзистенциально свойственна человеку, досталась вместе с генотипом Адама-Евы, рискнувших удовлетворить свой прототворческий интерес-любопытство и одолеть табу-запрет. Отселе, по сути, есть-пошел человеческий род-культура, мысль-творчество...

«Решимость приводит самость со всем тем, что попадетс ей под руку, к соответственно устроенному заботящемуся бытию и толкает его к попечительному вместе-бытию (*Mitsein*) с другими». Высшая ступень бытия, названная «самобытием (*Selbstsein*)», или «решимостью», а точнее, решимостью быть самим собой, не отделяет наличное бытие от своего мира и не замыкает его в свободно парящем Я» (М. Хайдеггер).

Решимость сия, со-в-мещающая намерения-усилия, имеет свою онтологическую природу-объяснение.

«Существование человека, взятого как чистое существование “я”, предполагает существование других людей, мира, Бога. Абсолютное уединение “я” от всякого другого, от всякого “ты” есть самоистребление... “Я” только и существует, поскольку оно себя трансцендирует. Оно перестает существовать, оставаясь в себе безвыходным... к другому человеку, к Божьему миру» (Н. Бердяев).

К этому возглашает убедительный зов противления безвыходности и он же дразнит-поднимает «потребность в общении», «тоску по общению», за которыми стоит-подталкивает также желание-потребность личностного самосознания.

«Когда “я” сознаю себя личностью и хочу осуществить в себе личность, то “я” сознаю невозможность остаться замкнутым в себе и вместе с тем сознаю всю трудность выхода из себя в другое и другого» (Н. Бердяев).

Это уже зов противления замкнутости, ведь, обустроиваясь как «самодержавное», Место-Дом неминуемо отграничивается, отгораживается, заслоняется, отнимается от Природы. Тем не менее искони-исстари человек чувствовал, умел вслушиваться-всматриваться в нее, принимая ее советы-подсказки, предостережения-угрозы, слагая одухотворяющие мифы-хвалы в ее честь. И в ней находил отклик как у достойного собеседника, ибо обнаружил:

В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Ф. Тютчев

«Если бы природа стала менее равнодушной, она не казалась бы нам достаточно обширной. Наши чувства бесконечного нуждаются во всей бесконечности природы, во всем ее равнодушии для того, чтобы свободно двигаться. И часть нашей души всегда предпочтет плакать порой в мире безграничном, чем быть неизменно счастливой в мире ограниченном» (М. Метерлинк).

В итоге «чувство бесконечного» в своем исполнении и подвигает к отказу от тепла-уютности Дома, к духовному бродяжничеству-открытию новых смыслов-возможностей. К своего рода

побегу за новой порослью, высвобождению простора для нее, дабы доморощенные смыслы-идеи размножить смыслами-идеями задоморощенными, еще не обремененными нашим осмыслением-присвоением.

Отсюда и домашний арест есть наказание из ряда ограничений свободы. А она традиционно трактуется в соотношении с необходимостью. Иногда как антагонизмы: либо свобода преодолевает необходимость, либо необходимость порабощает свободу.

«Свобода, не имеющая в себе никакой необходимости, и одна лишь голая необходимость без свободы суть абстрактные и, следовательно, неистинные определения. Свобода существенно конкретна, вечным образом определена в себе и, следовательно, вместе с тем необходима» (Ж. П. Сартр).

Очень важное положение – свобода как необходимость и необходимость свободы. Поэтому распространенное «свобода – осознанная необходимость» вызывает возражение, ибо если принимать необходимость в качестве внешнего доминирующего фактора-условия, то о свободе, которая проявляется в самостоятельности выбора-решения, нечего и говорить.

Так что в феномене Дома синкретизм свободы-необходимости проявляется именно в их синергетическом единении, диалектическом до-полнении, экзистенциальной комплементарности в совместном исполнении живой жизни. Или, конечно же, Творчества как необходимости, требующей свободы-решимости к обходимости-преодоления всего некогда сложившегося в нормы-каноны.

«Лишь тот достоин счастья и свободы – кто каждый день идет за них на бой» (Гёте).

Отсюда необходимость уйти из Дома, дабы Дом не только был-выжил, но и восстал-преобразился. Ее удовлетворение зачастую требует той решительности, которая вырастает в самоотверженность, само-отреченность, легко выдаваемы за с-ума-сбродство, с-ума-шествие. За наивно-комедийное донкихотство...

Тем не менее у души-сердца латентно произрастает-укрепляется необходимость лишать себя спокойствия и разжигаться неудержимой тоской-волей искательства, даже вне убеждения

в его у-местности в существующем Домоустройении. Скорее, наоборот.

«Нужно выманить Санчо из его укрытия, оторвать от жены и детей и вести, тащить к поиску приключений: его нужно сделать человеком. Существует глубокий, самодовлеющий, внутренний покой, и этот покой достижим лишь в том случае, если отделаться от кажущегося покоя домашнего мира и сельской жизни» (М. де Унамуно).

Поэтому, если и найдутся люди-души, которые начнут обвинять Дон Кихота за вырывание Санчо из спокойно-размеренной жизни Дома-семьи его и на привлечение к сомнительной аванюре в бездомье, не лучшие то будут души, «мелочные души, которые в этом случае утверждают, что лучше быть сытой свиньей, чем несчастным человеком... Но лишь тот, кто однажды познал человечность, тот предпочитает ее – будучи сам глубоко несчастным – сытости свиньи. Поэтому его последователям нужно содержать души в беспокойствии, будоража их в глубочайших глубинах... Нужно выманить Санчо из его укрытия, оторвать от жены и детей и вести, тащить к поиску приключений: его нужно сделать человеком. Существует глубокий, самодовлеющий, внутренний покой, и этот покой достижим лишь в том случае, если отделаться от кажущегося покоя домашнего мира...» (М. де Унамуно).

И встает-идет искони человек «себя показать – других посмотреть», ибо сильна «страсть к перемене мест», неугасима потребность-любовь к путешествиям.

И это притом, что путешествие не есть блажь досужая, но служит универсальным способом познания. Безвылазно оставаясь при своих, пусть даже и весьма благосклонных пенатах-домовых – оградить себя от всего богатства жизни. И это жгуче всего чувствуется в молодости, когда пришла естественная пора во весь голос заявить о себе миру.

«А жизнь так сложна и так много в ней неожиданностей, крутых поворотов, что неискушенному юноше тяжело было разобраться во всех разнообразных ее проявлениях и оценить их так, как они того заслуживали. Вот почему так радостно было идти все дальше и дальше, чтобы изведать неведомое, увидеть невиданное» (Якуб Колас).

Так говорит неказисто-обыкновенная «домашняя» философия. Но и философия академическая на свой лад соглашается с

экзистенциальным феноменом манящих просторов и судьбоносных путей, источающих их.

«Мир есть развертывающаяся разверстость широких путей, простых и сущностных решений в судьбе народа и в его историческом свершении» (М. Хайдеггер).

Поскольку нередко человек «забредает» так далеко в своих исканиях, что убеждается: Дом исхода безнадежно устарел и неприемлем для живой жизни. Так и неведомая чужбина способна превратиться в «землю обетованную», «второй дом», ибо, ничего не попишешь, человек ищет, где лучше, и хорошо там, где нас с наличным домоустройством еще нет.

Древние римляне вполне правдиво полагали, что родина там, где человеку хорошо. И это не есть «измена родине» или отказ от патриотизма. Это искреннее желание и себя-родину, «не сходя с места» преобразить до приличествующего вида. Исход начинается, когда остаться в существующем-наличном уже нет никаких возможностей-сил. Так что «самодовлеющий покой», пренебрегающий привычными нормами-догмами устоявшегося Дома породил целое «племя» ринувшихся за его пределы-табу «идальго», добровольных «беженцев». Ибо не самоотречение как таковое подвигло их, но – самопризнание, исполнение неизъяснимой потребности безвозвратно оставить уже-состоявшееся во имя знакомства-утверждения глубинно еще-насущного...

Знаменательно, что уже первенец из естественно рожденных людей, по библейской версии, стал таковым. Словом, с самого начала рода людского. Поскольку сам Каин так никогда и не вернулся в отчий Дом где-то на западе от земли, что стала для него истым Домом, благосветным результатом-исходом решительного исхода-освобождения из темени мук-терзаний. Причем, без воли-претензий отца-матери, самого Творца. И не в силу их безразличия, скорее – по их доброзамыслу, когда его кровные родители помянули, что сами стали человеками после решительного поступка-исхода в поисках своего пожизненного Места-Дома. Многозначительно промолчал и Творец: то ли по зову стыда-совести за несправедливость к первенцу человеческому, то ли по тем же соображениям Творения, что зиждутся на преумножении различия-различания. Словом, никак не воспрепятствовал походу Каина из-под его крова в не-ве-домье.

Единственно, правда, завещая-наказывая не покушаться на путника никоим образом. Вот только кому именно то заповедовалось, не прописано. Видимо, всем потомкам человеческим, злым языкам, способным казнить и бескровно...

Как бы то ни было, стал Каин воистину первым-примерным «невозвращенцем». И будучи «самозаброшенным», предоставленным самому себе, добровольнообязанным в поступании-ответственности. В результате не закончился горемычным скитальцем-изгоем, но исполнился искателем, чаянно нашедшим прекрасно-верных Домопоклонниц, о которых, видимо, тайно знал-помалкивал до поры-времени Творец. Благо от них пошло замечательное потомство, претворяющее Божье напутствие-завет множиться. Мысленно, по памяти, но не в мечтах-грезе, Каин, вероятно, иногда возвращался в «отчий дом»... Дабы еще раз убедиться в правоте своей решительности к освобождению от него...

...Вышел срок и в тех же восточных краях приключилось невероятное. Наследный принц, получивший при рождении имя Сиддхартха Гаутама, сколько себя помнил, ощущал запрет-табу отца на любые знакомства с религиозными учениями, вольной мудростью, а главное, на знание живой жизни, преисполненной переживаний-страданий. Для еще наивного отрока было специально построено три дворца один лучше богаче другого... Но на тридцатом году весьма безбеднозаботной жизни некое внутреннее томление-влечение побудило решительно оставить всех их. Из «райской кущи» своего дома-дворца, где из благ благоухания-достатка было «все включено», прозорливо повлекло-погнало в люди-мир. В сопровождении «оруженосца» он ринулся-отправился в мир живой и там он впервые набрел-наткнулся на судьбоносные «четыре зрелища»: нищего старика, больного человека, разлагающийся труп и отшельника. Так и он «стал» по своей воле-решимости смертным отшельником, восприняв суровую полноту живой жизни, «пробудившись» от летаргического сна-убаюкивания. После этого, как ни уговаривали его вернуться в прекрасные хоромы, он все более удалялся от них, отыскивая пути избавления от страданий.

Этот исход навсегда стал «Великим Отправлением», в итоге-исходе которого он наполнил себя неведомым до того озарени-

ем. И став таким образом Буддой, понес по Домам людским Дхарму (Учение), так как «всегда найдутся те, кто поймет Дхарму». И многие встали и пошли за ним, оставив свои исходные Дома-убеждения и присвоив впоследствии своему наставнику очередное знаменательное имя-статус Татхāгата («так пришедший / ушедший»).

И как ни просили-убеждали его вернуться в царский «благоухающий» Дом-Эдем, он наотрез отказывался и оставался верным своей решительности-выбору.

Прослышав о сути его, оставил престижный царский Дом преклоннолетний Лао-цзы – «Старый Младенец, Мудрый Старец», обретя-имея там весьма высокий статус императорского архивариуса-библиотекаря и жизнь безбедно-уважаемую. Его он, добровольный выходец из крестьянского Дома на далеком юге Китая, достиг заслуженно – в силу ума-воображения своего незаурядного...

На границе с краем Дхармы он написал-оставил у «привратника» Поднебесной по его просьбе текст нетленного «Дао Дэ Цзин», после чего навсегда ушел в неизвестность. Оттуда через века вернулись лишь его сутры.

«Повседневный мир людей ясен и очевиден, один лишь я живу в мире смутном, подобном вечерним сумеркам. Повседневный мир людей расписан до мелочей, один лишь я живу в мире непонятном и загадочном».

«Дао» означает не только путь, но и суть вещей и тотального бытия вселенной. И есть «Бесконечное Существо... Оно живет в одиночестве и не меняется. Оно движет всем, но не волнуется. Мы можем считать его вселенской Матерью. Я не знаю его имени. Я называю его Дао» (Лао-цзы).

Дом рождения Всего... Но всякий род Дом мы призваны-обречены покидать дабы, меняясь, исполниться самим собой.

Поэтому древнекитайский мудрец с прижизненным титулом «Повелитель непостижимого» – подвижник свободы, понимающий, что человек обретает истину путем освобождения от всего ложного-застойного в самом себе, в мистическом переживании внутренних превращений.

«Лучший запор тот, что не имеет замка, и его невозможно взломать... Путь длиной в тысячу ли начинается у тебя под ногами... Чтобы познать мир, необязательно уходить далеко от Дома...».

Ему вторит его современник, весьма преуспевший в поиске достойного Дома, благодаря его также нетленным принципам:

«Достойный человек не идет по следам других людей». «Не важно, с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться» (Конфуций).

В двадцать пять лет за свои бесспорные достоинства Конфуций был отмечен-признан далеко за пределами родного Дома. Посему и был приглашен во Дворец Поднебесной. И на новом месте он весьма преуспел, в том числе и собранием вокруг себя завистников-клеветников. И когда в коварную силу наветов «учитель Кун» потерял доверие первоуправителя, он отправился в путешествие по стране, наставляя правителей-нищих, князей-пахарей, молодых-стариков. Сам же не искал-имел постоянно-го Дома-пристанища.

«Мой долг распространяется на всех людей без различия, ибо я считаю всех, кто населяет землю, членами одной семьи, в которой я должен исполнять священную миссию Наставника» (Конфуций).

Длилась она многие годы в переходе с Места на Место, от порога к порогу. Скитания, полные скорбей, унижений и опасностей для жизни, завершились возвращением в родное царство Лу. Но это был уже совсем иной человек, как, впрочем, и домоприимцы его, что познали-прониклись идеей монолитного Дома-государства.

Видя-зная, каким был-слыл былой Дом Поднебесной и как явно обветшал он, дав опасную трещину, Учитель кропотливо отобрал-свел под один поэтический «кров» «Шицзин» («Книга песен»), призванную приютить-вдохновить научая, как «молодые люди должны дома проявлять почтительность к родителям, ... служить отцу, а вне дома – государю...».

И если говорить об изменениях, то им подобает быть неспешными, осмотрительными, что может истолковываться как благодатное почтение.

«Если при жизни отца следовать его воле, а после его смерти следовать его поступкам и в течение трех лет не изменять порядков, заведенных отцом, то это можно назвать сыновней почтительностью» (Конфуций).

В этом контексте контрастно звучат Евангелические откровения, навеянные многодневным уединением в пустыне:

«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку – домашние его» (Мф. 10:36). И следовавший затем выразительный, хотя и загадочный, символически в духе притчи зазыв «оставить дома свои», «покинуть родителей»...

Нет ли в нем указания на необходимость безвозвратно оставить-покинуть существующее Домостройство, дабы следовать к иному, также Законному. Ибо обращение было к людям-ученикам законопослушным, и требовалось не напугать их беззаконием, чтобы мессия «пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить». Надо понимать ис-полнить Закон, после Моисея и пророков, Закон не надменного избранничества и кар жестоковыйных, но вселюбви и милосердия в общечеловеческом Доме, что «назовется домом молитвы для всех народов» (Ис. 56:7). И апостолы-посланцы понесли эту благую весть по Домам иностранным, призывая верно уразуметь «Иисуса Христа, Который верен Поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его. Ибо Он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его, ибо всякий дом устроится кем-либо; а устроивший все [есть] Бог. И Моисей верен во всем доме Его, как слугитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить; а Христос – как Сын в доме Его; дом же Его – мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца» (Евр. 3:2–6).

Таким же духовным путником-искателем вдалеке от исходного Дома прослыл и Мухаммед, начавший свой Путь еще подростком, в многодневных караванных путешествиях. Из них он вернулся в неге от трепетных чувств, породивших уникальные поэтические аяты-суры. Или задушевный Хадж (буквально – направление, намерение, устремление в определенное место и время). В новость они прозвучали неприемлемую: «Мухаммед колдун, который разлучает человека от своего отца, от брата, от его жены, от его родных».

Оскорбления-нападки только подзадоривали решимость самоотреченца:

«Поистине, первый дом, который установлен для людей, – тот, который в Бекке, – и в руководство для миров! ...А у Ал-

лаха – на людях обязательство хаджа к дому, – для тех, кто в состоянии совершить путь к нему».

Во имя-славу Аллаха «Коран» («чтение вслух») во всеуслышание гласит: «Поистине, Аллах может помочь им, тем, которые изгнаны из своих домов без права, разве только за то, что они говорили: “Господь наш – Аллах”».

Тем не менее Дома насущные не идут в сравнение с дальним пока еще, но грядущим Домом, готовым-ожидающим прибывания-пребывания правоверных:

«О народ мой! Ведь эта ближняя жизнь – только пользование, а ведь будущая – дом пребывания».

И далее тема безвозвратного ухода из Дома былого-исходного прокладывает свою дорогу к сердцам уверовавших.

«Если бы вы были в своих домах, то те, кому предписано убиение, вышли бы к местам своего падения...».

Однако в этом поучении слышится иная, более близкая пророку тема:

«Если бы вы оставались в домах своих, то те, кому уготовано восхождение, вышли бы к местам безвозвратного начала его».

«Если бы нам был дарован возврат, и оказались бы мы верующими!» .

...Нет пророков в Доме-отечестве своем. Нет и быть не может, будь то образно-метафорично или явно-реально. Потому как априори не усидеть им на насиженном Месте, ибо влекут невообразимые дали-тайны. Близорукость им заказана, их удел-судьба дальнорукость.

«*Propheta dicitur hodite, olim vocabatur videns*» – «Те, которых теперь зовут пророками, раньше были дальновидцами» (М. Нострадамус).

«Можно сказать, что существует сознание интеллектуальное, вечно сидящее, вечно распростертое на неподвижном троне и сообщающееся с волей лишь при посредстве неверных и запоздалых посланников; и есть сознание моральное, всегда стоящее на ногах, всегда готовое выступить в дорогу. Правда, это сознание находится в зависимости от первого и, быть может, само есть не что иное, как это первое сознание, уставшее от долгого покоя, научившееся во время этого покоя всему, чему могло научиться, и решившееся наконец подняться, сойти с бездеятельных ступеней, вступить в жизнь» (М. Метерлинк).

Нет пророков в своем Доме-убеждении. Ибо чуждым оборачивается оно для большинства «домочадцев», посему, как можно быстрее изгоняют всяческого последовательного и яркого прозелита («обращенного, нашедшего свое место»). Но изгоняют не слабого, которого пожалеют-запугают, но неколебимо сильного. И не слабаки духом искони решаются переступить за порог-грань привычек-стереотипов вне зависимости от мнения-суждения их оскорбленных адептов.

Однако, в любом случае, гонение пророков – признание-обнаружение неординарности, уникальности существа мыслящего, на чем собственно и есть-исполняется бытие человека. Ибо его мир – это интерсубъективный мир взаимодействия, действенное выказывание своего место-имения, Дома-мнения в со-в-местной полиименной живой жизни. Такова «априорная фундаментальная ситуация человека в универсуме», обусловленная «необходимостью быть в мире, быть в нем за работой, быть в нем среди других и быть в нем смертным» (Ж. П. Сартр).

Поэт, естественно, скажет иначе: о желании-стремлении быть в своем Доме-самости, не открытом настезь во все бытийственные стороны, но и не в глухо-слепых застенках мироотчуждения:

Мне хочется домой, в огромность
Квартиры, наводящей грусть.
Войду, сниму пальто, опомнюсь,
Огнями улиц озарюсь.

Перегородок тонкоробость
Пройду насквозь, пройду, как свет,
Пройду, как образ входит в образ
И как предмет сечет предмет.
Пускай пожизненность задачи,
Врастающей в заветы дней,
Зовется жизнью сидячей, –
И по такой, грущу по ней.

Б. Пастернак

«Странное положение: любимое нами пространство не желает вечно оставаться запертым на ключ. Оно способно разворачиваться. Можно сказать, оно с легкостью переносится в дру-

гое место, в другое время, в различные плоскости воображения и воспоминаний» (Г. Башляр).

Хотя почему оно странное, более бессмысленной была бы его глухая запертость, притом, что у человека есть позыв-потребность вырваться из этого закрепощения и насладиться легкостью вольготного пере-мещения на неутомимых крыльях воспоминаний-грез.

«Легко считать себя мудрым, не трогаясь с места. Но разве человек создан для того, чтобы оставаться неподвижным? Необходимо избрать одно из двух: мудрость может быть либо окруженной почетом супругой наших страстей и чувств, всех наших мыслей и желаний, либо печальной невестой смерти. Пусть существует неподвижная мудрость для гроба, но должна существовать и другая для дома, где над очагом еще вьется дым» (М. Метерлинк).

«Человек – это то, что не может оставаться на месте и что не в силах с него сойти. Совершая выбрасывающее набрасывание, вот-бытие в человеке непрестанно бросает (wirft), ввергает его в возможности и так удерживает его подвергнутым (unterworfen) действительному».

И в силу этого человек не завершен-свершенен, словно все время в пути от Места к Месту. Иными словами, «человек есть переход – переход как фундаментальное существо события», в силу чего он «никогда не наличествует, но всегда отсутствует (abwesend), от-бывая (wegwest) в бывшесть (die Gewesenheit) и будущее» (М. Хайдеггер).

Сей феномен врожденно-архетипичен, почему и нет нужды толковать-объяснять его человеку, что «бессознательное имеет место жительства», «прекрасное, удачное место жительства». «Нормальное бессознательное умеет повсюду расположиться с удобством. Психоанализ приходит на помощь бессознательному в тех случаях, когда оно не находит себе места, ибо его грубо выгнали или хитростью вытеснили из дома». «Однако психоанализ скорее будоражит, чем успокаивает. Психоанализ призывает личность жить вне обиталищ бессознательного, открыться жизненным приключениям, выйти из своей скорлупы. Естественно, такое воздействие благотворно. Ведь внутренняя сущность должна обрести внешнюю судьбу» (Г. Башляр).

Психоанализ (в самом широком смысле) также видит суть болезненного процесса взросления человека в том, что человек неизбежно должен переходить из укрытости мира, оберегаемого родителями, в мир самостоятельности, личной ответственности, то есть должен взять жизнь в свои руки (О. Больнов).

И усердно работая ногами-шагами, шествуя по вариативности бытия, возможностям на основе внутреннего постоянства вольно-невольного перемещения из одной качественно различной ситуации-состояния в иное. И вдоволь обжитый Дом становится ясным пунктом отправления, исходной точкой очевидности с неопределенным горизонтом непознанного, или «здесь-и-сейчас-бытие» (М. Хайдеггер).

«Величие человека не в том, чем он является в данный момент, но в том, что он делает для себя возможным» (Шри Ауробиндо).

«Один стал велик через ожидание возможного, другой – через ожидание вечного, но тот, кто ожидал невозможного, стал самым великим из всех» (С. Кьеркегор).

«Значение и прелесть каждого часа жизни зависит от тех возможностей, какие он влечет за собой» (У. Джеймс).

«На кровлю того, кто никогда не выходит из дома, спускаются лишь радости, никому не желанные. Поэтому мы не назовем мудрым того человека, который в области чувств, например, не идет бесконечно дальше того, что ему разрешает разум, или того, что ему советует ожидать опыт (М. Метерлинк).

В этой открывающейся бесконечности «приказывает» до конца необъяснимая интенция, неизъяснимые причины-обстоятельства.

«Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону».

Это уже понятнее, ибо подкреплено идейно. Остается «хату оставить» и ринуться в неведомую сторону, «чтобы землю в Гренаде крестьянам отдать» и благодетельствовать их идеей «коллективного общежития», общего счастья-справедливости. В то время, как на своей родине самые домовитые крестьяне вышвыривались семьями в «чистое поле».

В чужой Дом со своим уставом... Обыкновенно это заканчивается против ожидаемо-чаянного. Вот и беззаветный большевик по имени Павел Корчагин всецело ощутил себя в глухом углу больничного сада телодуховным инвалидом, оконча-

тельно одиноко-заброшенным, бездомно-сиротским. Так закалилась «сталь», насадившая «железной рукой» «домакоммуны», как издевательство-замашка над традиционным семейно-уютным бытом. Все на виду – досмотр. На слуху – прослушка. Перед властью-богом всяк должен быть «голым», беззастенчивым вроде Адама, за которым всегда можно-следует наблюдать в «дверной глазок» неусыпным «Оком»...

...Впрочем, и эти неизбежные реалии закономерны как обогащение мира новыми смыслами-идеями. Так что...

«Внушим каждому готовность ни перед чем не останавливаться, пока хватит сил; почтим каждого, кому дано залучать вещи в тенета своих неизведанных грез» (Новалис).

Тем более, что Дом постмодерного человека принципиально иной, нежели в картине мира оседлого человека. Этот Нео-Дом развивается духом номадной неприкаянности неокочевников. Притом, что смена местожительства, переселение человека пусть даже в лучшие условия сопряжено с трудной эмоциональной приспособляемостью, усугубляемой чувством чужеродности и несовместимости – синдромом «психологического прибытия». Ему сопутствует неудержимо возрастающая тревога-депрессия с соматической рассеянностью, с пронзительным отзвуком подозрительности, враждебностью, с немотой несхожести и беспомощности, «переселенческой тоски». Приживание-укоренение зачастую так и не получается, а в крайних случаях «развиваются более сильные нарушения, проявляемые в более тяжелом душевном состоянии, ненормальности психики и разрыве с реальностью» (Э. Тоффлер). Известны случаи отчаянного «недообжитого» суицида. Ведь пережитое «оголение» корней означает не просто голод, но долгую и мучительную кончину – голо-Дом-мор.

Собственно поэтому Дом навсегда остается феноменом, означающим персонализацию человека-в-мире как уникальность одновременной экстра-интро, уходно-приходных интенций вне зависимости от итога-исхода судьбного предприятия.

Дом одинокий, на краю села –
как во вселенной у ее конца.
Дорога постояла у сельца
и снова в ночь тихонько побрела.

Сельцо всего лишь робкий переход,
меж двух пространств оно чего-то ждет, —
не тропка, а дорога вдоль окон.
И кто из дому странствовать уйдет,
в пути, быть может, смерти обречен.

Р. М. Рильке

Посему и переливаются образным многоцветьем в нашей памяти-мечте силы домобежные и силы домостремительные. И, естественно, наоборот, когда уход исполняется возвращением, исходно зиждемся на уходе, когда Дом восстает во всей своей амбивалентной ипостаси «у-бежища-при-бежища».

В думах о Матери-Доме, или Прилет к ненаглядной певунье своей

«Моя Мать», – говорю я.
И думаю о тебе, мой Дом!
Дом прекрасных, смутных дней детства
О. Милош

...Претерпев все козни и искушения, античный «блудный сын» возвращается все же к родному порогу, в Свой Дом – к ней, к Пенелопе. «Просто» она умела ждать...

Как умели ждать неисчислимы матери-жены своих сыновей-мужей Домой из дальних ратных походов. И к их задушевному плачу-молитве сочувственно прислушивалась сама Природа.

...Чтоб забыла слезы я отныне,
Чтобы жив вернулся он ко мне!

.....
И взыграло море. Сквозь туман
Вихрь промчался к северу родному –
Сам Господь из половецких стран
Князю путь указывает к дому.

«Слово о полку Игореве. Плач Ярославны»

И это ее воля-призвание, ведь она с молоком матери впитала образ единственно верно-спасительного Пути от Дома-к-Дому. И неподвзятая сказка-миф знакомит нас с различными вариациями подобного феномена. Здесь и Алиса, которая, сама не зная как, непременно выходила к Дому. Здесь же и Красная Шапочка, несмотря на всяческие «хищнические» козни, находила-держалась Пути от Матери к Бабушке. Можно сказать, по «женской линии», глубинной Домополагающей интуиции. Ее не может обмануть даже откровенный вероломный обман. Пусть «волк» ринется в Дом бабушки, первый в деревне, по «самой короткой» дороге. Девчушка не спеша идет-гуляет,

цветы собирая, песенки напевая. Будто подспудно знала, чтобы ни случилось, придут на выручку мужчины добытчики-спасители. И останутся разновозрастные близкородственные «дамы» Дома целые и невредимые...

Мальчику-с-пальчику же пришлось проявить более смекалки и изобретательности, дабы и дорогу к Дому отыскать, да и вообще спасти его с помощью блестящих камушков – «пунктиров» возвратного пути. Впрочем, таково врожденное предназначение добытчиков-воинов, за что их искони и воспевали хвалебно.

...Песня-дорога – метафора онтологически весьма древняя, хотя не озвучиваемая в достатке. Нам песня строить-жить помогает, следовательно, обязательно способствует пути к Дому даже из самых непредсказуемых и многогибельных странствий. О них, а главное, в них песня, кажется, сама находит умы-уста. И слова невольно ложились на ритм шеренгового шага и подхватывались всеми.

...Подем, вдоль берега крутого,
Мимо хат
В серой шинели рядового
Шел солдат.
Шел солдат, преград не зная...
.....
Песню с друзьями фронтовыми
Пел солдат.
.....
Про кари очи,
Про дом свой отчий
Пел в пути солдат.

М. Матусовский

Пел, вторя-преумножая неведомую традицию-потребность архаических мужей, облегчая-вдохновляя свой путь к сакральной цели.

...Дабы скоротить-облегчить путь к вожделенному Месту-Дому архаичные путепроходцы невольно изобрели ритмично-поэтическое звукослоговое сложение.

«Главная польза от стихотворной формы была в том, что слова, связанные стихотворным размером, лучше запоминались и усваивались. А тогдашним людям нужна была хорошая

память. Ведь вещания говорили о многом: и о приметах места, об удобном времени для предприятий, о святилищах заморских богов, и о неведомых могилах героев, которые трудно найти вдалеке от Эллады» (Плутарх).

«Иду, шажок за шажком. За малый шажок времени сквозь малый шажок пространства... И это – неотменимая модальность слышимого... Смотри, вырисовывается ритм. Полный четырехстопник, шаги ямбов» (Д. Джойс).

Так в желании выразить радость-благодать возвратного пути, отрепетировать повествование о своих похождениях-исканиях в неведомочуждом далеке и так выказать себя героями-добытчиками, беззаветными поклонниками-обожателями великих Жен-Матерей рождались поэты, становилась поэтика.

«Прекрасен такой динамичный объект, как тропинка! Как точно запечатлены в сознании мускулов знакомые тропинки среди холмов! Вся эта динамика отражена Жаном Кобером в одной строчке: О ритм дорог моих!» (Г. Башляр).

И не только мускулы, но и душа поет-наслаждается соучастием в пути-похождении уже только потому, что «рифма» – от «ритма» ходьбы, переложенного на язык слов, на темп дыхания.левой – правой, левой – правой... Вдох-выдох...

...Лунг гом. Так в тибетских тантрических школах называется техника подготовки скороходов, способных передвигаться без отдыха несколько дней. По специальной магической формуле будущих путепроходцев учат управлять ритмом своего дыхания и шагов. В завершение подготовки и итогового испытания адепт получает от своего наставника лунг, знак посвящения, необходимый для любого духовного действия – от изучения алфавита или прочтения какой-либо религиозной книги до медитации и произнесения всевозможных мантр.

Это делалось без напряжения, легко-певуче «вместо волевого вмешательства, которое необходимо для того, чтобы опять и опять настраиваться на истинный ритм, идущий чувствует внутри себя нечто *живое*, похожее на маленькую приглушенную вибрацию где-то внутри своего существа. Стоит ему ненадолго погрузиться в себя, как вновь обретает вибрацию молчания – в любое время, в течение секунды и это открывает, что она – там, всегда там – синеватая глубина где-то внутри его существа...» (Б. А. Сатпрем).

«Все космическое несет в себе печать периодичности. В нем есть такт» (О. Шпенглер).

...Более сложные рифмические построения – отражение особой ритмической конфигурации, ходьбы-дыхания, когда приходится и семенить, и прыгать на одной, двух ногах, а то и сбивать шаг, падать-вставать. Отсюда поиск неожиданной рифмы и метра – признак особого продвижения вперед – превращение, из-вращение, но только не воз-вращение.

В этом испокон веку и состязаются пииты, словно на Олимпийских играх, куда поначалу они были допущены наравне с бегунами, но по времени были отстранены, ибо воочию доказали, что им-то равных нет. И эту традицию-убежденность каждый истый пиит пролонгирует во временах, благодаря личному Лунг гому души, обязывающему искать не путь к недостигаемой истине, но путь к сугубо своему Дому. Словно при подъеме по лестнице, которая есть ярчайший, пожалуй, выразитель одинаковости-повтора ступеней. Первая и последняя ступень восхождения-нисхождения – что может более разниться в нашем воображении-переживании. Но и каждая из «рядовых» ступеней неповторима, ибо делает глубь-высь еще глубже-дальше и выше-ближе. И каждое такое переживание не повторяется никогда, ибо и есть «установление отличия в сходном». Точно так, как мы улавливаем-различаем звуки речи-артикуляции, и пытаемся их запечатлеть в графических нотах-знаках.

«Крупнейший из ныне здравствующих специалистов по фонетике (имя его из нас не вытянут и клещами!) употребил гигантские усилия на то, чтобы проделать сравнительный анализ читаемых стихов, причем обнаружил разительное их сходство с рунами древних кельтских бардов» (Д. Джойс).

Письменность – это для себя-путников, дабы при немощи памяти своей по особым значкам-отметкам держать верное возвратное путь-направление. Священными искони становились те значки благодаря их спасительной значимости в перво-витальной проблеме – уйти из Дому, куда-зачем надо, но, главное, вернуться Домой, пусть даже на этот раз и без добычи. И о перипетиях этого благого ухода-прихода насколько хватало красноречия поведать предстательницам Дома-Очага. О героическом безумстве, магической находчивости и жажде

возвращения слагали-пели им-ими песни-гимны. А они все эти откровения обобщали в сказки-сказания и ими воспитывали все впитывающих детенышей, убеждая-увещевая их, что всякий путь-дорога для возвращения Домой, каковой бы она ни казалась замысловатой, извилисто-кружной.

Прямой ли, кружной
Дорогой честной,
Дорогой трудной
Дойдем до места.

А. Твардовский

В античности об этом же вещал портрет-изваяние двуликого Януса, которое традиционно вершило городские врата-межи. Мужской лик его экстравертивно «облюбовывал»-вглядывался в даль внешнюю – за добычей всяческой. Женский же, интровертивно – в глубь внутреннюю – к домашнему очагу, любовно ожидающему воинов-добытчиков.

Благая-правдивая Двуличность, пережившая времена-эпохи. Искони пока Она соблюдает мир-порядок в Доме, Он добывает все необходимое для него. Всяческие Его треволнения, потрясения вне Дома, компенсируются уже только забрезжившим воспоминанием-мечтой о возвращении к Ней.

Ерунда! Ты под вечер вернешься в свой дом,
и жена разожжет ваш очаг,
И подаст тебе ужин, и ты забудешь про все,
что было не так.

Т. Гарди

Любовь-обожание к своим Женам-Матронам, вдохновительницам, «Маргаритам» (от санскрит. Марго – путь) несли в сердце своем, да и рядом с ним, маленьких «походных» женских анимированных фигурок. Видимо, с первыми археоберегами – прототипами всех последующих талисманов («посвящение, чары»), амулетов (от араб. – носить), что бережно носили они спасительными чарами милый уже не дикому сердцу образ наставительниц на путь единственно верный. Интересно, как хранил-носил их образ Франциск Скорина – сын-муж Маргарит?...

«Никогда не отправляйтесь в путешествие с теми, кого не любите» (Э. Хемингуэй).

И приносили искатели-добытчики к «ногам» своих любимых неповторимые впечатления-знания. А они воочию воплощались в уникальные изображения на «стенах» пещер-жилищ, делая их сокровищницами творческой рукотворности. А также знаменем присвоения, «одомашнения» знаковых событий-происшествий, людей-животных. Так Дом закреплялся эпицентром мироздания и колыбелью живописи-ваяния, а на пути к нему зарождалась поэзия-ритмика, до сих пор захватывающая своей магией.

«Механизм воздействия рифмы можно разложить на следующие процессы. Во-первых, рифма – повтор. Как уже неоднократно отмечалось в науке, рифма возвращает читателя к предшествующему тексту. Причем надо подчеркнуть, что подобное “возвращение” оживляет в сознании не только созвучие, но и значение первого из рифмующихся слов» (Ю. Лотман).

Однако все-таки имеется более существенный принцип поэтической рифмы как возвращения: в нем утверждается не только повтор и тождество, но и различие.

«При этом оказывается, что уже раз воспринятые по общим законам языковых значений ряды словесных сигналов и отдельные слова (в данном случае – рифмы) при втором (не линейно-речевом, а структурно-художественном восприятии) получают новый смысл» (Ю. Лотман).

Так что повтор в поэзии актуализирует отнюдь не тождество, одинаковость, но различие, множественность.

«Одинаковые (то есть “повторяющиеся”) элементы функционально не одинаковы, если занимают различные в структурном отношении позиции. Более того: поскольку именно одинаковые элементы обнажают структурное различие частей поэтического текста, делают его более явным, постольку бесспорно, что увеличение повторов приводит к увеличению семантического разнообразия, а не однообразия текста. Чем больше сходства, тем больше и разница» (Ю. Лотман).

Той же феноменальностью отличается и ритм.

«Ритмичность стиха – цикличное повторение разных элементов в одинаковых позициях, с тем чтобы приравнять нерав-

ное и раскрыть сходство в различном, или повторение одинакового, с тем, чтобы раскрыть мнимый характер этой одинаковости, установить отличие в сходном» (Ю. Лотман).

В результате универсальной структурной основой поэтического произведения называется «принцип возвращения» (Ю. Лотман). И это вполне обнаруживается не только в отдельном творении, но в трансэпохальном контексте, если историческое исполнение человеческой культуры рассматривать неписанным текстом.

В нем и искони находятся-сохраняются неформально схожие по сути сюжеты возвращения в Дом Матери-Жены-Невесты.

Наиболее ярко они выражены опять-таки в экстремальных ситуациях, когда, отвратив лютого врага от Дома своего, Сын-Муж-Жених гонит добивать-заканчивать его в его же «норе-логове». И неимоверно страдает от того, «что давно не видел маму» в тревоге за ее переживания-ожидания, известное только Ей долготерпение.

... Четыре года мать без сына,
Бери шинель, пошли домой.

Скворцы пропавшие вернулись,
Бери шинель, пошли домой.

Опять весна на белом свете,
Бери шинель, пошли домой.

Б. Окуджава

... Солдат, – дойти до дома.
Хоть кружным, может быть, путем –
Дойдем, придем с победой
Домой!
А что уже тот дом –
Не все ты знал и ведал.

А. Твардовский

С трепетом ожидая, не увидит ли Он руины-пепелище, «травой поросший бугорок»...

Но и в жизни повседневно-мирной терзания духа изводят чувством вины-долга Матери после испытания на чужбине «слишком ранней утраты усталости». После горького осознания:

Что имел – потерял, что нашел – не сберег.
Был я смел и удачлив, но счастья не знал.

И – труднейший, но единственный вывод-решение:

Зачеркнуть бы всю жизнь да снова начать.
Прилететь к ненаглядной певунье своей,
Но вот только узнает ли
Родина-мать
Одного из пропавших своих сыновей...

С. Есенин

Родина-мать неизменно воссоединяется с образом родной Матери – одной-единственной «помощью и отрадой», «несказанным светом».

Прежде всего, от себянещадного вопрошания: «Ты жива еще, моя старушка?». И неустанного пожелания: «Пусть струится над твоей избушкой/ Тот вечерний несказанный свет».

И выстраданное увещевание:

«К старому возврата больше нет».

Остается возвращение к новому, по-детски чистому-правдивому.

Вот только невосполнимая трагедия-утрата – «на крылечке не сидит уж мать».

О чем мне кричать?

Мать! Мать!

.....

Мать –

Можем ли мы иногда, хоть прямо сейчас быть вместе?

Т. С. Элиот

Нет Дома без образа-духа. Посему и евангелическая заповедь: «Почитай отца и мать...» (Мф. 19:19).

Как вековечный долг, как всебожественная заповедь-наказ.

«Из пороков самый большой – распутство, из добродетелей самая высокая – сыновний долг» (Японская пословица).

«Пока родители живы, не уезжай далеко, а если уехал, обязательно живи в определенном месте» (Конфуций).

...Знаменательное обрядово-магическое действо и поныне есть-почитается в землях белорусских. Прежде чем сесть за стол свадьбы-веселья, молодожены объезжают окрест Дома своего и навещают «тотемные» места, отдавая незапамятную дань почитания родовым-пращуровым реликвиям. И тем словно «нарезают круги» возвратного путешествия к их эпицентру – Дому.

Отсюда этнический колорит-своеобразие сказок проявляется в изображении привычной-типичной для белоруса обстановки. Их действия неспешно происходят при знакомо-близких боло-тах, лесной пуще и, конечно же, в деревянной хатке или даже под печью, в гостях у свояков, на свадебном или крестинном торжестве.

Для коренного литвина-белоруса, искони принципиально оседлого, встать-пойти за пределы своего Дома – переживание для его мировосприятия запредельно-решительное.

Дорога

От скамьи до порога –

Событие...

Максим Танк

Событие в высшей степени трепетное, требующее нелегких рассуждений – стоит ли вообще пускаться в путь-дорогу?

І вось пад восень прад сяўбою,
Парадзіўшыся між сабою,
Міхал з Антосем воз прыбралі,
Каня запрэглi, пастаялі
У нейкім смутным разважанні,
Ў настроі новым, хваляванні:
Дарога, даль і лёс нязнаны
Глядзяць няветла скрозь туманы...

Якуб Колас

Событие, которое он не подвигает и не приветствует, ибо не готов к нему в силу своей вековечной привязанности к родо-

вому началу. Из глубины веков тянется его род-дорога, и он все время озирается назад – а как бы поступили предки, не изменю ли я им? Их неслышный зов отнюдь не кличет в поход, на чужбину, за не *своим*.

Кто ищет чужого – свое растеряет.
Я хату не кину, пока еще волен,
И к вам не пойду, – может, только с конвоем;
Силком оторвут от порога родного.

Ф. Богушевич

И не подумает он идти-искать кому живется весело, вольготно в Беларуси. Он и сам не знает, не гадает и детей не увлекает тридевятью царствами. Персонажи белорусских сказок обыкновенно предстают на пороге, можно сказать, своего Дома, впитавшего навыки и опыт поколений: «Жыў сабе дзед з бабай...».

А он заставляет прибегать к «путевым» заговорам, рожденным народным воображением.

Еду я ў дарогу,
Гасподзь Бог са мною.
Маці Боская перад вачамі,
Ісус Хрыстос за плячамі,
З бакоў анёлы мяне ахраняюць,
Усю бяду ад мяне адганяюць.

Неподдельный покой-дабрабыт даруется лишь в Доме-семье в кругу домочадцев. «Вся семья вместе, так и душа на месте». Поэтому «оставить» (в белорусском языке «пакінуць») имеет более трагический оттенок невозвратимости, безысходности.

«Ищи добра на стороне, а дом люби по старине».

Исконный белорус готов и вовсе никуда не брести-ехать, а справиться со своими тяготами-тугами, править свою долю Дома, от которой не убежишь. В противном случае мистическая опасность нагонит-поглотит.

«Еду ціха – са мной ліха, еду скоро – са мною гора».

«Куды пойдзеш – неба высокае, а зямля шчыльная».

Так что экзистенциально-житейский путь-дорога с двухсторонним, естественно, движением обретал главенствующее, вожделенное направление – «до Дома, до Хаты».

Белорус отправляется даже в гости, кажется, только для того, чтобы вернуться, прочувствовать радость возвращения во свояси. «Поедим, попьем, да и домой пойдем», ведь в гостях только хорошо, и то ненадолго, а Дома лучше и всегда.

Здесь появляется временная тутошность, сконцентрированная на сегодняшней повседневности, которая благодаря возможности своего упорядочения и предвидения предпочтительнее для человека, надеющегося, прежде всего, на свои силы-способности.

«Знаем, калі выбіраемся з дому, а калі назад – бог ведае».

И такое неведение не может не настораживать. Ведь самое страшное – дорога безвозвратная. Неспроста она ассоциируется со смертью и окончательным уходом. Ее мотив звучит во время традиционного похоронного голошения-плача.

«У якую ты дарожаньку адпраўляешся?».

И ответ соответствующий:

«У дарожаньку невазвращімую».

Поэтому в крестьянстве исстари бытовало убеждение, что человек должен встретить смерть в родном Доме, в надежном кругу детей-внуков, родных-близких.

Эти трепетные, вполне магические верования не знают преград ни перед статусом, ни перед богатством-достатком домо-чадца. Ибо он за ценой не постоит...

Как в логово зверь, я вернулся бы снова.
Пусть сгнило бы все, одичали б покосы, –
Ползком воротился б, хоть голый да босый...

Ф. Богушевич

«Любой ценой» – без всяких сомнений-выбора: «у гасцях добра, а дома лепей».

Каковы бы ни были посулы-обещания и даже реальные блага вдали от Дома, истинно своей остается старина-традиция. Поэтому «наследование жизни вечной» – в «спадчыне» белоруса, что унаследована «ад прадзедаў спакон вякоў». И прежде всего Земля, несущая-взрастившая и Дом, и судьбу всего рода.

Он пашню глазами обводит –
Вся жизнь его в этом наделе.

Янка Купала

И это есть то имение, которое не отпустит в завистливый блуд-исход сына Земли сей.

Так что понятно, какой путь-дорожка была душе ближе всего.
«Мілая тая дарожка, кудую я да мамы хадзіла».

В свою очередь Мама ждет возвращения своих деток, которые остаются таковыми до конца дней ее.

Шесть моих сыночков, – иль этого мало?

Все, все разбрелися...

Ну, да – рано ль, поздно ль – все же, мне сдается,

Каждый затоскует и домой вернется.

Ф. Богушевич

Ибо все шестеро исполнялись одним благодатным синдромом – пращуровой матриархальностью. Беззаветными матриотами они были для своей боготворимой Землицы-Матушки.

...«Одиссей» одолел Сциллу-Харибду Времен, неповторимо явив-вернув себя в современном мифопоэсе «Улисс» Д. Джойса, где Блум провозглашает начало новой эры.

«Возлюбленные мои подданные, над вами занимается заря новой эры. Я, Блум, истинно говорю вам, она уже при дверях. Даю вам в том слово Блума, скоро увидите все во град грядущий златой, в новый Блумусалим в Новой Губернии будущего».

При этом Блум и не скрывал, что он хочет стать Невестой, Матерью, то есть верит в благой исход реабилитации женского начала, ядра-квинтэссенции Дома: «Ах, как я мечтаю стать матерью». Именно такие инверсии воображения-чаяния доказывают важность особого пути Домой.

«Кружный путь домой самый короткий» (Д. Джойс).

О будущем «Верграде» нам пророчит и Даниил Андреев, полагающий, что он будет погружен нахлынувшими «волнами женственности».

Иными словами, речь идет о Воссоединении Духа и Материи, что определяет «планетарное сознание», основанное на вере в Человека микрокосма вселенной, в котором содержатся дух и материя, приводящих к «Божественному браку».

«И Дух и невеста говорят: “Прииди!”» (Откр. 22:17).

Прииди величайшее созидательное реначало всепланетного завтра. Не канун-пророчество ли это Второго пришествия-возвращения?..

Невеста, что неминуемо приведет молодоженов к своему Дому. Не в этом ли неповторимом Возвращении и есть суть Второго Пришествия?..

Воистину вечная тема о вечном возвращении. Можно сказать, из Дома в Дом. К этому ненавязчиво подвигает материнское Ма, великий учитель. Или Ма-хат-Ма притом, «хата» на санскрите – наша хата, землянка, первый внепещерный Дом-жилище...

...Так что не в Отчий Дом, скорее в Дом Матери настоящей-будущей, как в чисто-светлое детство жаждет вернуться Великий человек. Дабы заново возродить исходный порядок бытия человека-в-мире он ищет Неведомую Невесту.

Путь к Неведомой Невесте
Наш единый верный путь

Н. Гумилев

Отвергнув нравственные устои, обязательства-ответственность, попусту растратив себя «в дальней стороне заблуждений и страстей», человековечество выстрададо пытается-проискивает выход из дальней патриархально-отцовской чужбины под матриархально-женский кров-заботу. Причем, по «женской линии», которая превращается в *мировую линию*, соединяющую сингулярности, которая есть та граница между хаосом и космосом, которая образует форму экзистенции и является местом со-бытия (В. Подорога).

Так в нас событийствует, исполняясь, чувство Дома, которое, судя по всему, археврожденно.

«Это инстинкт, заставляющий вернуться, найти место, которое мы помним. Это способность находить свой дом днем или темной ночью. Все мы умеем возвращаться домой. Сколько бы времени ни прошло, мы найдем дорогу назад. Мы проберемся сквозь ночь, по незнакомым местам, через чужие селения – без карты, не спрашивая дорогу у встречных» (К. П. Эстес).

И чувство это особенно проникновенно у Женщины-Домо-устроительницы.

«На протяжении веков женщины изобрели несметное множество способов отвести для себя такое место, беречь и обустроить его, даже если их заботы и обязанности нескончаемы» (К. П. Эстес).

Маскулинная натура свое подспудное приятие этого естественного волшебства искони закрепляла в своем заветном законе творчестве.

«Когда ты выйдешь на войну против врага и кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не взял ее» (Втор. 20:7).

...Остается вспомнить, что «дом» на санскрите – *дана*, приходить – *гаам*. А вожденное, «чувственное влечение», «любовь» к обожаемой Матери-невесте, искомому МА – КаМА. Под этим же именем-статусом в ведийских текстах почитается бог любви.

...Встану, пойду к Женщине-Матери своей. К Дому своему, вожденно приклоняясь под его «небесной» притолокой к «земному» порогу.

Место встречи с самособой, которое изменить нельзя, или Многоликое одиночество

О, не знай сомненья,
Дух уединенья!

А. Рембо

Демииургический феномен Дома выказывается его преобразованием физического укрытия-убежища в укромно-уютное, в духовно-интимное и потому сакральное Место – обитель уединения. То есть исходно в колыбель-родину поэтических образов-экспрессий, что закономерно вызывает, воспламеняет к ней благодарное сыновнее воспевание.

«О уединение! Ты отчизна моя, уединение! С какой блаженной нежностью вещает мне голос твой! Мы не спрашиваем друг друга, мы не жалуемся друг другу: мы проходим вместе в открытые двери!» (Ф. Ницше).

Двери Дома-воображения, распахивающиеся в сферу метафизического, чувственного, символического, значит всего доступного из сущего для человека и всего сущего из доступного.

«Здесь раскрываются передо мной слова о бытии, словно ларцы, раскрываются передо мной слова обо всем сущем: все сущее хочет стать словом, всякое становление хочет научиться у меня говорить!» (Ф. Ницше).

«И мнится, в том уединенье сокрылся некто неземной» (А. Пушкин).

Посему уединение весьма достойно своеобразной фетишизации и титула сверхъестественной силы, возносящейся над «миром сем». Хотя, на первый взгляд, уединение принимается как средство для повседневного психологического отдыха, освобождения от всяческого влияния извне.

«Я не понимаю отдыха иначе, как в уединении. Быть с другими для меня значит уже чем-нибудь заниматься, или работать, или наслаждаться. Я чувствую себя совершенно на про-

сторы только тогда, когда я один. Как это назвать? Отчего это?» (Н. Чернышевский).

Уединение – Место встречи-приобщения самости к мистическому акту самопознания, которое изменить-подменить реально нельзя. В этом залог обнаружения в себе сверхсущества, принципиально превосходящего себя же как одиночку-единицу.

«Наедине с самим собой перестаешь быть один – становится на одного больше... Все один на один – это в конце концов образует двоих!» (Ф. Ницше).

Очевидно, прежде всего, в этом смысле следует понимать нашу обреченную недостижимость полного уединения, которая стараниями трансценденталистов звучала весьма упоительно.

«Мы никогда не бываем одиноки» (Г. Д. Торо).

Меж тем именно обо-собленность – гарант сохранения особы, блаженство быть «удвоенным» самим собой, осамление, забота о самости, болезненно чуткой, когда к ней «лезут в душу, особенно, когда в нее плюют» (В. Высоцкий).

Уединение – насущный отказ-спасение от навязчивого единения-общности-обобщения всего-вся, что мало кому нравится-любитя.

«Возлюби ближнего своего» – это значит: «Оставь ближнего своего в покое!» – «Но как раз эта часть добродетели дается труднее всего» (Ф. Ницше).

«Незванный гость» всегда издевательство, поражение в правах хозяина Дома быть-упиваться в вольготном уединении. Причем, при всей априорной эмпатии-уважении к нему.

«Тот, кто ко мне придет, окажет мне честь, кто не придет, доставит мне удовольствие» (Вовенарг).

Удовольствие зачастую немалое, поскольку оно питается антипридурочным витамином.

«Умные не столько ищут одиночества, сколько избегают создаваемой дураками суеты» (А. Шопенгауэр).

Спасаются от мутного тока с-ума-тохи, от «изжоги» после случайно-никчемного сношения.

Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.

Омар Хайям

Всякое влияние-вторжение извне служит от-решенности, или перечит собственному принятию решения, что неминуемо связано с несвободой. И уже это обстоятельство подспудно подвигает отстраненность-защиту от «агрессивно-вражеского» окружения.

Хотя и неприятна и нарочитая «футляризация», источающая не то надменный снобизм, не то примитивную трусость, не то странное психическое отклонение. В любом случае она не благородно уединяет, но ущербно изолирует.

...Беликов, учитель греческого языка, всецело зачехленный... «Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний»...«И дома та же история... – ах, как бы чего не вышло!». Окончательное кладбищенское расставание с таким «особняком» вызывает вполне объяснимую реакцию в виде «чувства, похожего на то, какое мы испытывали давно-давно, еще в детстве, когда старшие уезжали из дому и мы бегали по саду час-другой, наслаждаясь полною свободой» (А. Чехов «Человек в футляре»).

Так что вовсе неслучайно уединение всячески воспето пиитами, для которых неожиданный приход-приступ постороннего только претит общению с музами, ожиданию трепетного Пегаса на берегу мифической Иппокрены-вдохновения.

Творческий дух уединения, весьма пленяющий поэтику, не мог остаться не замеченным и философией экзистенциализма, ищущей «оправдание» Я-Человеку.

«Смысл уединения не в том, что человек упорствует в своем тщедушном и маленьком Я, раздувающимся в замахе на ту или иную мнимость, которую считает миром. Такое уединение есть, наоборот, то одиночество, в котором каждый человек только и достигает близости к существу всех вещей, к миру» (М. Хайдеггер).

Философия, как бы она порой ни кичилась своей отстраненностью от нужд повседневного бытия, имеет потребность, особенно в переломные моменты, в актуализации своего дискурса и привязки ко дню насущному, живой жизни.

«...потребность – не слепая и растерянная, но пробуждающаяся в нас и побуждающая именно к таким вопросам в их

единстве, какие мы только что ставили: что такое мир, конечность, уединение?» (М. Хайдеггер).

Вопрошание, понятно, не праздное, но проискивающее выход из состояния, объятаго недоумением, буквально доводящего до умопомрачения.

«Перестаешь понимать людей, когда живешь среди них: слишком много в них напускного, внешнего, – к чему тут дальнорюкие, страстно-проницательные глаза!.. Лучше жить в горах. Блаженной грудью вдыхаю я снова свободу гор!» (Ф. Ницше).

Столь не естественная для существа искони общительного ситуация, когда реальность принимается за страшный сон, от которого хочется поскорее избавиться, вырваться из него, как из мрачных застенков. Этот не удовлетворяемый порыв отзывается ощущением «духовного напряжения» от незнания, как живут «чувства, которые на время стали чужими».

«Легко было бы внушить нам, что ничего не случилось. И все же мы изменились, как изменился дом, в который вошел гость. Мы не можем сказать, кто пришел, мы, может быть, никогда этого не узнаем; но многие знаки говорят о том, что именно так вступает в нас будущее, чтобы стать нами еще задолго до того, как оно обретет жизнь. И поэтому так важно быть одиноким и внимательным, когда ты печален...» (Р. М. Рильке).

Печаль-тоска исходит еще и от невозможности задушевного общения, утраты дружбы Домами, дабы объединить одиночества у крыльца взаимопомощи-сострадания.

«Самый поразительный пример настоящего общения, преодолевающего одиночество, есть общение человеческого “я” с собаками, которые являются настоящими друзьями, часто лучшими, чем другие люди. В этой точке совершается примирение человека с отчужденной, объективированной природой, в природе человек встречает не объект, а субъекта, друга. Отношение человека к собакам имеет метафизическое значение, ибо здесь происходит прорыв через объекты к подлинному существованию» (Н. Бердяев).

Видимо, поэтому первыми из Дома-Земли направили на разведку к «некто неземным» именно собак безродно-одиноких дворняг, но искони одомашненных...

И как знать, не свидетельствует ли отказ от явных контактов, невмешательство иномиров в наш Дом-бытие со своим «уставом». Пусть, дескать, наслаждаются-огорчаются своим мнимым одиночеством в кажущемся уединенным Доме Вселенском. Поскольку само по себе общение с человеком отнюдь не всегда ублажающе желанно. Посему и обрекаем мы сами себя на экзистенциальное одиночество.

При этом остается проблема:

«Что такое это одиночество, в котором человек всегда будет оказываться словно единственным?» (М. Хайдеггер).

Вот только какова онтология, где тот изначальный узелок-нить того разношерстного полотна-картины перипетий культурогенеза, где амбивалентно или, попросту говоря, одновременно уживаются, казалось бы, напрочь неуживчивые эмоции-переживания: горечь-наслаждение, тоска-радость, отчаяние-торжество?..

Здесь можно обратиться к приснопамятной библейской мифологеме о познании «добра-зла», о преображении человеческих существ, умеющих к началу своего исхода в смертные люди разве что различать-именовать вещи-предметы, в философствующее Человековечество, живущее непрерывным выбором. Однако вполне объясним этот феномен и реальностью генезиса ЧеловекоДома. Живя несметное количество поколений в родоплеменном табуированном быте первых постоянных укрытий-жилищ, человек, в конце концов, накопил архетипический «осадок коллективного бессознательного», а в нем образовался особый пласт, пропитанный трепетным чувством незащищенности, особенно когда приходилось покидать надежные камнесводы Дома-хранилища и оставаться один на один с заведомо устрашающей непредсказуемостью. Как тут не заискриться в дикой душе переживанию своей особенности-единственности, становления личности, ибо «через момент одиночества рождается личность, самосознание личности» (Н. Бердяев).

Затем и город-огород внес свою лепту в углубление чувства одиночества, закрыв-закрепостив максимально неприступными стенами-огородами простор Природы, расположенной к общению своим первозданным здоровьем-чистотой, бескорыстной самоотдачей... Как при этом не ощутить-испытать несвободу?..

Так «пленная» особость обнаруживает в себе-из-себя непонимание, сомнение, непринятие неких устоев-уложений совместного бытия, кои также кажутся заблуждением. Некая духовная мутация не позволяет ждать, когда «Акела промахнется», тем более в ущерб остальным, и заставляет думать-действовать в одиночку, все глубже всматриваясь в себя-особость. Этому еще более потакает непонимание-недоверие, перерастающие в подозрение-отстраненность.

«В ледяной атмосфере одиночества человек со всей неизбежностью превращается в вопрос для самого себя, а так как вопрос этот безжалостно обнажает и вовлекает в игру самое его сокровенное, то человек приобретает и опыт самопознания». Именно в те доисторические времена «нашлись среди людей самые что ни на есть одиночки, чья мысль дала наиболее зрелые плоды» (М. Бубер).

«Бесплодные» же искони сходятся-группируются «по интересу» и сообща осаждают надменно-бунтующего одиночку, не всегда справляющегося с таковым натиском-поглощением.

«Чтобы избежать персонального одиночества, личность льнет-примыкает и растворяется в группе-сообществе, составленной из таких же обезличенных единиц, преумножая тотальное одиночество» (М. Бубер).

В нем, как в норе, легко спрятаться от себя, оставляя на поверхности «человека массы», существо без природы-мира, «человека вообще», отказавшегося от своих границ-пределов, стен-кровя, Дома-идентичности.

Одновременно пиррово торжествует десакрализация природы-мира и, следовательно, «десакрализация дома этого человека, превращая бытие последнего в бездомное и бесприютное» (М. Бубер).

Толпа не нуждается в Доме, разве что в загоне-выгоне, «поле сражений» для демонстрации своего «величия» и протестного напора. Посему самое бездомноприютное скопище-толпа кичится тупой физической мощью Голиафа, безоговорочно скалясь даже на дуновение духа крамолы, на намек вольной ереси-выбора. Посему и нет пророка в своем Доме-отечестве, ведь они, «разносчики» новых смыслов-образов, болезненно чувствуют свое одиночество, несмотря на ватагу его сопровождающих любопытствующих зевак, невзирая на толпу, алчно небезучастную к нему своим требованием: «Распни!»...

Такова месть-наказание за слово-подвиг любви к каждому одиноко-страждущему. За благодарность Уединению...

«Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись...» (Мф. 6:6).

Таков посыл возвращен-воспитан традицией монашества-отшельничества, способного единить человека с миром даже в своей келье-затворе.

«Можно и при затворенных дверях по миру шататься, или целый мир напустить в свою комнату» (Феофан Затворник).

«Прихожане приходят в церкви для общения с Богом в храме. Ухожане – уходят в себя, чтобы пообщаться с Богом наедине» (П. Шарпп).

Религия искони означает связь-соединение, и она может быть определена как преодоление одиночества, как выход из себя, из замкнутости, как обретение общности и родства. В этом ее сущность. Религия есть слияние с тайной бытия, с самим бытием. Но одиночество преодолевается не потому, что есть религия, религия есть лишь отношение и она вторична относительно идеи Вселенского Дома и его реально-гипотетического Творца.

«Мое одиночество преодолевается потому, что есть Бог. Бог и есть преодоление моего одиночества, обретение полноты и осмысленности моего существования» (Н. Бердяев).

Одиночество – врожденный дар-ответственность гения, художника-пиита «от Бога», для которых Дом его не имеет видимых границ, от чего тоскует разве что телесность, но торжествует дух творческий «по образу и подобию» Божьему. Поэтому одиночество воспринимается ими как должное и неизбежное, как само творчество. Хотя они обыкновенно легко ранимые, «нелюдимые», за-стенчивые.

«Если мы еще раз говорим об одиночестве, то нам становится все яснее, что, в сущности, здесь нет никакого выбора. Мы неизменно одиноки. Можно обманываться на этот счет и поступать так, словно бы этого не было. Вот и все» (Р. М. Рильке).

Пожалуй, не все, ибо диапазон уединения-одиночества чрезвычайно богат и любопытен в промыслах познать человека-в-мире.

Навязчивое одиночество – болезненное от своей ущербности хотеть и не иметь: в доверительности, любви, попросту в за-

метности, узнавании, признании. От него недолго и до душевных комплексов-потрясений, включая пресловутую одичалость.

Вольное уединчество здорово-радостное условие-чувство обретения свободы-выздоровления от душевных терзаний-недугов. И более того, не только бальзам на раны от нападок-напраслины, не всего лишь редут «круговой обороны» от приступов толпотолчеи, но всемогущий высокобашенный Дом-крепость, дабы подняться над суетой-сует и поверх утрамбованных сиюминутными канонами голов увидеть-познать вечное преображение.

Так много камней брошено в меня,
Что ни один из них уже не страшен,
И стройной башней стала западня,
Высокою среди высоких башен...

.....
Отсюда раньше вижу я зарю,
Здесь солнца луч последний торжествует...

А. Ахматова «Уединение»

Поэтому пока есть-родятся истые творяне мы также преодолеваем тягостное одиночество и вправе заключить, что «мы никогда не бываем одиноки» (Г. Торо).

Отсюда тот противоречивый, но всячески подтвержденный факт, что есть шанс чувствовать себя одиноким в беспросветной толпе – и, наоборот, оказаться весьма счастливым в «полном» безлюдье.

... Лишь после многодневного общения один на один с пустыней Христос проникся путем к достойному ВсеДому.

Только после «глубокого погружения» в крохотную одноместную пещеру Хире, «родильный дом» ислама, Мухаммеду, по преданию, снизошло божественное откровение и первые поэтические сутры. Отнюдь не кондовыми нравоучениями стали они, не приказывали, не ставили жестких условий своим внимателям. Одно из них скорее личная просьба:

«Не докучать пророков в домах их». «О те, которые уверовали! Не входите в дома пророка, если только не будет разрешена вам еда, не дожидаясь ее времени. Но когда вас позовут, то входите, а когда покушаете, то расходитесь, не вступая

дружески в беседу. Это с вашей стороны удручает пророка, но он стыдится вас» (Коран).

Знаменательно, что пророческая прерогатива рождалась-закреплялась, как правило, у тех, кто исполнял свою жизнь трудовую вне «визуальной доступности», вдалеке от Дома своего. Это, главным образом, о пастушестве, примечательном своей экзистенциальной амбивалентностью – продолжительным уединением от повседневной толчеи-суеты и нескончаемым переходом с места на место, что вкупе с надлежащим умением управлять неразумным и доверчивым стадом и породило образ-статус Пастыря.

Отсюда, в частности, культ Вишну как «божественного пастуха», засвидетельствованный в «Ригведе»:

«Он никогда не утратит Своего положения. Иногда Он близок, иногда – далек. Он бродит разными путями... Он снова и снова приходит в этот мир».

«Я желаю пойти в Ваши прекрасные дома, где блуждают коровы с огромными рогами. Так являет себя высшая обитель Вишну, Того, кого прославляют повсюду».

Моисей, прежде чем вернуться за еврейским народом, сорок лет пастушествовал на чужбине, приютившей его после бегства из Египта, сменившего к нему за убийство завидную благосклонность на воздающую немилость. А затем также сорок лет через те же земли с погромами-мародерством многотысячье уверовавших в него, в Дом-землю «обетованную». Правда, так и не вывел, бесславно сложив голову в пустынной бездомности. Хотя и привел к культу Саваофа, Воителя-Ревнителя.

Наконец, Христос на ранних изображениях предстает отнюдь не распятым мучеником, но спокойным юношей-пастухом с овном, видимо, на спасительных для него плечах. И так, наверное, уподоблялся победоносному отроку-пастуху Давиду.

Прославленная китайская мудрость также воспитывалась не в толчее, не «среди шумного бала». «Чжай» – так издревле назывался Дом, творимый специально для уединения, размещался подальше от других построек, иногда отгораживаясь от них специальной стеной. Притом, что непосредственно в жилых Домах имелись «шучжай», отдельные кабинеты-библиотеки или книжные флигели.

Сначала «чжай» означало «очищение омовением и воздержанием», откуда пошло «чжайгун» – «дворец очищения», размещаемый вдали от шумномирских наслаждений-сует. Желательно в природной куще. Так что и сегодня можно посетить в пекинском парке Бэйхай «сад внутри сада», или «Цзинсинчжай» (Дом Спокойного Сердца). Правда, не за уединением, коего удостаивался в одиночку только император, – уж больно много там туристов-пилигримов со всего света. Множественность, что нехотя поглощает единственность, следовательно, и уникальность, которая всегда звучит гордо.

...Как говорится, уединения ищут, одиночества бегут. Однако бегут-убегают и в одиночество как сконцентрированное уединение. Тогда решительно ищется «каре́та», дабы ринуться из внешне пристойного Дома хоть «в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов», только бы не оставаться заложником-пособником противных манер-обычаев «высшего света».

Одиночество «укромный угол» уединения. Хотя он может приниматься и углом загона, угнетения-наказания. Но это для тех, кого одиночество тяготит-парализует. Так что все зависит от дозы-своевременности этой уникальной целебной «инъекции» и принципа: не навреди.

«Одиночество также необходимо разуму, как воздержание в еде – телу, и точно также губительно, если оно слишком долго длится» (Вовенарг).

«Мы живем в тесноте и спотыкаемся друг о друга и от этого, мне думается, несколько теряем друг к другу уважение. Для подлинно важного и сердечного общения такая частота не нужна» (Г. Торо).

Общания необходимо-достаточно, если оно в меру, не тяготит, как гость незваный и беззастенчивый. Но дает представление в своей нужности, не перестает верить, что тебя понимают, признают, любят, ждут-возвращаются к тебе. Словом, переживание сугубо личностное, субъективное, поскольку всякая позитивная объективность пропитана типовым уплощением, статистической обобщенностью, искони перечашей уникальному экзистенциальному исполнению. И так размежевывающий гармоничный целостный мир, преобразуя его в конгломерат стохастических одиноких объектов.

«И люди воспринимаются мной, как принадлежащие к другому, чужому, не моему миру. Мир и люди для меня объекты, принадлежат к объективированному миру, с которым я не только связан, но к которому я прикован. Объективированный мир никогда не выводит меня из одиночества» (Н. Бердяев).

Из подобных воззрений решительно деформировалась картина мира, поколебалась вера-доверие в классическую философию, обозначая все более яркий вектор неклассических представлений. Так было настезь прорублено окно в привычно-понятном Доме в неожиданно освежающий простор.

Суть парадигматических изменений выражается просто: в человеке перестал видеться-цениться субъект как нечто одиноко-отлученное. Любопытнее и, главное, продуктивнее в познании его субъективность, отсылающая не к «статичному» субъекту-существу, противостоящему внешнему миру как объекту познания, но к заведомо уникальной экзистенции, врожденно обязанной иметь особое мнение-убеждение, желания, творческие амбиции. То есть прорыв осуществляется не в «проходной двор», но добротнo-разборчивый частно-субъективный Дом персонального очеловечивания.

Объективированный мир имеет свой диапазон – от полностью обезличенной толпы до, в лучшем случае, демократии с неминуемо ущербным меньшинством и еще более затертой в нем личности. И он же имеет и объективированный Дом, априори предельно рационализированный, преисполненный точным расчетом, все-вся размерностью, логическими догматами-структурами...

Таков Западный Дом – в нем все логично-рационально, размеренно-расчитано, лицемерно-объяснимо. Он встречает, издалека выказывая приятелю свои формальные Дом-стоинства, супостату – наличествующие Дом-спехи. При этом держа от того-другого должно-объективную дистанцию. Однако всякий раз, словно перекрывает русло брутальным остовом, заточенными углами-волнорезами создает плотину-запруду всякому чаяно-нечаянному вторжению-наплыву. С какой стороны ни посмотри, сразу видно: это Дом, и его никак не спутаешь с не-Домом. Истый особняк, который живет миром, где впервые используемый Кантом термин «субъект» как бы провел окончательную границу между человеком и его окружением, по-

движ становление самого понятия «западное мышление», отличающееся «рефлексивной структурой субъективности» (Г.-Г. Гадамер). Она, в свою очередь, зиждется на тотальном усмотрении позитивного смысла-идеи и соответственно на презрении к невнятной абстракции-абсурду, сокрытости-потаенности. Именно поэтому его облюбовывают всяческие привидения-миражи – здесь их особенно боятся, следовательно, уважают.

Здесь привык править культ противопоставления – субъектно-объектные, деятельностные взаимоотношения, в соответствии с которыми Природу стратифицировали на «первую» и «вторую», рукотворную, априори превосходящую все бывшее до нее, не затронутое «венценосной» деятельностью человека. Отсюда дух противоборства с Естеством, воля к власти-господству над ней, экспансия «воинствующей» науке, ниспровергающая синкретизм мифопоэтического видения мира.

Однако именно в этой всеразмерной предопределенности и заводится гнетущее одиночество как покинутость, как итог игнорирования «изначального человека» (Н. Бердяев) со всеми его переживаниями по поводу своего мироустройства, представлениями о космосе-мироздании, как о живом организме.

Этим исконно-сугубо человеческим переживанием по жизни исполнялась Урсула Буэндиа, беззаветно решившая воспрепятствовать разрушению привычного миропорядка. Посему она не только мечтает построить светло-просторный Дом, но и отрадным образом реализует свое исконно мессианское предназначение Домостроительницы.

«Никто не мог толком понять, как в полной неразберихе, в зловонии негашеной извести и кипящей смолы вырос из чрева земли дом, не только самый большой в Макондо, но и самый гостеприимный и прохладный на всем просторе низины... Новый дом, белый, как голубь, открыл свои двери для праздника» (Г. Г. Маркес «Сто лет одиночества»).

Открытость миру Урсулы, ее энергичность, более развившаяся с годами чуткость, душевная щедрость противопоставлены добровольному затворничеству, отшельничеству остальных домочадцев, отгородившихся от внешнего мира.

Хотя житейское отчаяние, конечно же, может и поколебать уверенность в непреходимости «белого дома» и тем подвигнуть вопрошание и о собственной судьбе.

...И, видно, никто не знает,
Что белого дома нет.
И по собственному дому
Я иду, как по чужому,
И меня боятся зеркала.
Что в них. Боже, Боже! –
На меня похоже...
Разве я такой была?

А. Ахматова

...Эстебан привык, но не притерпелся к замкнутому пространству собственного обветшавшего дома, лишенного приветливой жизни. И он порывает с ней, насаждая новый порядок, для чего активно занимается новаторским жилищем. При этом он не воспринимает его как Дом, но всего лишь недвижимой собственностью, предметом гордости. Ибо полагал, что залогом его семейного счастья будет невиданный доселе в округе фешенебельный домина с изысканной обстановкой. «Он хотел, чтобы такого дома больше не было нигде на свете – с немецкими витражами, с цоколем, отшлифованным в Австрии, с бронзовыми английскими кранами, с полом из итальянского мрамора, замками и задвижками, выписанными по каталогу из Соединенных Штатов...». Вот только любимая им Клара чурается тесноты его показных «хором», и она раздвигает их своеобразными приделами-лабиринтами для духов, открывая двери для всех страждущих. Так срастаются «телом», не духом своим два Дома – прагматично-роскошный особняк-одиночка и открыто-мистическая общность (А. Исабель «Дом духов»).

Дом «векового одиночества» – обобщающий символ современной цивилизации, противопоставленной и человеку, ищущему первозданного, «дикого» общения, и «первой природе», невозможной для того со-общнице. Точка невозврата к утраченному «времени оно», но надеется, не пройдена и участь погибнуть в экзистенциально-космическом одиночестве еще не стала единственно возможно-приемлемой.

Уединение в материнское лоно Природы отнюдь не бегство ради избегания, но наоборот, поиск-нахождение всеединства. Поскольку Природа сама по себе – «сладостное и благотворное общество» (Г. Торо), которая никогда не обманет-подставит. И только в жизни-общении тет-а-тет с ней человек благотворно чувствует себя в сугубо своем Вселенском Доме-Месте.

«Для разных натур это будут разные места, но тут-то и должен копать свой погреб истинный мудрец...» (Г. Д. Торо).

Поэтому благую уединенность следует заслужить перегоревшим буйством скитаний-странствий телодуха, истощенного беспокойством. Тогда она становится необходимой потребностью, чуть ли не навязчивой идеей.

На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля –
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.
Угасла невозвратно «страсть к перемене мест».

А. Пушкин «Пора, мой друг, пора»

Любопытно, что в рукописи к этому стихотворению есть наметки его продолжения: «Юность не имеет нужды в at home, зрелый возраст ужасается *своего* уединения. Блажен, кто находит подругу, – тогда удались он *домой*».

...Дом заведомо творится для уединения. Он же Дворец, если есть на него власть-богатство. И он же – Храм, Дом Бога, правда, сотворенный Человеком и уже «по его образу и подобию», по его представлению «божественного» для него Места-уединения.

В то же время всякое Место неминуемо сопрягается-межуется с Местом иным. Так что в Дом, находишься он хоть в тридевятом царстве-государстве, кто-нибудь обязательно постучит. Разве что на необитаемом острове моря-океана безраздельно правит бескрайнее Робинзоново одиночество. И то только до «нечаянного» явления «Пятницы»...

«Ничто никогда не существует в полном одиночестве; все существует в зависимости от всего» (Будда).

Иначе говоря, в гармонии зависимой независимости-свободы, но только до тех пор, пока на нее не надели «смиритель-

ную рубашку» и не обрекли на неподвижность, смерти подобную.

...Дом Востока – личностное переживание априори живого, подвижного, всеоткрытого мира. Причем, сим переживанием он одаривает собой-себя, не публично, но в глубоком уединении-медитации, при которой субъектно-объектные отношения преобразуются в синкретичную целостность.

Здесь лучшим подспорьем служат не роскошные апартаменты, где можно «сгорать» от одиночества, но скромно-уютные хижины, источающие животворящее тепло, вселяющие уверенность в полной гармонии с Природой, также чурающейся излишков.

Зимняя муха
так и вьется вокруг меня –
одни мы в доме...

Гёдай

Здесь правит «кроткий закон» (М. Хайдеггер) и даосский принцип у-вэй, исповедующий невмешательство в естественный ход вещей. И практикующий расслабленно-созерцательное слияние с Естественным, при котором нутро-интерьер плавно выворачивается «наизнанку», а экстерьер-округа нежно обволакивает утробу Дома. Тогда нет нужды куда-то стремиться за благим уединением.

«Будьте там, где вы есть, иначе вы пропустите саму жизнь» (Будда).

Зимние дни в одиночестве.
Снова спиной прислонюсь
К столбу посередине хижины.

Басё

В столь откровенной поэтической ауре одиночество отсвечивает уединение, а оно взаимно вдохновляет одиночество.

«Мы загнипнотизированы одиночеством, загнипнотизированы взглядом одинокого дома. Наша связь с ним столь сильна, что мы начинаем мечтать только об одиноком доме в ночи: O Licht im schlafenden Haus! (О свет в спящем доме!) (Г. Башляр).

Особо могущественна эта метафизическая сила отнюдь не в каждом Доме, но в Своем, из которого не сбежать в мыслях-грезах, как не убежишь-скроешься от самого себя.

«Поднимитесь на гору или спуститесь в деревню, отправьтесь на конец света или прогуляйтесь вокруг своего дома, вы на всех путях случая встретите только себя самого» (М. Метерлинк).

Вот оно истое Место уединения, которое может быть исключительно субъективным, безраздельно Своим-Домашним.

Свой Дом, который живет в нас, или Рука через порог с радостью

Каждое утро, душа, ты найдешь
у двери своего дома весь мир

Диего де Эстелья

В нормальном человеке есть, накопилось-сохранилось что-то наподобие инстинкта перманентного Домустройства. Мы безотчетно предаемся ему, когда возвращаемся Домой после достаточно долгого отсутствия, и нас захватывает необходимость быстро и хотя бы поверхностно осмотреть его.

«Возьмите вашу комнату, в которой вы постоянно работаете. Только в очень абстрактном мышлении ее можно представить себе как нечто нейтральное вашему настроению и вашему самочувствию. Она то кажется милой, веселой, радушной, то мрачной, скучной и покинутой. Она есть живая вещь не физического, но социального и исторического бытия» (А. Лосев).

Наш допотопный предок, застав нас за этим занятием, несколько не удивился бы, поскольку поступал точно также, возвращаясь под милый его сердцу кров. Даже у кочевников существует своеобразное представление о Доме. Табор цыган как единый Дом под открытым небом с кибитками-«комнатами», сомкнувшимися в круг. Временное Место, которое они, тем не менее, ринутся всячески защищать. Хотя назавтра запросто, без сожаления, оставят его, дабы отнести Свой Дом на новое, пока еще неведомое Место. Так и Чингисхан, оторвавшись от родных земель и ринувшись на грандиозный захват иных, изобрел, видимо, первое массовое «мобильное жилье». Вместе с его войском двигалась громада огромноколесных повозок с юртами, вроде кебов-башен, вполне способных усугубить ужас, излучаемый жестокой конницей.

Юрта эскимоса с очагом и подпирающим «небосвод» шестом – самый надежный Дом, не столько выгораживающий его от бесконечной тундры, сколь единящий его с Вселенной. Ее почти прозрачный купол подобен небосводу и, кажется, может исчезнуть в любое мгновение, как мираж, открывая слияние Космоса. И эта всепроницаемость не тяготит и тем более не страшит, поскольку не нарушает мировой порядок, в основе которого благодатное устойчивое растворение в Естестве. Здесь нет места унылому одиночеству. И предложи исконному обитателю-аборигену поменять ее на квартиру бетонной многоэтажки «со всеми удобствами», он воспримет как застеночное заключение. Это будет особа «порча» «квартирным вопросом».

Татары в великих походах свои юрты везли на специальных повозках, не разбирая. Вид несметного полчища своих Домов, очевидно, придавал дополнительные силы-уверенность, ведь они знали, что идут на чужбину-бездомье и, вероятно, навсегда. Да и на тех, на кого упорно надвигались эти чужие Дома, вымещая свои, они, несомненно, также производили сильное впечатление.

...Свой Дом – достояние, которым не пользуются, не нанимают-эксплуатируют, им живут-житийствуют, гордо становясь самим собой. Именно таков его идейно-моральный кадастр. Чего не скажешь о жилье случайном, гостиничном, съемном – эпизодических временках-ночлежках да только.

Съемное жилье – это психологическая незрелость, особенно, когда такое проживание многолетнее. Его истые хозяева-сдатчики подобно одиозным родителям решают, что-как делать-поступать. Это неприкрытая зависимость в том, где обычно должна быть свобода.

«Чем страшно съемное жилье? Мы ничего не даем этому дому, и дом ничего не дает нам» (Г. Молдосарова, Г. Майчинова «Женщины и их мир любви»).

Однако его вынужденно как-то терпят-свыкаются, подавляя в себе потребность в уюте, «удобном порядке, приятной устроенности быта». А творить ее возможно лишь в Своем Доме, в Месте с ним быть свободно-счастливым. Как человек на Своем Месте, экзистенциально всевмещающем.

Помещения – «четыре стены» места, где люди едят, пьют, спят, занимаются неким делом, приобретаются-теряются, не оставляя особого следа в памяти-грезах, не волнуя свою судьбу. Меж тем каждый человек знает-чувствует – есть у него или нет подлинно Своего Дома. И отнюдь не стесняется этого по праву восторженного чувства, видя в Доме и великий дар, и предмет заботы.

О, дом, о, свет вечерний, луг покатый!
К лицу поднявши этот дар богатый,
мы и самих себя приносим в дар.

.....
Да, я заботлив, и во мне – мой дом.
Я жду охраны – и я сам хранитель.
Прекрасный мир, моих волнений зритель,
рыдает дивно на плече моем.

.....
Любой предмет взывает: «Вникни, почувствуй!».

.....
Единое – и внутримировое пространство все связует.

Р. М. Рильке

«В чужом месте что в лесу. Чужая сторона дремуч бор».
«На чужбинке словно в домовинке (и одиноко, и немо)».
«Жил-был молодец; в своей деревне не видал веселья, на чужбину вышел – заплакал».

Съемно-типовая квартира-мебель-утварь никак не способствуют такому вдохновенному переживанию, закрепленному в устном фольклоре.

Пусть, конечно, существует-диктует мода, меняются нравы-стереотипы, согласно которым обустроиваются приличные гостиничные номера, но и их предлагают на вкус-возможности клиента. Так что, очень вероятно, что Дом, недавно казавшийся таким милым-уютным, современным, «вдруг» предстанет «мещанским-безвкусным», анахроничным. Вот только общечеловеческие представления, тяга к уюту, бесспорно, никуда не уходят, ища-находя иную-приемлемую интерпретацию, благодаря которой и находится ключ к рефлексии себя человеком «живучим», нормальным.

Нормы-идеи домостроя искони устанавливаются не как закон, но как завет, «которому следуют строже, чем закону, потому что он глубже проник в душу и направляет жизненные усилия всех обитателей Дома: не обывателей, но обитателей, и не только быт – бытие их волнует прежде всего» (В. Колесов «Домострой без домостроевщины»).

Русское «домостроительство» адекватно греческому «икономии» («законам дома», «устроению дома и домашних дел», «домоводству», «управлению домом», «домоуправлению»).

Икономный Дом – предлагает бытование человека в социальном мире на основе сакральных принципов и не в ущерб, конечно, нормам-устоям повседневности. Ибо он является не только конгениальным отражением личности, семьи, но перманентной подпиткой и презентацией этнических, национальных и, наконец, общечеловеческих традиций иметь-преобразовать. Именно отсюда естественна и потребность человека обустроить свой Дом в согласии со своим жизнепониманием, чтобы всегда можно было провозгласить: «мой Дом!».

«Свой» – атрибут-статус не всяческой собственности – не отдельного предмета-вещи, не языка-быта, не стен-сторон. Оно вбирает в себя проникновенное бытие человека-в-мире, что никак не сводится к проживанию на общей территории. В нем слышится и зов предков, и каждый нынешний звук, и вопрошание потомков. «Свой уголок – свой простор».

Свой Дом снимает нажим ужасов-фобосов кроме, конечно, потери-утраты его самого. Свой Дом окутывает, словно померной шалью, и априори не угрожает приступами клаустрофобии. И не студит незванным сквозняком агорафобии и тягостной толчеей охлофобии.

Человек в Домомире начинается, пожалуй, с признания «своего-моего» в нем. А всеблагим, уникальным последствием этого события становится обретение сугубо Своего Дома, когда все человеческое существо незримо без остатка погружается в его магическую ауру, не оставляющую без внимания ни одну из фибр души-тела.

«Как мучительно ощутима тебе прохлада твоего дома, сладость воды для чаепития в серебряном кувшине перед часом любви. Мучительно воспоминание о ветке под окном, о кукареканье петуха во дворе. Ты шепнул себе: “Я из своего дома”» (Экзюпери).

Я вне-без Своего Дома – уступка-дача бездомности со всеми ее последствиями.

«Ты отрекся от своего дома и, значит, отрекся от дома вообще» (Экзюпери).

В результате – отказ от собственной Самости, только которая и гарантирует-дарует экзистенциальную идентичность, осуществляемую в любых вариациях истолкования.

«Не по дому следует почитать хозяина, а дом по хозяину» (Цицерон).

Выкажи себя и я представлю Дом твой.

Покажи мне твой Дом, и я скажу кто ты.

...Повстречав первых будущих учеников своих, Христос обратился к ним: «что вам надобно? Они сказали Ему: Равви, – что значит: учитель, – где живешь? Говорит им: пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где Он живет...». После этого один из них, Андрей, признался брату своему Симону: «мы нашли Мессию» [Ин. 1:38–41].

Остается только догадываться, что обнаружили братья в том исследовательском походе. Тем более, что жилье то было «съемное»... А может они почувствовали-обнаружили рельефного Мессию, по определению, не сквалыги и не алчного домоседа. Приняли в нем Учителя идеи человеческой телодуховности, у которой и Дом столь же телодуховен, будучи выразителем-собирателем эмоций-переживаний. А также «дирижером» жизни-пребывания в нем. Поскольку выстраивает манеру, динамику, моторику, траекторию, темпераментность движений-жестов. И даже стиль одежды, всего внешнего вида-облика, что, естественно, рефлексировается ментально.

Однако все же принципиальный «маркер» свойности Дома – его неподражаемая способность служить местом-аурой Покоя.

«Твой дом там, где спокойны твои мысли» (Конфуций).

Только он, будучи, в принципе, «продажной» недвижимостью, всегда остается лоном бесценной умиротворенности, живомыслящей спокойности.

Поэтому всякое изменение-подвижка в Доме есть отражение изменений в собственной душе. И обязательно наоборот.

Так что Свой Дом – источник влияния, требующий уважительного к себе отношения, и почитания-сакрализации. Посему видится-преследуется осквернение его руганью и бранью, ведь

весь этот негатив оседает на стенах и еще долго сосет из вас силы. Здесь же осквернение его обувью-сандалиями, коим надлежит оставаться за порогом. Иначе – словно «плевок в душу». Посему вполне закономерна ассоциация тела-души с Домом в их органичной со-в-местности, свойности.

Я давно полюбил мою душу,
Я замкнул ее в светлый свой дом,
И ее тишины не нарушу,
Хоть не сдержан в блужданьи своем.

.....
И душа моя в доме скучает,
Моего возвращения ждет,
И слезами свой лик расцвечает,
И потерян алмазностям счет.

И душа так жалеет, жалеет
О моем бесконечном пути,
Но покинуть чертог свой не смеет,
И не смею я к ней подойти.

К. Бальмонт

«Я понуждаю тебя строить в себе свой дом. Когда дом будет готов, в нем появится житель, что оживит твое сердце» (Экзюпери).

Оживит настолько, что и при самых резких турбулентностях судьбы Дом не оставляет без волнующего соучастия.

«Изменится все вокруг, и ты изменишься, ибо каждый зависим от своей Вселенной. Разве ты останешься прежним, если, сидя дома, узнаешь от меня, что дом твой тлеет?» (Экзюпери).

Свой Дом – реальная и уникальная возможность вочеловечивания, осознания собственного достоинства-великодушия, становления инициатором аутопоэза – самопроизведения, самосотворения, само-о-своения.

Теория аутопоэза зиждется на особенности-способности человека как системы, что «вытаскивает сама себя за волосы и становится отличной от окружающей среды посредством собственной динамики, но при этом продолжает составлять с ней единое целое... Бытие и сотворение аутопоэзного единства неразсторжимы, и в этом заключается присущий только им способ организации». Подобные рассуждения «с необходимостью

приводят нас к этике, которой нельзя избежать, к этике, точка отсчета которой находится в осознании биологической и социальной структуры человеческих существ; к этике, которая возникает из рефлексии человека и ставит рефлексию человека в самый центр как основополагающий социальный феномен» (У. Матурана, Ф. Варела).

А это, в свою очередь, означает априорную сложность межличностных отношений, исполнения Я-социум, диалектическое схождение приватного-публичного.

Свой Дом – квинтэссенция приватного, мир задушевной домашности, жизни, архетипически «накопленной» предшествующими поколениями, которые «реинкарнируются» в домоустроителе зачастую только неизъяснимыми наитиями и предпочтениями, атмосферой-обителью любви-согласия.

Общежития-казармы, иные публичные дома-зоны лишены частной-индивидуальной приветливости, теплоты свойности и посему навсегда хладнокровны к личностному исполнению. И тем покушаются на духовную высоту-восхождение Человека.

«Не сходи с лестницы своего дома – там зло. Дальше дома зло уже потому, что дальше – равнодушие» (В. Розанов).

Суть-принцип приватности – допущение в частную жизнь, однако с определением его конечных размеров-пределов.

«“Приватное существование” со своей стороны еще не обязательно есть подлинное, то есть свободное человеческое бытие. Оно коснеет, замыкаясь в бесплодном отрицании публичности. Оно остается зависимым от нее филиалом и питается пустым уклонением от всего публичного. Так оно свидетельствует против собственной воли, о своем рабстве у публичности» (М. Хайдеггер).

Обуянный эгоизмом-ксенофобией, затворничеством Свой Дом обрекает и владельца на разложение-распадение, фрагментацию-индифферентность. Пряча за острог отчужденности, он подвигает подозрительность, мнительность, перманентную настороженность.

«Мирно живу я в самой глубине своего дома, а тем временем противник откуда-нибудь медленно и неслышно роет ход ко мне» (Ф. Кафка).

Сугубо приватная жизнь лишена действительности не в последнюю очередь, потому что не испытывает видения-слушания Другими.

«Привативный характер приватного лежит в отсутствии других» (Х. Арндт).

Действительно Свой Дом настолько своеобразный, что занимает особое положение среди Других. И тем вполне вписывается в многовековой дискурс о феномене Другого. Ведь еще Аристотель указывал на необходимость некоего иного человека, дабы с его помощью прийти к пониманию собственной сущности-призванию – познавать самого себя.

Впрочем, сия мысль сама собой рождается из весьма апробированного и овеянного житейской мудростью принципа: все познается в сравнении. И не забавы ради, не по привычке, но во имя улучшения своего бытия и самосовершенствования, что и предполагает-обуславливает Друг Друга.

Не будь в Творении одновременного явления парного контрастно-схожего одного-другого, не увидел-различил бы Творец, что создает «хорошо», ибо не было бы с чем сравнивать.

«И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему». Явного Другого, но и искони сродственного, и тем реально-феноменального свой-ственного.

«Феноменологии духа» Георга Гегеля вводит понятие Другого в качестве ключевой составляющей самосознания и объясняет, что оно возможно лишь через обращение к Другому.

«Другой» – весьма востребованный «помощник» в современной гуманитаристике. Причем, многообразный. Полномасштабную «путевку в жизнь» ему выдало Новое время с его все возрастающим интересом к диалектике субъекта-объекта. Ко всему, что вступает в отношение с Я-субъектом в качестве не-Я, «иного», «чужого» как объекта или alter ego («другое я»).

Свой Дом ненавязчиво продвигает событие интерсубъективности (Э. Гуссерль) – общностей, способствующих трансцендентальному Я, удостоверению в наличии-существовании самобытности Другого, что открывает возможность взаимопонимания и социо-личностной идентичности. Субъект получает от Другого место в интерсубъективном Доме-мире весьма гармоничных, «взаимовыгодных» реально-символических отношений.

В актуальной атмосфере всеобщей отстраненности, неприветливости, подозрительности, разобщенности сквозит холодок параноидального отчуждения, навеянного идей-образом Другого, от которого подспудно ожидается необъявленный надзор-контроль, помеха-препятствие, коварство-угроза... Так, Другой вырастает в глазах из нейтрального иноного-чужака, через подозрительного чужого, к опасному чуждому. И так Другой предстает субъектом нажима, влияния, закрепощения, порабощения Я и превращения его в инструмент не-своих интенций-намерений.

Другой напирает в попытке доминировать, быть влиятельным-волевым, надменным, ненавидящим, презирающим, преследующим, уничижающим субъектом-гегемоном (Ж.-П. Сартр). Отсюда ощущение априорности конкуренции, конфронтации и конфликтности. Снять это напряжение призвано диалогическое усмотрение Другого «через ситуацию общения», поскольку диалог – «единственная ситуация, в которой мы можем установить отношение к человеку и к себе в их собственном качестве и достоинстве» (П. Рикер).

Именно в диалоге Я-личность не только освобождается от представлений о собственной исключительности и самодостаточности, но начинает преисполняться осознанием присутствия достойного другого Я, способного обогатить Я собственное. Кому доступен непредвзятый диалог-собеседование с самим собой, тот неминуемо оценит-проникнется его плодотворностью в совете-наставлении.

«Один идет к ближнему, потому что он ищет себя, а другой – потому что он хотел бы потерять себя» (Ф. Ницше).

В любом случае, наличие Другого, следовательно и Другого Другому – путь к «удвоению», увеличению точек зрения, конкуренции мнений – преумножению возможностей. В придачу ублажает усмотрением в Другом равноправного партнера-товарища и даже друга-сотоварища, не отнимая и у него права-призвания быть иным-отличным. А значит, и восполняющим Одно Другим... Хотя, понятно, все возможно-реально в мире страстями бушующем.

«Вдвоем человек бывает более одиноким, чем наедине с собою» (Ф. Ницше).

Разве что тонкое поэтическое, глубоко личностное чувство разберется в этой ситуации, умом такое не понять.

«Тонкой душе тягостно сознавать, что кто-нибудь обязан ей благодарностью; грубой душе – сознавать себя обязанной кому-либо» (Ф. Ницше).

Тут никак не обойтись без конфликта, всегда «заточенного» на взаимное отрицание, обоюдное признание права на свои меж-пределы, стены-кровлю. Поэтому экзистенциально конфликт разрешается «через выражение биологической межличностной конгруэнции, которая позволяет нам увидеть другого человека и открыть для него пространство, где он может существовать рядом с нами. Этот акт называется любовью или, если мы предпочитаем более мягкое выражение, принятием другого лица рядом с нами в нашей повседневной жизни». Ибо «без любви, без принятия других живых существ помимо нас, не существует социального процесса, и, следовательно, всей совокупности человеческих качеств» (У. Матурана, Ф. Варела).

В таком случае любовь обретает статус вполне объективного фактора мотивации и характеристики творческой мысли, творчества в целом, как высшее предназначение живой жизни, любящей жизни. Словом, «не отрекаются любя», ведь только в этой жизнестроительной интенции и создается свой-наш общий Дом.

«Мы обладаем только тем миром, который создаем вместе с другими людьми, и что только любовь помогает нам создавать этот мир» (У. Матурана).

Поэтому «дружить домами» имеет возможность-резон до-расти до «любить Домами». В человековеческом ключе такое преобразование можно принимать христианской заповедью-наказом: «да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин. 13:34).

Приснопамятная заповедь о любви к «ближнему своему», как, впрочем, и к «дальнему», по сути, о Другом. И она проявляется в вольном допущении в Свой Дом, который одолевает свою онтологическую отгороженность-изоляция, впуская, словно приток свежего воздуха-дуновения Друговости. При этом предчувствуя-ожидая благую изменчивость в жизни домочадцев о визите чайного гостя. Одновременно признается уважительность существования Другого, непозволительность

насаждения инородной ему логики, неприемлемых принципов бытия, «своего устава». Словом, признается его право иметь Свой Дом, а с ним и универсальный принцип-обыкновение гостеприимства, что издревле свойственно как отдельному человеку-семье-роду, так и этносу-нации.

«Единогласно хвалят летописи общее гостеприимство славян, редкое в других землях и донныне обыкновенное во всех славянских... Всякий путешественник был для них как бы священным: встречали его с ласкою, угощали с радостью, провожали с благословением и сдавали друг другу на руки... Славянин, выходя из дому, оставлял дверь отворенную и пищу готовую для странника» (Н. Карамзин).

А еще убеждались иноземцы, что отвергшего странника у славян ждало всеобщее презрение. Считалось справедливым сжечь Дом и имущество такого человека. Отсутствие возможности встретить-проводить гостя воспринимается и неимением своего Дома.

В этом дремлющем доме ты словно чужая,
Словно грустная гостья, без силы к утехам.
Никого не встречаешь взволнованным смехом,
Ни о ком не грустишь, провожая.

М. Цветаева

...Свой Дом – вновь и вновь подвигает к самоубеждению: Я – уникам. И всякий раз удостоверяя, что в мирно-мировом сожительстве с Другим. Так оба «оживляют» друг друга, заряжая синергетическим развитием бытия-становления, ставшего-возникающего – феноменально отождествляются, не сливаясь.

«Я – это другой» (А. Рембо).

ЧеловекоДом «сглаживает углы» у достаточно «острой» трактовки концепции Другого как противоположности Я. Поскольку исключает и проблеск антагонизма, воинствующей альтернативности, но подвигает от взаимноисключения «или-или» к диалогичному симбиозу «и-и». И так снимает боль-боязнь Другого как неподкупного зеркала, выставяющего на откровенный показ-позор то, что хотелось бы утаить, а лучше вообще не знать бы.

«Мы более искренни по отношению к другим, чем по отношению к самим себе» (Ф. Ницше).

В противном случае – отстранение, безразличие, уход от всякого Другого по известному принципу: «Я не я, и хата не моя».

«Свой» – свой-ство, модус принадлежности-имения. «Мой», «свой», «наш» – это уже почти имена собственные, свидетельствующие о прочном место-имении. И о своей приснопамятной бочке Диоген мог с достоинством возгласить: Моя! И тем Дом-бочка вполне могла назваться «Диоген».

В былые времена Дома не нумеровались, но обретали персональное имя хозяев. Все это от естественной человека-семейства потребности занять сугубо Свой Дом. Поскольку его свойность – собственность, исстари позволяющая не только быть самим-собой, своим для себя, но и обуславливающая социальный статус, определяющая имя-именитость. Следовательно, и степень свободы, самоуважения, что никак не поддается квалиметрическому анализу.

«Не стремись удивить меня количеством, не говори, сколько камней потрачено на твой дом» (Экзюпери).

Ищущему Свой Дом не найти его у Другого-соседа.

«Ты завидуешь соседу, у него не дом – королевский дворец. И ты отнимаешь у соседа дворец. Ты в него вселился. Но того, что искал, не нашлось и во дворце» (Экзюпери).

Дом, которым мы истинно живем, простирается настолько, насколько тянется проблеск-свет нашего чувства-переживания Своего.

«Знай, в этом мире мерцает для тебя негасимый огонек ночника. И поверь, совсем неважно, видишь ты его или нет. Умирающий в пустыне богат теплом своего далекого дома, несмотря на то, что умирает» (Экзюпери).

Но пока он жив, в нем также живет-теплится и дыхание его Дома. Оно приносит удовлетворение-радость не просто находкой, но реализацией возможности самому поиметь Свой Дом, каким бы он не представал для Другого...

«...Я обзавелся норой, и, кажется, получилось удачно»⁵.

«Разве, когда ты охвачен нервным страхом и видишь в жилище только нору, в которую можно уползти и быть в относи-

⁵ Здесь и далее курсивом переживания Ф. Кафки о Своей «Норе».

тельной безопасности, – разве это не значит слишком недооценивать значение жилья?».

«Правда, оно и есть безопасная нора или должно ею быть, и если я представлю, что окружен опасностью, тогда я хочу, стиснув зубы, напрячь всю свою волю, чтобы мое жилье и не было ничем иным, кроме дыры, предназначенной для спасения моей жизни...». Ведь привычное «жилище хоть и дает ощущение безопасности, все же далеко не достаточное, и разве могут когда-нибудь тревоги умолкнуть в нем навсегда?».

Другое дело – нора, особое жилье – «моя крепость, которая никак не может принадлежать никому другому и настолько моя, что я здесь в конце концов спокойно приму от врага и смертельную рану, ибо кровь моя впитается в родную землю и не исчезнет».

И нет, быть не может Дома, который сплавляет в одно экзистенциальное целое, которое вызывает доверие не только к самому себе.

«И доверять я могу только себе и своему жилью... Я и жилье – мы одно, и я мог бы спокойно – спокойно, невзирая на весь мой страх, – поселиться в нем навсегда».

Эта почти религиозная заповедь рождается отнюдь не сугубо страхом.

«Но ошибется тот, кто решит, будто я труслив и только из трусости обзавелся этим жильем».

В нем обнаруживается магическое свойство – привлечь для ублажения чувства Своего Дома все природное естество.

«...Веет лесным воздухом, в доме одновременно и тепло и прохладно... Приближается старость, и хорошо иметь такой вот дом, знать, что у тебя есть крыша над головой, когда наступит осень... Я лежу здесь, на защищенной отовсюду площадке... и, выбирая по своей прихоти часы, я то погружаюсь в дремоту, то в глубокий сон... я сплю сладко и мирно, потребности мои уже утихли, и цель – иметь свой дом – достигнута».

А с ним неминуемо обретается и особая ревность к нему.

«Одно это – добровольный допуск кого-то в мой дом – было бы для меня крайне тягостно. Я построил его для себя, не для гостей...».

Дом-подземелье – сродни блиндажу, надежно прикрыто-окруженному темным мхом. Покусившиеся на его должны

иметь определенные, *«довольно редкие способности»*. Но раз такие способности есть как таковые, значит, почему им не быть у алчного и способного на все вепря-твари. Он не виден из Норы, но все существо «норушника» говорит о его злокозненных намерениях. И во снах *«частенько видится»*, как вокруг норы *«неустанно что-то вынюхивает чья-то похотливая морда»*.

Зверь-вепрь, враг-напасть, угрожающие Дому – метафора, вбирающая самые разные смыслы-коннотации, особенно в наш весьма чуждый безопасности-гармонии векомир.

«...Все прислушались. Снаружи доносился какой-то шорох, как будто ночная птица на лету мягко задевала крыльями бревенчатый сруб; но солнце только еще садилось, да и ночные птицы редко залетали в деревню. И вновь слышались странные звуки, на этот раз словно какой-то крупный зверь бродил вокруг дома, и через все стены доносились его беспокойные шаги» (Р. М. Рильке «Рассказы о Боге»).

«Правда, у меня то преимущество, что я – в своем доме и мне точно известны все его ходы и их направления».

Преимущество, безусловно, значимое, однако не панацея на фоне набирающей силы агрессора, требующей постоянной напряженности.

«Настоящему, серьезному нападению я должен противопоставить все оборонные качества моего жилья, все силы души и тела».

Далеко не всякий человек способен на достаточно длительный срок такого усилия-борения.

«Сколько раз, охваченный отчаянной физической усталостью, хотел я все бросить, валился на спину и, проклиная свое жилье, тащился наружу и оставлял жилье открытым... Но несколько часов или дней спустя я раскаивался, все же возвращался, чуть ли не пел хвалебную песнь нетронутости моего убежища и с искренней радостью снова брался за работу... Быть надолго лишенным моего убежища кажется мне слишком суровым наказанием...».

Невидимыми веригами сего «сурового наказания» волею судеб «космополитов», «человеков мира» пожизненно «приговариваются» прирожденные искатели в мире-себе себя-мира. Ибо ищут они отнюдь не Нору-убежище, где можно разве что

«спрятаться» по подобию страуса. Их влечет истинно Свой-Наш Дом, который подобен Храму, что внутри нас есть.

Мудрейший из царей Соломон Иерусалимский храм «со всеми принадлежностями его и по всем предназначениям его, строил его семь лет. А свой дом Соломон строил тринадцать лет и окончил весь дом свой» (3Цар. 6:7).

Христос с отрочества тянулся к храму, обучая родителей, где искать его, пропавшего из виду: «Зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том (доме), что принадлежит Отцу Моему?» (Лк. 2:49). Однако до конца пребывания в мире сем, сетовал, завидуя животным, имеющим свои норы...

И так из века в век, из края в край.

«Понеже от прирожения звери, ходящая в пустыни, знают ямы своя, птицы, летающие по въздуху, ведают гнезда своя; рыбы, плывающие по морю и в реках, чуют виры своя; пчелы и тым подобная боронять ульев своих, – тако ж и люди, и где зродилися и ускормлены суть по бозе, к тому месту великую ласку имають» (Ф. Скорина).

Преисполненность таковой магией распространяет Свой Дом до трудновообразимых, но вольно чувствуемых безразмерностей.

Мой дом – приволье звездной дали,
Орлами мерянный простор...

.....

Мой дом – замшелой пуши своды,
Где сосны рвутся в небосклон...

Янка Купала

Наконец воображение-вера рисует и Свой Дом в просторах вечности.

«Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград, он подымается к самой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом. Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит» («Мастер и Маргарита»).

Впрочем, все эти «атрибуты» Дома гласят-свидетельствуют о высшей сакральной его ипостаси – о Доме-родном. И ни о каком Другом.

Именной дар-наследство, или Уют гнезда, хранящего от зла

Вот моя деревня;
Вот мой дом родной...
И. Суриков

...«С чего начинается Родина?». Вопрос отнюдь не детский-наивный, но требующий мудрого, осмотрительного ответа. В прославленной песне на эту тему родоначало указывается и на «картинки в твоём букваре», и на «хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе», на «песни, что пела нам мать»...

И все подобные отсылки неминуемо-верно приводят к универсальному образу-символу – Дому. Причем, к единственному из возможных своих – к Родному Дому.

Родной Дом – неподкупное мерило для всех иных домов, врожденный тест-шкала их способности к личностной совместимости, апофеоз Местоимения, окончательное исполнение ЧеловекоДома. Уникальность его не терпит ни имитации, ни подражания, ни дублирования. Или легко распознает «подкидышей», самозванцев безрода-племени.

«Родной дом вписал в нас иерархию различных функций обитания. Мы представляем собой диаграмму этих функций обитания в данном доме, и все другие дома оказываются лишь вариациями одной главной темы» (Г. Башляр).

И тема эта – покой, благой в своем, будучи не концом, но хранилищем всего, следовательно и началом.

«Повсюду искал я покоя и в одном лишь месте обрел его – в родном углу» (У. Эко).

«Дома я чувствую себя там, где живет моя семья» (Г. Бёлль).

Родосемейный Дом – «специфический пространственно-временной феномен, который вне зависимости от его предметного наполнения и других объективных критериев призван к

жизни людей в их реальной неминуемо обозначаемой моральной перспективе» (Ж. Бодрийяр).

Дом задумывается-зачинается если жизнь ладится-радует, подвигает строить-обретать Дом-жилище, дабы с ним укорениться, продолжать род, создавая-множа семью. Иметь Дом-семью – дружить-враждовать Домами и дружить-враждовать семьями.

Вот только «найти-иметь» такой весьма незыблемый Дом далеко не всегда представляется возможно-реальным.

«В смутные периоды разоренные жители, лишённые домашнего счастья и покоя, в дремучих лесах искали для себя спасения и приюта... В самой глубокой древности кривичанский отец семейства, желая охранить семью от нападений неприятеля, свое жилище устраивал среди леса при реке или озере, жизнь вел бедную, дикую... Потомки древних кривичей белорусы от своих предков наследовали привычку жить одиноко по лесам, в местах пустынных и глухих...» (М. Без-Корнилович).

«Подвергая жизнь свою беспрестанным опасностям, предки наши мало успевали в зодчестве, требующем времени, досуга, терпения, и не хотели строить себе домов прочных: не только в шестом веке, но и гораздо после обитали в шалашах, которые едва укрывали их от непогод и дождя» (Н. Карамзин).

В такой ситуации Дом, словно пехотинец в обороне, «окапывался», всецело доверяясь родной Земле.

«...Вдоль дороги – серые, точно вросшие в землю лачуги деревень... Вот вам, в сотый раз, Россия, какова она есть» (Маркиз де Кюстин).

Они, лачуги-избы действительно, под стать своим обитателям, русичам крепко садились-укоренялись в родную Землю. А серый их налет на дереве – словно патина на старинной бронзе, только облагораживает, заставляет уважать. Трещины – морщины. От обилия невзгод-каприз доли.

Так что не надо удивляться, что в «спадчыне» белоруса, что унаследована «ад прадзедаў спакон вякоў», беззаветное почитание-преклонение перед Землей-Матерью.

...Выходит крестьянин на поле,
Пласты поднимает сохой...
О, сколько в нем веры, надежды,
О, сколько отрады, покоя!

.....
Живет он, как жил тут извечно,
Живут его хата и поле.

Янка Купала

Человек, имеющий Дом-родину, – человек на истинно своем Месте, что априори предполагает участок-надел земли, фактически принадлежащий ему и, наоборот, включающий его как свою принадлежность. Отсюда в нашей повседневности дворы, усадьбы, фольварки, даже палисадники, наконец, пресловутые «шесть соток» – все, что опозитизировано, как вожденная «трава у дома».

«Тутошнему» – свое поле сродни своему Дому, которые собственно и роднятся, совместно принадлежат «здесь-тут», а через них – «всегда».

Сын своего батьки, батька детей,
Тут я и родился, тут живу весь век...

Ф. Богушевич

Поэтому на вопрос пришельца со «своим уставом» можно вполне гордо обозначить свою исключительную принадлежность здешней Земле-вере, а ее – себе.

«А если вы к таким белорусам обратитесь с вопросом – кто они такие в смысле национальности, то очень многие вам только и могут сказать, что они «тутэйшыя» (А. Богданович).

Я стою и думаю: как же мне назваться?
«Тутошний, – сказал я, – свой человек,
Сын своего батьки, батька детей,
Тут я и родился, тут живу весь век...

Ф. Богушевич

Белорус самозабвенно предан родным «мясцінам» – со всеми предками и потомками, традициями, узаконенными именно Местом, вбирающим неповторимую и сакрализованную судьбу – все, что исполнилось по Божьей воле, что есть, и что будет на

этой и только этой Земле. Или только Тут, исключительно Здесь, что делает второстепенным религиозную или государственную принадлежность: «Я просто здешний человек».

Отсюда у нас так крепки языческие «пережитки», преисполненные предковской традицией, «народной религией» (С. Будный), «паганской» верой, что восходит к древнеримскому *paganus*, означавшему исходно «сельский». Словом, вера-убеждение крестьянско-землеробская, «деревенская», где звучит и «древность» и «древесность». Значит, «от Земли», которая неизменно Тут.

Тутошность – как родовая отметина, которой одарен не каждый, кто «тут» живет. Оно относится к истому аборигену, то есть естественному хозяину-сыну Земли, имеющим вслед за пращурами собственный тотем – обилие зверей, неизменно добрых-родных. С ними тутошний живет бок о бок, «душа в душу». Посему и Дом его уподобляется-воспевается гнезду птичьему. Ибо «жизнь есть дом. А дом должен быть тепел, удобен и кругл. Работай над этим “круглым домом”, и Бог тебя не оставит на небесах. Он не забудет птички, которая вьет гнездо» (В. Розанов).

«Для ўсялякай птушачкі сваё гняздо міла».

Для всякого человека безмерно мил Дом-гнездо. И не просто так.

В любой нужде,
В своем гнезде –
Еще на зависть доля.

А. Твардовский

Судьба-доля благосклонна, если она под «крылом» Матери.

О греза матери! Она, как пух, тепла,
Она – уют гнезда, хранящего от зла
Птенцов, которые в его уединенье.

А. Рембо

Посему так сильны узы птенцов-детей со своей Матерью, которая преданно Дома-Тут. Отсюда и соответствующее отношение к чужбине.

«На чужбинке словно в домовинке (и одиноко, и немо)».

«Свая хатка – як родная матка».

«Дарагая тая хата, дзе радзіла мяне матка».

Неслышный зов домовитых предков отнюдь не кличет в поход за несвоим. Напротив, предостерегает.

Кто ищет чужого – свое растеряет.
Я хату не кину, пока еще волен,
И к вам не пойду, – может, только с конвоем;
Силком оторвут от порога родного.

Ф. Богушевич

Отсюда свое-родное, каково бы оно ни было, предпочтительнее, по определению.

Не ищи ты счастья-доли
На чужом далеком поле,
Ни за шумными лесами,
Ни за синими морями
Не ищи ты счастья-доли!
Ты найдешь все это рядом,
Там, где мать протяжным ладом
Тихо песню напевала.

Янка Купала

...Исторические документы акцентируют патриархальные устои, когда во главе рода-племени восстоял мужчина-родоначальник.

«Народные же свадебные обряды и песни дают возможность перенестись еще дальше, когда семья была устроена иначе, и во главе ее стоял не отец, а мать...» (Е. Карский).

«Гумно плача без гаспадара, а хата без гаспадыні».

Именно Мать некогда встречала молодоженов у Дома, держа хлеб-соль, как символ плодородия Земли-Женщины, целостность которой исстари боготворил белорус.

«Жонка як жонка, але мілей родная старонка».

«Зямелька – матка наша: і корміць, і поіць, і адзявае нас».

«Дай зямлі, і яна табе дасць».

«На добрай зямлі добрая надзея».

«Старая» ли Земля, «новая» ли, она остается условием Домо-семейного благополучия-добробыта, и залогом-спасением из, казалось бы, самых безвыходных ситуаций.

А дзе ж той выхад? дзе збавенне
З няволі цяжкай, з паланення?
Адзін ён ёсць: зямля, зямля,
Свой пэўны кут, свая ралля...

.....
Зямля не зменіць і не здрадзіць,
Зямля паможа і дарадзіць,
Зямля дасць волі, дасць і сілы,
Зямля паслужыць да магілы,
Зямля дзяцей тваіх не кіне,
Зямля – аснова ўсёй айчыне.

Якуб Колас «Новая земля»

...Изба. Хата. Не случайно эти слова, означающие Дом-жилище, женского рода, на всю семью, минимум на три поколения. Белорус же желает еще большего уединения, как ребенок, мечтает о своем-родном куте, чтобы птенцом всецело «окутаться» уютom, хранящим от зла.

К табе я ў думках залятаю
І там душою спачываю.

Якуб Колас

Так что «родны кут», тем более запрятанный в первородной природной глуши, служил наиболее безопасным местом от всяческой напасти-нашествия, что приучало жить не большими, а то и вообще крохотными сообществами. Кутками-хуторками.

Есть много уголков в литовских пущах,
Средь беловежских чащ укрытий много,
Куда волнений гребни не дохлынут,
Не долетит военная тревога,
Ни вражеское злобное глумленье,
Ни горький звук мучительного стона...

А. Мицкевич

Действительно вместе с завалинками они скорее напоминали прифронтовую землянку-укрытие, осторожно выглядывающее за бруствер. Разве что по печному-куренному дыму белорус-литвин ориентировался. Отсюда дымами и называли отдельные семейные дома-дворища.

Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.

С. Есенин

Родной Дом ностальгирует естеством, простотой, почерпнутой из детства, когда радовало малое-доступное, пренебрегалось большое-избыточное, а достаточная бедность только возносилась над нищетой духа, над слепой роскошью.

Дом бедных – не алтарный ли ковчег?
Дом бедных – это детская ладонь,
что брезгует имуществом стыдливо,
предпочитая маленькое диво,
жучка, чья челюсть светится красиво
или песок, бегущий торопливо...
...убогое жилище, где настала
ночь, вечное предвестие начала,
откуда звезды все произошли.

Р. М. Рильке

Такая поэтика предельно созвучна «тонкому» Востоку, обожествляющему великую скромность Простоты-Естества, уважительно выказывающего всякую песчинку-букашку, травинку-сучок.

Я – светлячок полуночный.
Мне слаще всего полынь
У хижины одинокой.

Кикаку

Ничегошеньки нет
в моем доме
– только прохлада и душевный покой...

Исса

Какой приют веселый
Нищего постель!
Всю ночь поют цикады...

Тиё

Циновка,
Стол
И прелесть гор и рек.
Немного отойду и возвращаюсь,
Любуюсь – до чего красиво здесь.
Вот домик мой, вот ручеек журчащий,
А вот тростник поднялся словно лес.
Глаза туманятся слезой невольной.
«Цветы Сливы в Золотой Вазе, или Цзинь, Пин, Мэй»

...«Мила, бесконечно мила» поэту деревенская изба-хата, с ее сажей над заслонками, со всей ее живностью: котом, который крадется к парному молоку, и курами, и петухом, и щенками, забравшимися в хомуты. С крестьянской незамысловатой утварью – признаком «духовной благодати», метафизической надежности как преисполнение надежды.

«Ветхая лачужка», что «и печальна и темна» беззаветно и достойно, легко находя общий язык, вступает в диалог с бурей, что подобно зверю воет, то «заплачет, как дитя».

То по кровле обветшалою
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.

А. Пушкин

Родной Дом боготворится не за «красные углы», но за бесподобные «пирог», испеченные в благодатном очаге родословия.

Бедна моя хатка, приткнулася с края
Меж голых каменьев у самого гая...
.....
А звали ведь, сватали в новую хату
С землей урожайной и девкой богатой,
Мол, будешь ты ездить, хозяин счастливый,
Как важный ассессор, на паре ретивой.
Да нет, мне желанней свой угол убогий,
Песок у могилы, валун при дороге...

Янка Купала

И самая захудалая хатка-лачужка родная принимается как неоценимое наследие-приданое родственных судеб. Даже «до-

мик, ужасно похожий на маленькую, горбатую старушку в чепце».

«Он мал, в один маленький этаж и в три окна. Оштукатуренный в белый цвет, с черепичной крышей и ободранной трубой, он весь утонул в зелени шелковиц, акаций и тополей, посаженных дедами и прадедами теперешних хозяев» (А. Чехов «Приданое»).

...Хижина. Она «сильна блаженной силой нищеты», отречением от излишеств и «означает, прежде всего, сосредоточенное одиночество», которое подвигает к глубинной, метафизической всевмещающей Простоте.

«Хижина настолько проста, что она не принадлежит миру воспоминаний, порой слишком красочных. Она принадлежит миру легенд. Это центр легенды. Кто не мечтал о хижине при виде далекого огонька, затерянного в ночи? А углубившись еще дальше в мир легенды, кто не мечтал о хижине отшельника?» (Г. Башляр).

Хоть тесновато в хижине убогой,
Но там вдали, за крошечным окном
Мне холмик кажется уже горой высокой
И морем – обмелевший водоем.

«Цветы Сливы в Золотой Вазе»

Натура поэтическая, живущая в ауре неги-предчувствий, мечтаний-грез, нуждается в Простоте, ищет ее и тут же роднится с ней.

...Я нанял светлый дом.
С диваном, с камельком;
Три комнатки простые –
В них злата, бронзы нет,
И ткани выписные
Не кроют их паркет.

А. Пушкин

Здесь-то и тянется перо пиита к обоготворению столь же «простой» родственной природы, что звалась «простецким» именем Татьяна.

...Сейчас отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этот блеск, и шум, и чад
За полку книг, за дикий сад,
За наше бедное жилище,
За те места, где в первый раз...

...Родной Дом прямо-таки судьбоносен, словно неутомимый волхв-иннок, несущий из поколения в поколения сокровища-дары намоленной старины.

«...Счастливая судьба сидеть в тихой комнате, в наследственном доме, среди оседлых, ручных вещей, слушать синиц, пробующих голоса в зеленой прохладе сада, и бой деревенских часов вдалеке. Сидеть, разглядывать карминную полоску заката, многое знать о минувших девушках – быть поэтом» (Р. М. Рильке).

Возвращение к Родному Дому и пространственно-временному далека преисполняет великими незабываемыми чувствами-переживаниями.

...И наземь соскочил; а лошади лениво
Травую занялись, потряхивая гривой.
.....
Но шляхтич ждать не стал, пока придет
прислуга,
Он снял засов и дом приветствовал как друга;
Давно он не был здесь, он в городе далеко
Науки изучал и вот дождался срока.
Вбежал он в комнаты, взглянул на стены дома, –
Все было здесь ему так близко, так знакомо.

А. Мицкевич «Пан Тадеуш»

Великий поэт, несомненно, чувствовал, что значит быть-творить на чужбине, пусть даже и весьма респектабельной, но в неодолимом далеке от родного Новогрудка, от берега Свитязя. И что эта «близость» имеет исключительно не физическое, но экзистенциальное измерение-преображение.

«Я уже не безымянное тело, выброшенное на берег, я обретаю себя – в этом доме я родился, память моя полна его запахами, прохладой его прихожих, голосами, что звучали в его

стенах. Даже кваканье лягушек в лужах – и то донеслось до меня» (Экзюпери).

И Дом к тому сигналил и невидимостью памяти-грез, и ясной созерцаемостью яви каждой из его деталей-черточек.

...И сеном и старою
Крышей сарая...
За тысячу верст
От отцовского края...

А. Твардовский

Трудно, пожалуй, понять,
Отчего, прощаясь, каждый из нас
Берет с собой горстку
Тревожной этой земли.

Максим Танк

В этом незамысловатом жесте «последняя» возможность не разлучаться с Родным Домом, исконным Земляком. И явствует особое отчаяние-драма, когда разлука эта видится безвозвратной.

«...Не спала Матрена две ночи. Нелегко ей было решиться... Но жутко ей было начать ломать ту крышу, под которой прожила сорок лет. Даже мне, постояльцу, было больно, что начнут отрывать доски и выворачивать бревна дома. А для Матрены было это – конец ее жизни всей» (А. Солженицын «Матренин двор»).

Безвозвратная утрата Родного Дома пагубно для обоих, что не остается без сострадательного соучастия.

Низкий дом без меня ссутулится,
Старый пес мой давно издох.
На московских изогнутых улицах
Умереть, знать, сулил мне Бог.

С. Есенин

И так убивается нечто не просто живое, но жизненно важное, жизнетворящее, имеющее свою возвращенную в родной местности судьбу-имя.

...На хуторе Загорье
В былые времена
Леса, поля и взгорья
Имели имена.

А. Твардовский

Поэтому где бы ни находился поэт, он видит себя рядом со своим Родным Домом, остается верен ему. Пусть даже и «родному пепелищу», «дыму Отечества».

Все равно остался я поэтом
Золотой, бревенчатой избы.

С. Есенин

Благодаря вольно-невольному сохранению-сбережению ощущений детства, когда-то отправившего в плавание по волнам архетипической памяти.

Где бы ни были мы, но по-прежнему
Неизменно уверены в том,
Что нас примет с любовью и нежностью
Наша пристань – родительский дом.

М. Рябинин

Неписанная памятка для «блудных сыновей», только и мечтающих войти в Родимый Дом.

И хорошо за стол свой сесть
В кругу родном и тесном,
И, отдыхая, хлеб свой есть,
И день хвалить чудесный.

А. Твардовский

...Верный сын-наследник того самого Загорья, что на самом краю Белорусского Полесья, проникновенно вспоминал, как его мать в дальней вынужденной высылке страдала – сетовала лишь об одном.

...Как не хотелось там ей помирать, –
Уж очень было кладбище немилое...
И ей, бывало, виделось во сне

Не столько дом и двор со всеми справками,
А взгорок тот в родимой стороне
С крестами под березами кудрявыми.

А. Твардовский «Памяти матери»

Мой дом – поросший чернобыльем,
С сухой осиною курган,
Где тлеют прадедов останки...

Янка Купала

...Неспроста в крестьянской среде-семье бытовало убеждение, что человек должен встретить смерть в Родном Доме в окружении детей-внуков, родных-близких.

«На сваей лаўцы і ўмерець харашо».

Положите меня в русской рубашке
Под иконами умирать.

С. Есенин

Истинной же славой, чувством исполненного долга искони овеивается спасительная жертвенность, осознанная гибель за Родной Дом, где «дедом, прадедом и отцом в нем исхоженные полы...».

Вам не случилось быть при том,
Когда в ваш дом родной
Входил, гремя своим ружьем,
Солдат земли иной?

.....
И бог не приведи!

К. Симонов

Тогда невольно вскипает и разум возмущенный, и сердце жгучее вырывается из груди, восставая в заветный тягостный поход.

Хоть кружным, может быть, путем –
Дойдем, придем с победой
Домой!

А. Твардовский

Смысл жизни-бытия сохраняется-воскресает вместе с восстановлением утраченного Дома-рода.

Коль ждате жєну с дєтьми,
Так надо строить хату.

А. Твардовский

Родной Дом – для грядущих поколений-потомков. Каковы бы ни были посылы-обещания и даже реальные блага вдали от него, в самых щедрых гостях, настает время признания: «... А мы отъезжаем до дома, до хаты».

«Вся семья вместе, так и душа на месте».
Мы расчынїм вам дзверы гасцїнна
І сустрэнем, як родных сваїх,
Ды на покуць, як быць і павїнна,
Вас пасадзїм, гасцей дарагїх.

Якуб Колас

Благодарность такова закономерно-заслуженна, ибо дает исполниться Человеку много-глубоко знающему-чувствующему.

Спасибо, моя родная
Земля, мой отчий дом,
За все, что от жизни знаю,
Что в сердце ношу своем.

А. Твардовский

И уж истинно то, «что в любых испытаниях у нас никому не отнять» (М. Матусовский). Как не отнять-вымарать врожденные образы бессознательного, живого доказательства вечного возвращения.

Дома без Огня не бывает, или Гость на Пороге

Я знаю, что здесь я был до рожденья
и сюда вернусь навек

Томас Харди

«Вечное возвращение». Наиболее адекватное его проявление действительно наблюдается в феномене бессознательного, в архетипическом существе нашего мировосприятия, в имманентной интенции нашего воображения.

«Воображение без конца возвращается к исходным темам, неустанно воспроизводит работу примитивной души, вопреки достижениям высокоразвитой мысли и выводам научных экспериментов» (Г. Башляр).

К тому исходному «материалу», из которого строится-возводится «дом-здание» всякого семантически вмняемого про-из-ведения. Тем более в бытии-становлении великих образов, которые не возникают здесь-сейчас, но имеют свою «как историю, так и предысторию».

«Наше переживание образа никогда не является первым. Каждый великий образ имеет неизмеримую онирическую глубину, и наше личное прошлое накладывает особые краски на этот онирический фон. Вот почему подлинное благоговение перед образом приходит к нам нескоро, с открытием его корней за пределами запечатлевшейся в памяти истории» (Г. Башляр «Поэтика пространства»).

К констатации этого метафизического факта неминуемо приходит всякая натура, ищущая объяснение-оправдание своим деяниям, творчеству-искусству, исполнению человека в Человеке.

«...При всей беспредельности нашей творческой мощи в искусстве оно все же подчинено и здесь некоторым началам, которые тоже не нами изобретены, которые существовали ранее всего нашего творчества, которые, как все вечные истины, воз-

действовали на нас задолго до того, как мы их осознали» (П. Чаадаев).

Эти первоначала И. Кант назвал «априорными знаниями», что в поэтическом воображении рисовалось трансисторическим единением душ.

«Души наших предков... остаются для нас органическим проявлением самого земного бытия, изобразившегося в них как достоверное былое, и нам не найти более целесообразных приспособлений, когда мы намерены точнее исследовать изначальную соразмерность мироздания в его прежнем взаимодействии с теми, кем оно населено» (Новалис).

Так что Человеческое воображение напоминает весьма просторный и обустроенный Дом, где нет ничего лишнего и все обстоятельно разложено по «полочкам», и отыскивает словно само по себе, по некоему неуправляемому хотению-велению.

Ныне же эти сокровенные исходные начала начал, вслед за К. Г. Юнгом, называют архетипами, врожденными перво-смыслами, знаками-символами. Кроме этого, определения-эпитеты архетипам даются самые разные: «коллективный осадок исторического прошлого», «коллективное бессознательное», и что особенно важно – «моменты самой жизни», «типичный способ понимания»... При всем многообразии этих оценок нетрудно заметить, что каждая, по существу, отражает одну и ту же черту первомыслей, а именно их генетическую связь с наиболее фундаментальными свойствами-потребностями, мечтами-достояниями человека.

«...Тот, кто говорит архетипами, глаголет как бы тысячей голосов... он поднимает изображаемое им из мира единократного и преходящего в сферу вечного; притом и свою личную судьбу он возвышает до всечеловеческой судьбы» (К. Г. Юнг).

«Существует... психическая система универсальной и безличной природы, идентичная у всех членов вида *Homo sapiens*. Это коллективное бессознательное именно наследуется, а не развивается индивидуально».

В юнгианской теории приоритетное значение имеют архетипические феномены Ее-Его. Так, Анима – «душа», женская часть психики, и Анимус – «душа» мужского рода. Как в мужской психике присутствует дух Анимы, так и женская психика

не обделена проявлениями Анимуса. Симбиотическое единство Анима-Анимус в их настроении, которое «появляется на свет из темных глубин», «основывается на столь же бессознательных априорных предпосылках» (К. Г. Юнг). При этом Анима – это, прежде всего, источник чувства и настроения мужчины, проводника, точнее, проводницы между сознанием мужчины и его Бессознательным.

Самым непосредственным образом сия душевная «диффузия» есть-пошла из естества совместного, «андрогинного» жития-бытия, что и обуславливает столь же архетипический феномен Дома, семейного крова-эгиды для живой жизни «душа в душу».

Посему можно сказать, что «человек всегда носит с собою всю свою историю и историю человечества» (К. Г. Юнг). Фактически историю Дома, уникального доминантного архетипа, всякий раз освящающего путь, где «мечтателю, грезящему об очаге, открывается область, лежащая за пределами самого раннего пласта памяти, – область незапамятного» (Г. Башляр). И сцепленного с нами «мистическим соучастием» так, что и используется для обозначения отношений, в которых «человек не может отделить себя от воспринимаемого объекта или предмета» (Л. Леви-Брюль).

Так что наша история-культура подобна неразъемной цепи, что позволяет черпать и черпать идеи-образы из мистического кладезя «вечных истин» и обволакивать в них события-судьбу. И не ее ли, из века в век скользящую, чувствует и современный пиит как «ностальгию по настоящему» (А. Вознесенский).

«Все события мира должны быть так тесно связаны между собою и цепляться одно за другое, как кольца в цепи. Если одно кольцо будет вырвано, то цепь разрывается... Связь эта должна заключаться в одной общей мысли: в одной неразрывной истории человечества, перед которою и государства и события – временные формы и образы!» (Н. Гоголь).

Дом же и есть принципиальное со-бытие Человека. Именно поэтому «навек потерянные дома продолжают жить в нас. Стремление дома выжить в нашей душе так упорно, словно он ждет, что мы продлим его реальное бытие. Насколько лучше могли бы мы жить в нем!» (Г. Башляр).

И волей-неволей продлеваем весьма реально-повседневное бытие, укоренившись в нем творчеством Дома, который предсуществует в нас, и мы живем им. Ведь наше бессознательное имеет «место жительства». Душа есть жилище. И когда мы вспоминаем о «домах», о «комнатах», мы учимся «жить» в самих себе. «Уже теперь очевидно, что образы дома двойственны: они обитают в нас так же, как мы обитаем в них» (Г. Башляр).

«Блажен тот, кто существует до того, как он появился. Ибо тот, кто существует, был и будет» (Евангелие от Филиппа).

Ибо вековечен как ювенильный пласт бытия-культуры, как наш «уголок мира», это «наш первомир» (Г. Башляр). А произрастающий из него мир последующий также вполне уподобляется Дому.

«... Верхний этаж был возведен в XIX веке, нижний относится к XVI веку, а более тщательное обследование постройки позволяет обнаружить в ее основании башню II столетия. В подвале предстает римский фундамент, а еще ниже находится замурованная пещера – в верхних слоях ее пола мы открываем кремневые орудия, а в более глубоких – остатки ледниковой фауны. Примерно так можно было бы изобразить структуру нашей души» (К. Г. Юнг).

И чем глубже «зарываешься» основой-корнями этого сооружения-растения, тем выше, увереннее поднимаешься в обозрении-понимании «нашей души». А она склонна принимать мир целостными образами, гештальтами. Отсюда и Дом изначально предстает явлением органически целостным. Так было в «детстве» культуры, так есть в детстве всякого человека. В благоую пору, свободную от рефлексии-противопоставления Я и Не-Я, Субъект-Объект, вольготно упивается естественным волшебством всеобщего единения – одушевления-анимации, «очеловечивания» таимного мира.

«Наши личности являются частью окружающего мира, и их тайна также безгранична» (К. Г. Юнг).

Потому-то позитивность «психологической истории» или культурогенеза бессильна перед определением подлинного бытия нашего детства, которое, конечно, больше, чем реальность (Г. Башляр).

Реально-очевидно лишь то, что человек в любом возраст-эпохе навещая пещеру, лачугу, землянку, шалаш увидит-

представит над собой свод-кров. Устье-лаз в некой толще он назовет входом, видя в толще стену, а в грунте под ногами пол. Неугомонное воображение рисует и небо величественным сводом, леса-горы – стенами, землю – ложем-лоном, просвет в облаках – окном... А вот дождь идет стеной, река перекачивается через пороги, предгорья поднимаются ступенями, птицы порхают в верхних этажах леса...

Собравшись в-месте они и одаривают чувством-имением родного ДомМестоса. Слово наследством-достоянием, которое не отнесешь в музей, не положишь на полку, не заложишь в ломбард. Да и детям-внукам передашь явлением нерукотворным, символическим, но отнюдь не призрачным и тем более никчемным.

«Изба простолюдина – это символ понятий и отношений к миру, выработанных еще до него его отцами и предками, которые неосознанный и далекий мир подчинили себе уподоблениями вещам их кротких очагов» (С. Есенин).

И все они в веках-традициях обретают неисчерпаемое воплощение, богатую палитру коннотаций в бытовой речи и высокой поэзии, в мифах и изобразительном искусстве, наконец, в философии и даже в математике и астрофизике в качестве метафор, единственно возможных для обозначения труднообъясняемых явлений и парадоксов...

Так что Дом синтетично-синкретичен, причем настолько, что к нему следует относиться как к сложносоставному метатипу, состоящему из столь же архетипичных «кирпичиков», только которыми и живет-выстает Дом. И возвещает собой в качестве всякий раз уникального сложноподчиненного текста – мифа-предания, сказа-легенды, текста, имеющего самобытную архитектурную и метафизическую грамматику, специфический синтаксис-стилистику, накопленный в веках тезаурус-словарь.

«Слово», что было в начале начал Дома – Стена. И с ней навсегда отозвался опыт различания границ-пределов, отделяющих качественно различные пространства-среды. Ведь «...культура же по самой своей природе строит себя как пространство замкнутое. Из этого противоречия вытекает то, что в самой основе идеи культуры лежит существование другого, противостоящего ей мира. Мир этот может получать в алфави-

те культуры различные названия: природы, враждебных существ (покойников, чужих богов, злых духов, волшебных зверей...» (М. Лотман).

Своеобразный культ заслонов-преград исходно и в полной мере воплотился в Доме в силу его «пограничного» статуса-предназначения.

«С одной стороны, дом принадлежит человеку, олицетворяя целостный вещный мир человека. С другой стороны, дом связывает человека с внешним миром, являясь в определенном смысле репликой внешнего мира, уменьшенного до размеров человека» (О. Шпенглер).

Стены создают оболочку-футляр жизненного мира, дают косяк человеческой размерности, предстают событием «складки» (Ж. Делез), благодаря которой человек реализует-исполняет свою естественную потребность в защищенности, онтологически не имея для этого прочих средств. Его ущербная телесность исходно нуждалась в более прочном теле, усиленном контуре безопасности. И добилась своего Дома, став с ним единым телом-целым.

Изначально смысл-образ стены, понятно, навеяли-утвердили монолитные, нерушимые и уже «готовые» уступы пещер, за что и были облюбованы нашими пращурами. Ныне «воображение возводит “стены”» из бесплотных теней, ободряет себя иллюзией защищенности и при виртуально-символических стенах-границах или, напротив, дрожит за толстенными стенами Дома-бункера, подспудно сомневается в прочности-надежности...

Тем не менее вполне осязаемо-видимая Стена остается архетипическим атрибутом Дома. Ведь трудно не согласиться с тем, что «жизнь человеческая без дома, т. е. без какого-то пространства, вокруг которого могут возводиться стены (круглые, квадратные и т. д.), практически немислима... Мы не представляем себе жизни вне дома. Куда бы мы ни пришли – мы замыкаем пространство вокруг себя, обязательно вспоминаем или думаем о доме» (М. Мамардашвили). И тем отдаем должное Стене, несущей ответственность за прочность-устойчивость Дома, за убеждение-уверение домочадцев, что реально «как за каменной стеной».

«Дома и стены помогают» – буквальнее, пожалуй, не скажешь. Поскольку Стена испокон веку совмещает и материальную непроницаемость, и символическую эгиду-предстательство. За определенные проступки-прегрешения ветхозаветники ждали Господне наказание: «И разрушу стену... и повергну ее на землю..., и вот падет стена..., и вместе с нею вы погибнете». Тогда справедливо и то, что Дом помогает Стене сбыться-исполниться более чем как таковой, глубоко символичной. Так, в Стене выказываются наши всегда насущные восторгистенания по поводу взаимоотношений людей: уважение устоявшегося порядка и наглость, без-за-стенчивость, воздержания-попытки проникнуть к нам «со своим уставом». Так что она разводит по разные стороны неприятелей, и она духовно сплачивает людей-единоверцев, невольно сродняет, подвигает «становиться стеной» на защиту родоплеменной или идеологической со-в-местности – общего Дома, каких размеров-материалов он бы ни был.

Поэтому Стена может сказать-обнаружить больше о своем владельце, чем непосредственное общение с ним, что в равной степени справедливо и в отношении целых народов, государств, политических режимов, возводящих культ Стены для своей безопасности-незыблемости.

«Никто не может повредить Стену. Или взобраться на нее. Потому что Стена совершенна» (Х. Мураками).

Историю нравов-догм, стереотипов-канонов можно представить мифом о стенотворении. Как, впрочем, и о стенонизвержении, которое научает: как ни трудись, вечной Стены консервации-отчуждения не наладить. И, казалось бы, крепостная Стена «вдруг» оказывается «карточным домиком».

Именно поэтому образ Стены уже снесенной до основания будирует тревогу-недоумение о судьбе других Домов, тех, что рядом, в-месте едином.

«...Им, очевидно, грозило рухнуть, раз все рядом снесли. Потому что целые леса из длинных осмоленных мачтовых досок, кренясь над загаженным пустырем, подпирали оголенную стену... Про эту-то стену я и толкую все время. Подумают, будто я перед нею долго стоял; но нет же, чем угодно могу поклясться, я пустился бежать, как только ее узнал. В чем ведь ужас – я узнал ее. Я тут все узнаю, вот оно и входит в меня не спросясь, чувствуя себя во мне как дома» (Р. М. Рильке).

Стены образуют-творят заповедные углы-локусы – чуланы, чердаки, подвалы, организуя «вертикальное бытие», взывая к нашему «сознанию вертикальности» (Г. Башляр). Ему потрафляет и Лестница, одним своим видом свидетельствующая о возможности-необходимости подъема-спуска, соединения по вектору земного притяжения «дольный» и «горный» миры, «заземленные» и «небесные» стихии.

Семантика Лестницы обнаруживается-выказывается ступенями. С формальной стороны они – некая «геометрическая конфигурация» (Р. Арнхейм). Если же в них видеть постепенное (по-ступенное) восхождение, отрыв от «нулевого уровня», то они предстают во всем своем символическом блеске «динамического крещендо».

Поскольку жизни «нужна высота», то ей нужны и ступени, противоречие ступеней (Ф. Ницше). В нем обнаруживается общий «закон»: каждая пройденная, преодоленная ступень уступает в своей значимости ступеням предстоящим. Лестница-спуск в подвал-подполье – олицетворяет погружение в потаенные закрома Земли, которая «носит на себе, строя, и она питает, взращивая» (М. Хайдеггер). То есть уподобляет Дом Древу с «кроной» кровли-чердака, где традиционно накапливаются плоды живой жизни не одного поколения домочадцев.

Этому впечатлению реально способствует Дерево в качестве архетипической субстанции Дома-сруба, стены которого росли подобно годовым кольцам – венец вырастал над венцом, бревно приживлялось к бревну-черенку...

Так рождается-мужает родительский Дом, овеществленный символ жизни-вечности.

«Такое отношение к вечности как к родительскому очагу проглядывает и в символе нашего петуха на ставнях» (С. Есенин).

Он словно дает добро Окрытию, самозабвенно возвещает великое, ежедневно-вечное событие – просветление нового дня. И своим пением «певень» освящает-крестит «свой пэўны кут».

«Он говорит всем проходящим мимо избы его через этот символ, что здесь живет человек, исполняющий долг жизни по солнцу» (С. Есенин).

«Свет – самая отрадная вещь: он стал символом всего доброго и спасительного. Во всех религиях он обозначает вечное спасение, а мрак – проклятие» (А. Шопенгауэр).

Дом, живущий внутренним светом – истое спасение не только от мрачных мыслей-помыслов, но предстатель жизни-уютa, олицетворение добра в неугомном нашествии мрака-зла.

«Я постоял немного в раздумье и тихо поплелся назад, чтобы еще взглянуть на дом,.. старый дом, который, казалось, окнами своего мезонина глядел на меня, как глазами, и понимал все» (А. Чехов «Дом с мезонином»).

«Когда я отдаюсь опьянению инверсий мечтания и реальности, то ко мне приходит этот образ: дальний дом и его свет предстает для меня и предо мной как взгляд дома наружу» (Г. Башляр).

Как привечающий взгляд, высвечивающий, что Дом видит, бодрствует, бдит, ожидает. Потухшие Окна как закрытые – на миг, навсегда? Откроются ли они, «брызнут» ли живым огоньком или останутся зияющими глазницами?

Помолись, дружок, за бессонный дом,
За окно с огнем!

М. Цветаева

Тем не менее истое существо-предназначение Дома, его полнозвучная поэтика проявляются отнюдь не на ослепляющем Свете, но в волшебном «зазоре» между полным Светом и абсолютной Тьмой, в их увлекательной игре «в прятки», «казакки-разбойники», «дочки-матери».

Можно и не быть поэтом,
но нельзя терпеть, пойми,
как кричит полоска света,
прищемленного дверьми!

А. Вознесенский

Дом сам живет и дает уживаться в своих закромах Свету-Тьме в богатейшей палитре тонов-полутонов, сродни андрогенности Анима-Анимус. Можно и не быть поэтом, чтобы понять: тьма-тьмущая, темень, темнота, мгла, потемки, сумрак, мрак, тень, мерцание, проблеск, вспышка... – все это, по сути, присутствие Света – степень бодрствования Дома. Или доза охраняемой Тьмы, а с ней и тайны, предчувствия, предвидения – грез Дома.

Более всего они запаливаются в протуберанцах домашнего Очага. Его свет-тепло, искони реально-символически наполняя Дом жизненной энергией, очистительной силой, выразительно указывал на эпицентр Дома-жизни среди мрака-стужи, средоточием общинного бытия, с его надеждой-верой на счастье. Как после этого не одарить Огонь-Очаг самыми магическими качествами, не обожествлять его, не передать на вечное сохранение в «коллективном бессознательном». И даже когда первородный Очаг обзавелся собственным «цивилизованным» обиталищем – печью-камином, он не утратил своего магического значения заботоопекуна.

«...Изредка в потухающем камине вспыхивает тлеющее полено и на мгновение заливаает лица цветом пожарного зарева; но это не портит общей световой гармонии» (А. Чехов).

Древнейшая мудрость по праву воспеваает Огонь-Агни явлением душевным, единым-вечным для всего Космоса, искорки которого мерцают-отражаются в каждом из нас, словно в бликующем в межзвездье Доме. От них загораются вдохновляющие лучины-лампады, свечи на окне – маячки для путника во мраке – свидетельницы: вот Дом живой, со всем своим сокровенным скарбом-сокровищем первообразов.

Такой же, как у приснопамятной Бабы-яги, верной представительницы своего волшебного Очага.

«Эта избушка на курьих ножках расхаживает и даже кружится в каком-то причудливом танце. Она одушевленная, в ней бурлит энергия и радость жизни. Эти качества – краеугольные камни архетипической души Первозданной Женщины, радостной и дикой жизненной силы, где дома пускаются в пляс, где неодушевленные предметы летают словно птицы» (Л. Оливер).

И где Порог, незлобно насмехаясь, всякий раз «выдает колнца», как только захочешь приблизиться-одолеть его.

...Исходно смысл-образ Порога сформировался, очевидно, пред пещерой первобытия, где он представлял лишь некую натоптанную или воображаемую линию-полосу, отделяющую сферу Дома-очага от остального миропростирания – рубеж, выйдя-заступив за который человек оказывался лицом к лицу с неизвестностью, лишался защитного крова.

Этот переход в чужое-чуждое и ныне весьма сильно воздействует на психику-воображение, ведь за ним существенно из-

менялись и условия пребывания, и нормы поведения. Всего этого было вполне достаточно для формирования архетипа, выражающего идею Перехода, издревле связанную со страхом перед неизвестностью и одновременно тягой к ней. Ибо страх обращен из будущего, как неизвестность, а Дом – известность «в последней инстанции» и его оставление – экзистенциальный шаг-провал в противоборство с внешней непредсказуемостью. Она и стоит-ожидает за Порогом Дома и озадачивает вопрошанием «быть или не быть?». Причем, со всеми возможными-воображаемыми жизненными ипостасями-проявлениями «быть» как исполнения пути жизни-судьбы. Посему Порог и трепетная «стартовая линия», и заветная «финишная ленточка» странствия из-к Дому.

«До порога дорога, а от порога – семья».

Зачем же в ночи перед темным порогом
Ты медлишь, как будто бы счастьем томим?

А. Ахматова

Все когда-нибудь
Делают шаг за порог.
Жизнь у всех на дорогах бранных.

Р. Рождественский

Именно эта всеобщая экзистенциальная универсальность и необходимость Порога послужила его вхождению в сонм архетипов как «линии жизни-смерти», как момент решающего, следовательно, волнующего выбора.

«Любое вхождение в какое-то место, любой выход из этого или иного замкнутого пространства более или менее драматичны... иногда настолько, что появляются всевозможные суеверия и ритуалы, связанные с “порогом” и “притолокой”» (Х. Ортега-и-Гассет).

Практически у всех народов накопилась устойчивая фетишизация и суеверное отношение к Порогу, облакаемое в магические обряды-нормы, всевозможные табу. И поддерживаемые религиозно-суеверным представлением «о какой-то таящейся в пороге опасности, которая грозит тому, кто на него наступит или сядет» (Дж. Фрэзер).

Порог Дома – порог-начало событий, динамики помысла-поступка. Реликтовое переживание этой своеобразной инициации, видимо, и наделило-одарило Пороги выдающимся мифо-энергетическим импульсом. Посему издревле не поощрялось стояние на них, особенно равнодушно-бесцельное.

Архаические халдеи, например, заклинали: «...чтобы удерживать всякое близкое зло, поставь бога Латарака у двери... Поставь образы богов-стражей Эа и Мардука у порога...».

«Вон – Бог, вон – порог».

Ветхозаветный пророк предсказывал неминуемое Божье наказание осквернителям Порога:

«...Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманно».

«Китайцы полагают, что если кто ступит на порог, то это грозит ему несчастьем» (Марко Поло).

Накоплена немалая «библиотека»-сокровищница заговоров-заклинаний и обширная коллекция талисманов-амулетов, дабы обойти гнев Порогов. И «не пускать на-за порог» – так же старо, как и мир, как культ Дома. Находящийся за Порогом обладает признаками непредсказуемого чужака-пришельца. Отсюда наше неосознаваемое правило обмениваться с кем-либо рукопожатием, будучи только по одну сторону Порога, а точнее, внутри Дома. «Через порог руки не подают». Ведь протянутая для пожатия рука – знак готовности помочь, буквально вытащить из любой затруднительной ситуации. Поэтому сложившийся жест-обыкновение предостерегает от неприязни-нападков, всякой каверзы, но сближает-роднит как бы общим теперь Домом.

«Через порог ничего не принимай – будет ссора».

Нерукопожатному отказывают не в простом жесте, но в своем соучастии в его презренных делах-делишках, и в целом в общении, в гостеприимстве.

«Гостя встречай за порогом и пускай вперед себя за порог».

«Гость в дом – Бог в дом!» – есть на Кавказе такая поговорка. А она, как, впрочем, и все остальные – не досужая выдумка, но обобщенная веками мудрость бытия, признающая в добром пришельце привносителя благополучия-удачи. Для этого Дом

реально преображается, становится исключительно благопристойным, всячески привечающим, словно исполняет некую высшую заповедь, хотя ее как таковую не обозначают «законы Божьи». Земные же правила-правители не преминули засвидетельствовать благодать гостеприимства.

«И более же всего чтите гостя, откуда бы он к вам ни пришел, простолюдин ли, или знатный посол... Ни единого человека не пропустите, не поприветствовав его и не подарив его добрым словом» (Владимир Мономах).

«Если случится приветить приезжих людей, торговых ли, или иноземцев, иных гостей, званых ли, Богом ли данных : богатых или бедных, священников или монахов, – то хозяину и хозяйке следует быть приветливыми и должную честь воздавать по чину и по достоинству каждого человека. С любовью и благодарностью, ласковым словом каждого из них почтить, со всяким поговорить и добрым словом приветить.., каждого чем-то выделить и всякого порадовать» (Сильвестр «Домострой»).

Гостеприимство – то из немногочисленного обихода культуры, которое предполагает априорную эмпатию и заведомую заботу – приютить кого-то к Дому стороннего и дать ему кров. А это нередко означало спасти ему жизнь, будь он хорошо знакомый или случайный незнакомец. Посему приемство гостя исполняет преемство традиции, усматривающей, что и с тобой в аналогичной ситуации поступят также.

Издревле полагалось, что моральный долг по отношению к гостям состоит в том, чтобы оказывать им почести не только ради них самих, но и ради собственной добродетели – чтобы совершенствовать душу, исполнить спасительно-защитное предназначение Дома в наиболее широком бытийно-жизненном контексте (К. Леви-Стросс).

Гость, особенно случайно-нечаянный, в отличие даже от дальнего родственника реально Другой-сторонний. И поскольку особая сущность человека прямо познается лишь в живом межличностном отношении, то познается-понимается во встрече Одного-себя и Другого. Это когда Я или Другой сопрягаются в Я-и-Другой, органично снимая приснопамятную проблему-конфликт.

«Рассматривая человека с человеком, всякий раз увидишь динамическую двойственность, которая вместе с тем есть и

сущность человека: тут и дающий, и приемлющий, тут и наступательный порыв, и защитное действие, тут и исследователь, и его оппонент – и всегда то и другое в одном дополняющем обоих и составляющем человека взаимопроникновении» (М. Бубер).

Благоприимство гостя исходно зиждется на доверии-вверении хозяина Дома, прибирающего гостя в самом сокровенном Месте, отворяя Свой Дом, словно свою душу-существо. И не всяк-всегда отважится на это откровение.

Да и для гостя, особенно впервые вступившего под неведомый кров, переживания-погружения в иномир. Отсюда впервые навещенный Дом настораживает, озадачивает и тем возбуждает исследовательский интерес, тягу понять-сориентироваться в его ДомМестосе.

Гостеприимный хозяин без просьб-наставлений показывает-открывает новому гостю все «двери-углы» Своего Дома, позволяя заглянуть-изведать его углы-закрома. То есть, скорее, и, не подозревая о том, совершает поистине ритуальное действие – посвящение гостя в сокровенную тайну, после чего устанавливается взаимное доверие. Расслабляется и хозяин-«гид», выполнивший принципиальное действие самобытной инициации одомашнения. И приятное метафизическое у-гостьщение.

Так странник, что пришел издалека, –
Ему советы мудрые нужны.
Коль не поддержат люди чужака –
В иные дали уведут пути.

Ли Бо

Скрытное, внезапное, незванное проникновение в Домотайну осуждалось на самом «высшем» уровне религиозных предписаний.

«О вы, которые уверовали, не входите в дома, кроме ваших домов, пока не спросите позволения и пожелаете мира обитателям их. Это – лучше для вас, – может быть, вы опомнитесь!» (Коран).

Гостеприимство – преддружба Домами, расширение своего Дома до Дома нашего.

«... Входя в дом, приветствуйте его, говоря: “Мир дому сему...”» (Мф. 10:12).

И только так, поскольку впустивший в себя Дом уже находится под попечительством собственных сил-божеств, которые априори принимает как факт-данность пришелец, поскольку и сам он имеет «свои пенаты», освящающие Дом его.

«Человек, который живет в своем доме, в своем клане, живет в светском мире, но как только он отправляется в путешествие и оказывается в качестве чужака вблизи неизвестного лагеря, то оказывается уже в сфере сакрального» (А. ван Геннеп).

Вне зависимости от формы исполнения обряда гостеприимства забота, ублажение, почет гостя надежно сохраняется практически всеми народами в качестве культовой традиции, сущности-достояния родной культуры.

Поэтому гостеприимство «тутошнего» также своеобразно. И стар и млад здороваются-приветствуют любого, пусть даже нездешнего и видимого впервые. Однако не без осторожности, недоверчивости – уж больно много недругов-нашествий хранится в его генетической памяти. Поэтому, если проезжему случалось ночевать в пути, он избегал останавливаться в корчме, но тянул-заезжал в Дом к знакомому крестьянину, где пользовался традиционно радушным приемом. Хозяйка заботилась, чтобы накормить путника. И для него ничего не жалели. Не отведать каждого блюда значило бы обидеть хозяев, которые после трапезы отводили гостя в особо чистую светлицу, накладывали ему пуховиков-подушек, а напоследок, уже в постель, подносили рюмочку – на сон грядущий. И делалось это искренне, от всей души.

Основным сюжетом нередко весьма сложного обрядоритуала гостеприимства искони укрепились непосредственная встреча хозяина Дома и гостя. Форма-атрибутика этого действия зависела от многих причин-условий, в том числе от важности статуса-сословности гостя. Властную особу обыкновенно встречали-проводжали аж за дни пути от Дома, тем распростирая свою приветливость-заботу, словно раздвигая его стены, выстилая от Порога ковровую дорожку.

В традиционно чинопочитающем Китае домашние визиты между сановниками исполнялись по элитному этикету – с предварительной доставкой визитной карточки «Мин Те». Это

был однозначный сигнал к тщательному приготовлению Дома и всех домочадцев, от которых требовалась безупречная форма-опрятность одеяния. Обязывалось и самобытное взаимное отдавание чести-сигнала к началу главного сюжета выразительного представления: погружения за внешние кулисы Дома-театра. Там гостя ждала торжественная, многосложная церемония, где самобытно подтверждалось всеобщее правило: «Не красна изба углами, а красна пирогами».

В завершении истого торжества гостеприимства исполнялось неизменное, само по себе церемониальное чаепитие, а также беседа, когда собеседники обязаны быть серьезными, умудриться не блуждать взглядом по сторонам, не смотря при этом в глаза друг другу. Только после этого начинается сугубо акт расставания. Гости решаются попрощаться, а хозяин уговаривает их остаться. И только после трех «неудачных» попыток уговора остаться, гостевание подходило к завершению... до следующего радушного прихода, задумываться-заботиться о котором никогда не рано.

...Вино все вышло. Чем же гостя встречу?
Я в глиняные чашки чай налью
И разговор наш боль души излечит,
В беседе тихой он забудет скорбь свою.
Так мало – и уж счастлив человек!

«Цветы Сливы в Золотой Вазе»

В нашей традиции проблемы царили отнюдь не «чаепитейные». Им «Домострой» Сильвестра обстоятельно уделял достаточно много внимания:

«...А к этому добавь еще: когда пригласят тебя на пир, не упивайся до страшного опьянения и не сиди допоздна, потому что во многом питии и в долгом сидении рождается брань и свара и драка, а то и кровопролитие... И хозяин с этим – к тебе упрек: спать к себе не идешь, а его домочадцам нет и покоя и времени для других гостей... А если гости или гостьи между собой разругаются – их унимать осторожненько, а кто уже не в себе – бережно препроводить его ко двору его и от всякой драки по пути уберечь».

Расставание, каким бы оно ни было, всегда-всюду не оставляло его участников равнодушными и каждая культура внесла

свою лепту в фольклорное собрание обрядов-ритуалов из этой ипостаси-судьбы Дома.

В анналах истории труднейших, зачастую невозвратных отбываний китайцев из Дома тема расставания неизменно доминировала, преисполняя и поэзию чувством лишения-потери. Одним словом, разлука с ее грустью-горечью, зачастую невосполнимой и отчаянной.

...Гость скрылся, но луны остался круг,
Гора пуста, но все журчит ручей.

.....

Живое и ушедшее во мне
Соединились в песнь о встрече той.

Тао Юаньмин

Такое душевное откровение сродни молитве, которая невольно возникает на пороге Дома с невидимым духом Разлуки, вокруг которой разворачивается драма расставанья-встречи. Причем, драма неизбежная, всякой судьбе присущая.

«Встречаются, чтоб разлучаться...» (И. Северянин).

«Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены...» (Ю. Визбор).

При этом отличие пиитов от всех иных с судьбой-разлучницей разве что в остроте ее переживания и яркости слововыражения.

...И вот теперь ее отъезд,
Насильственный, быть может!
Разлука их обоих съест,
Тоска с костями сложет.

Б. Пастернак «Разлука»

Ты меня на рассвете разбудишь,
проводить необутая выйдешь.
Ты меня никогда не забудешь.
Ты меня никогда не увидишь.

А. Вознесенский

И я, и я в разлуке изнемог!
И я – в тоске! Я гнусь под тяжкой ношей...

И. Северянин

Черную и прочную разлуку
Я несусь с тобой наравне.

А. Ахматова

...Порог Дома – наиболее подходящая авансцена для исполнения Разлукой своего феноменального воздействия. Здесь и оглашается: «Прощай!». Сугубо русское заклинание-просьба простить все обидное бывшее, поскольку разлука на пороге необъятных просторов может оказаться неприемлемо долгой, и другой случай покаяться может и не представиться.

У «тутейшего», по определению, такого отчаяния при расставании нет, и «бывай!» не отзывается безысходностью. Хотя «развітання» также указывает на лишение чего-то важно-доброе для жизни-жития (*vita* – лат. жизнь). Факт весьма весомый для восхождения разлучно-случного события, а с ним и Порога в сонм архетипов, ибо их исполнение-предназначение обусловлено отнюдь не безразличной случайностью.

...В преддверии.... На пороге... У порога... Так говорится о явлениях, событиях, которые находятся в непосредственной временной близости. Невеста – на пороге замужества. Младенец – на пороге жизни. Безнадёжно больной – у порога смерти. А случается, на пороге гибели оказываются целые цивилизации, общечеловеческий Дом.

«Не исключено, что мы уже переступили порог, и вот-вот услышим весть о нашем уничтожении: на этот раз не от пророков, а от научной интеллигенции» (У. Крейг).

Неужто сегодня срок?
Постой у порога,
Подожди немного,
Меня не трогай
Ради Бога!

А. Ахматова

Теология на этот счет рекомендует принять Иисуса Христа, стоящего в преддверии жизни человеческой: «...стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему».

На языке повседневности это означает скорейшее преодоление наиболее пагубных пороков, которые накопило человечество в своем общем Доме, разрыв порочного круга многих наших злоторных деяний, вышедших за Порог естественного-разумного. Одна надежда – на невидимослышимых стражей Порога «царства небесного, что внутри нас есть».

«Какова бы ни была сила рока во внешнем мире, он останавливается, как только видит на пороге души одного из молчаливых стражей внутренней жизни» (М. Метерлинк).

И есть ли тот, кто может-желает протянуть через Порог времен нам руку помощи-соучастия?

...Можно и не быть поэтом, но оставаться в добром расположении детского воображения-разумения, чтобы распознать-признать неизбывную архетипику Дома.

– Скажи, старина,
Где твой дом, кровать и печка?
Как живешь ты без крылечка,
Без окна?

«Алиса в Зазеркалье»

Стук в открытые Двери, или Око Окна

Окно и дверь, и рядом – дверь, окно.
Куда ни поглядишь, во всех домах одно

А. Ахматова

Стена сама по себе дика, бездомна, безлюдна, необитаема, глуха-молчалива, лбом ее априори не прошибешь. За то и обреченно «ставят к стенке». Дабы перед ней не стояли, как в безысходном тупике, она нуждается в Проеме, коим способна стать-служить всякая щель-отверстие-лаз, соизмеримый с человеком. Проем обеспечивает доступ-трансгрессию за сущную непроницаемость границы-межи к некоей явной емкости-вместимости. И тем он выказывает, что имеется Место, которое к тому же не против имеет сношения с миром, оставшимся за ним. Он восклицает, что есть Переход – робкий просвет или бурный прорыв – из одной экзистенциальной сферы в другую. Сам же Проем не принадлежит ни одной из них. Так и человек, оказавшись в Проеме, пребывает в двух «мирах» одновременно, имеет возможность мгновенного входа в каждый из них.

«Достаточно пройти сквозь двери, чтобы оставить за собой один мир и столкнуться вплотную с другим» (Р. Арнхейм).

В этом внезапном столкновении – вся поэтика-сакральность Проемов. Они вовлекают в «средовую игру между доступностью и препятствием» (Р. Арнхейм). Дом, скупой на Проемы, демонстрирует свою отчужденность и может смущать-отпугивать. Хотя способен и притягивать внимание, возбуждать интерес к чему-то потаенному и труднодоступному.

Чем меньше Проем, тем запретнее-загадочнее представляется находящееся за ним. Отсюда магический эффект «замочной скважины». Обилие Проемов, даже одно только «накальвание» ими Стены, низвергает замкнутость, гостеприимно заывает-распахивает Дом.

Один и тот же Проем может быть «входом-выходом», существенно меняя свою семантику. Приближение к «входу» (снаружи) доставляет невыразимую радость, успокаивает чувством скорого обретения возжеленного Места. Движение к выходу (вон изнутри) наполняет тревогой, кажется, что попадаешь в атмосферу большой опасности...

Так что экзистенция Проемов, их количество-расположение на лице Дома означают не только некую функцию, они «отсылают к определенной идее проживания и пользования, соозначая некую общую идеологию, которой принадлежал зодчий еще до того, как начал работать» (Ф. Хундертвассер). Потому как его бессознательное настойчиво подсказывает, что Проем невольно зазывает заглянуть-вместиться, и тем обрести укрытие-убежище, что некогда спасало человека первобытия, закономерно став архетипическим атрибутом Дома.

Дверь и Окно – два атрибутивных вида Проемов.

«Вырезание дверей и окон приводит к появлению дома, а если нет, то к появлению места для него» (Лао-цзы).

Дверь отличает «приземленность-физичность», реалистичность-прозаичность, рациональность-телесность в силу пешей общедоступности, осязаемости, очевидности перемещения из-в-Дом.

Хотя и она, естественно, имеет различные смыслы значения. При должном, конечно, с ней обращении. Еще древнеиндийское учение домоустройства Васту предупреждало, что дверь должна иметь правильные размеры: очень маленькая дверь неблагоприятна, как и очень большая. Дерево для нее должно быть хорошего качества, без изъянов. Открываться же ей подобает внутрь Дома. И навешивать ее следует не лишь бы как-когда, но в благоприятный день-время.

Невесть когда человек весьма глубоко прочувствовал множество коннотаций у символики Дверей: *соединять-разделяя и разделять-соединяя, и допускать-преграждая и открывать-утаивая... И поэтому он обрел способность не утруждать себя поиском красноречивых слов, выразительно выказать свои чувства-устремления: «показать на дверь», «открывать двери ногами», «стучаться и хлопнуть дверью» и «закрывать наглухо двери», «ломиться в открытую дверь», «жить дверь в дверь»...*

К чему стучаться у моих дверей?
Открыто – в дом входи скорей...

Пьер Альбер-Биро

Распахнутые настежь Двери – знак доверия-привечания. И даже легкая щепка в дверной деревенской защелке, спасающая разве что от сквозняка – также символ вверения Дома односельчанам.

«Входите же в дом через двери и бойтесь Аллаха, – может быть, вы будете счастливы!» (Коран).

Или евангелическое откровение: «Я есмь дверь; кто войдет Мною, тот спасется, и войдет и выйдет, и пажить найдет».

И незамысловатое воображение тут же нарисует Двери, освященные принадлежностью к божественному Дому. Затем и Богородицу, которую зачастую именуют «Дверью Спасения».

Потаенное обитает-творится исключительно за закрытыми Дверями, без ненужных свидетелей.

«...Фома же, один из двенадцати», не веривший рассказам-убеждениям остальных одиннадцати о впечатляющих ранах на теле Христа, был приглашен в неведомый Дом. «Когда двери были заперты, пришел и Иисус...» (Ин. 20). И тогда произошло «преображение» неверующего Фомы, ставшим вдруг блаженно «дверующим» уверовавшим. Выйдя иным, не знавшим доселе себя таковым, из теперь уже открытой Двери, он невольно приостановился, вопрошая у самого себя: что-куда далее? что может быть-сбыться впредь, исходя былого?

...Гул затих. Я вышел на подмости.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

Б. Пастернак «Гамлет»

«Если бы двери восприятия были чисты, все предстало бы человеку таким, как оно есть – бесконечным» (У. Блейк).

Когда эта бесконечность утомляет своей бездомностью, остается мечта-порыв спешно вернуться в Дом и, глубоко вздохнув, изнутри вожделенно прижаться спиной к дождавшейся Двери, словно пройдя сквозь ритуальные врата очищения.

...Скорей бы добраться
К предгорьям родной стороны!
Вернувшись домой,
Я тотчас же закрою ворота.

Ванн Вэй

Как идола, молю я дверь:
«Не пропускай беду!».

А. Ахматова

«Не всякому верь, запирай крепче дверь!».

Душа, решительно алчущая убежища-уединения, начнет исполнение своего порыва с входной Двери.

«...Покончу с входной дверью, и останется лишь запереть на засов дверь черного хода на втором этаже. После того как я заделаю фанерой и гофрированным картоном окна и вентиляцию, в дом не проникнет даже луч дневного света. Тем более что сейчас облачный вечер. Дом будет полностью отрезан от внешнего мира – в нем не останется ни входа, ни выхода. После этого я покину его. Выбраться из дома сможет только человек-ящик...» (Абе Кобе «Человек-ящик»).

Хотя и такой «мобильный» Дом нуждается в Окне, пусть и щелкой, «амбразурой».

«Кто живет одиноко, но иногда все-таки хочет приобщиться к чему-то, кто с учетом времени суток, погоды, условий работы и тому подобного хочет немедленно увидеть любую руку, за которую он мог бы ухватиться, тот без окна на улицу долго не выдержит» (Ф. Кафка).

Бункер, блиндаж, землянка «в три наката» вполне надежные убежища в пору выживания, но только не Дома. Дом живущий «состоит из окон» (Ф. Хундертвассер).

Окно – «воздушнее-метафизичнее», символичнее-поэтичнее, душевнее-мистичнее, во всех смыслах возвышенной Двери. Поскольку ассоциируется с виртуальным, «бесследным» переходом-перелетом взгляда-мысли, интуиции-воображения, памяти-мечты из Дома и обратно. Для этого нет надобности всякий раз беспокоить Дверь и обременяться тяготой-медлительностью пеши-пешочка, дабы стремительно ринуться-проникнуть, ведать-поведать доселе неведомое. Истые ведьмы-ведуньи не унижат себя до Двери.

«...Но вот она остановила свой тусклый, неподвижный взгляд на окне» (А. Чехов «Ведьма»).

«... Маргарита поднялась в воздухе и через несколько секунд сквозь открытое окно входила в неосвещенную комнату, в которой серебрилась только узенькая дорожка от луны» («Мастер и Маргарита»).

Эта «возвышенность» Окна привита общей женской судьбой-долей, искони обреченной на ожидание-надежду.

Тоской и трепетом полна,
Тамара часто у окна
Сидит в раздумье одиноком,
И смотрит вдаль прилежным оком.

.....
Кого-то ждет она давно!

М. Лермонтов

...Бывало, бурю чуть заслыша,
Всю ночь я не спала:
«Там ливень за окном, и холод,
И крова нет в пути.
А он уж не силен, не молод –
Сумеет ли дойти?»

Т. Харди

Крик разлук и встреч –
Ты, окно в ночи!

М. Цветаева

Целый день провела у окошка...
Верно, тот, кого ждешь, не вернется...

А. Ахматова

И каждый вечер в час назначенный
(Иль это только снится мне?).
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.

А. Блок

Именно у темнотомного Окна было излюбленное, попросту необходимое Место провиденческого существа-магии Татьяны Лариной.

Одна, печально под окном
Озарена лучом Дианы.
Татьяна бедная не спит
И в поле темное глядит.

А. Пушкин

...Старинный русский канон-правило – три окна в длинной, выходящей во двор стене Дома. Это «видимое» единение трех поколений: деда-бабки, отца-матери, детей-внуков, что не может не радовать исполнением живой жизни, не настраивать на мечты-предвидения.

А еще эта «троица» навевает известный «сказочный» сюжет о трех девицах, что «под *окном* пряли поздно вечерком». Может, каждая под своим-сокровенным Окном в-месте они гадали-грезили. И это отнюдь не вымысел, но констатация живучести древнейшего действия-обряда. Мистико-магическая суть его в вязании узелков-усов, означающих приметы путей, коими странствовали их долгожданные мужи. Вязанием-наматыванием «дорожных знаков» в клубки-мотки сродни рулеткам создавались весьма надежные и удобные атласы длинных путей-дорог, запомнить которые не позволяла несоразмерно короткая память.

Вот и Старуха, что верно исполняла свое исконное призвание-предназначение «пряла свою пряжу», живя в «ветхой землянке», подспудно нуждалась в Окне. И как только убедилась она в достоверности Золотой рыбки, тут же потребовала его. И увидел Старче «избу» с явными архетипическими признаками: «дубовые тесовые ворота», «кирпичная беленная труба», Очага примета. А главное: «Старуха сидит под окошком». И тоже одна, как и прежде...

Как нас учили, сказка про неумную старушечью жадность, которая, если и не губит напрочь, то к добру все равно не приводит, а нечаянная халява-дармовщина не вечна. И дармовое переселение из ветхой землянки в избу-терем-дворец... заканчивается у «рассохшегося корыта».

Однако такое суждение-образ явно поверхностный, подобный мелкой зыби, глубина же...

...Однажды, когда их дети повзрослели, Старик со своею Старухой отдали им свой Дом и решились претворить свою

давнишнюю мечту – прилучиться к морю-уединению. Посему и убогая «землянка», выбранная пожизненной обителью их не смущала. Просто она представлялась таковой после оставленных хором. Зато – у самого синего Окияна-моря, гостеприимно открытого взаимопониманию. Ведь умел-любил Старик разговаривать, голосом молвить со Природой-стихией на одном языке, по-человечески понятно-задушевно, что многого стоит и не выкупается никакими драгоценностями-посулами. За это она ласково звала-именовала его Просто-филей, то бишь любителем-служителем Простоты-Естества и только у нее служащим «на посылках». И будь у него дворец-власть царская, не сидел бы сиднем Старче при холодном троне, пошел бы на теплую конюшню, к коням во всем простодомашним.

Все его образы-сценарии, что ему без всякого выкупа даровал Окиян-море, были его главным уловом. Старуху подзадоривали захватывающие волшебством рассказы Старика, которые он, словно неводом, черпал в Море: выбирай, что душе-самости угодно, носи собой-в-себе бессмертным царством.

«...Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон» (Мф. 13:47–50).

И она ждала своего «пиита» с нетерпением, и наматывала его откровения на память-предание пряжей своей замысловатой. Пряла-мотала отдельными холстами-мотками – то про Рыбку Золотую, то про *Чудо-юдо-рыба-кит*, то про пресноводную Щуку, ублажающую своим велением любое хотение по домоустройству, то про подводнонебесного Дракона...

Вся эта нерукотворная добыча поднималась по «женской линии» неводом для «ловли человеческих душ» из глубин «ювенильных вод» бессознательного, пропитавших пору-эпоху ее владычества в Доме. И это эзотерическая память-мечта о вековечном отнюдь не каприз-прихоть, не сумасбродство, не стяжательство, но невыразимый зов Естества.

«Иногда женщине мешает собственная интроверсия: она хочет, чтобы все получалось само собой просто потому, что она так пожелала. Она думает, что пришедшая ей на ум мысль сама по себе хороша и не требует внешнего воплощения. Толь-

ко при этом она все равно чувствует себя обездоленной и неполноценной» (К. П. Эстес).

Ибо примеряя на себе всяческий Дом, лишний раз убеждается, что не осязаемые стены-кров как таковые нужны-достойны ее.

...Наконец, «давно расколотое корыто» – это метафора подзабытого извечного сугубо домашнего ритуала очищения-крещения. И отсылка опять-таки непосредственно к Первоподам, которые «отходя» и поднимают из бездонных глубин на поверхность жизни живой.

...Старик-рыбак Сантьяго обыкновенно «спал лицом вниз», «вытянув руки ладонями вверх». Похоже, он высь Неба удерживал на своих натруженных снастями руках, вглядываясь в глубину морскую. Такое чувство-понимание сути вольного общения с глубинами-высями обуревают далеко не каждого. Разве что беззаветных адептов анонимной религии. Таких, как Жак Майоль, первым погрузившийся с одним вздохом на стометровую глубину со своим девизом:

Быть свободным,
Как дикий зверь.
Нырять обнаженным, как дельфин,
Стремительным, тихим, безмятежным
В глубины моря.
Взлетать высоко в бесконечную синеву неба
И безмолвно парить над ограниченным миром современного человека.
Смешаться с воздухом или растаять в воде,
Становясь единым целым с Природой
И вновь открывая свою самость.

Сродни ей и самость Сантьяго, поймавшего свое «Чудюдо» и сполна «наговорившись» с ним ...

Если мы поднимемся по дороге к хижине старика, что «выстроена из листьев пальмы», и войдем в «дверь, растворенную настежь», то увидим прислоненную к стене съемную «мачту с обернутым вокруг нее парусом», которая «была почти такой же длины, как хижина». Рядом покоятся снасти. Из мебели – стол и стул. «В глинобитном полу – выемка, чтобы стряпать пищу на древесном угле». «Коричневые стены, сложенные из спрессованных волокнистых листьев». Когда-то на них висела раскрашенная фотография покойной жены, но «потом старик

ее спрятал, потому что смотреть на нее было уж очень тоскливо» (Э. Хемингуэй «Старик и море»).

Так что всякое возвращение в свою Хижину-кубрик надобилось, видимо, только для того, чтобы «набрав воздуха» вновь ринуться под необъятный небокров мореодра...

Хижина рыбака.
Замешался в груди креветок
Одинокый сверчок.

.....
Сушатся мелкие окуньки
На ветках ивы... Какая прохлада!
Рыбачьи хижины на берегу.

Басё

На другом-далеком конце света-эпохи у Окна мифического греко-римского Дома предсказаний, возможно, и поныне плетут путеводные нити изящные парки-мойры под мудрым водительством Калипсо.

Наконец, в наших славянских краях – народный почет Доле, олицетворению счастливой судьбы, удачи, дара богов. Обладательниц силой, преодолевающей жизненные трудности-невзгоды и наследуемой также по «женской линии».

Первоначальное значение слова «доля» (судьба) – часть, нечто от целого, как долька апельсина. Счастливая доля – ощущение себя заметным, но неразъемным фактом-событием в общей судьбе, а также обладателем Своего Дома как незабыто-одичалым явлением-лицом в Домоцелом.

Поэтому вполне логична и другая персонификация счастья образом Доли – встреча (др.-рус. – устръча), Среча – красивая девушка-пряха, прядущая золотую нить человеческой судьбы. Ее антипод – Несреча, седая старуха с потухшим взглядом. Тоже пряха, вот только прядущая слишком тонкую, обрывающуюся нить...

...Таких ведуний «весь крещеный мир» не преминул объявить преступно-греховными ведьмами, хотя они-то на деле помогали избежать греха-ошибки при судьбоносном выборе Пути. Детям их обобщенный образ преподносился страшно-коварными старухами, среди которых хорошо нам известная Баба-яга. И, конечно же, ее знаменательный Дом – избушка на

курьих ножках – «портал» перехода из посюстороннего в потусторонний мир, из очевидности в тайну по нити-узлу магического бабьего клубка, старательно смотанного и приготовленного в итоге, как ни судить, страждущему добру-молодцу.

Дом бабий вполне, кстати, приветливый – «с крытым красным крыльцом». Хотя и умеет постоять за себя, играя своей доступностью с помощью легких ножек да «веретенных пяток». В любой момент по желанию-хотению хозяйки способен он повернуться задом к гостям непрошенным, обратиться Окном единственным куда душе вздумается, куда влечет провидческая натура.

...Не одно столетие уже, как девица-женщина у Окна завораживает художников. В итоговой многоликой галерее и «Джоконда». Явно довольна она на фоне Окна без конца-края, увлекающего в перспективную дымку природного далека. Такова «картина мира» Возрождения с духом самодостаточной свободы и уверенности в себе-Доме, открыто-распахнутом в мир людей-себя. Отсюда и архитектурная норма-завет: Окнам надлежит быть непривычно большими и «настолько низкими, что ты будешь виден проходящим на улице и сам будешь их видеть» (Л. Б. Альберти).

...То сельский дом – и у окна.
Сидит она... и все она!..

А. Пушкин «Евгений Онегин»

Притом одна.

Недавно темною порою,
Когда пустынная луна
Текла туманною стезею,
Я видел – дева у окна
Одна задумчиво сидела,
Дышала в тайном страхе грудь,
Она с волнением глядела
На темный под холмами путь.

А. Пушкин «Окно»

Замыкайся уж и ты, и дыши дыханьем Дома.
Будет впредь и для тебя тайна комнаты знакома.
Стены летопись ведут, и о петлях повествуют.

Окна – дьяволов глаза
Окна ночи ждут. Колдуют.

.....
...Сидела она за станком у окна,
Узор за узором вставал.

.....
И страшно хотелось войти мне в тот дом,
Где зал этот пышный блестел.
И быть как Колдунья, за странным станком,
И тот же изведать удел.

К. Бальмонт

Сидит она-одна, припадая к Окну, а Он – удостоен счастья-бремени стать поэтом.

«Счастливец! – молвил я с тоскою, –
Тебя веселье ждет одно.
Когда ж вечернею порою
И мне откроется окно?».

А. Пушкин

...И если я от книги подыму
глаза и за окно уставлюсь взглядом,
как будет близко все, как станет рядом,
сродни и впору сердцу моему!

Р. М. Рильке «В ночное окно»

«Окно» рождено «оком», что предполагает метафизическую связь с миром и, в конце концов, отсылает к Оку Всевидящему – вечному и безграничному Творцу-Творению.

Именно этого и алчут жаждущие свободомыслия, раздвижения видения-кругозора, креативного прорыва, почему и приходят в восторг-благоговение перед «широким цельного стекла окном во всю стену». Ведь из него, «насколько успел заметить доктор еще вначале, пока было светло, открывался вид на далекое заовражье и равнину». В придачу «у окна стоял широкий, также во всю стену стол проектировщика». «Кабинет превосходный, побуждающий к труду, вдохновляющий»...

«Юрия Андреевича окружала блаженная, полная счастья, сладко дышащая жизнью тишина... За окном голубела зимняя ночь. Юрий Андреевич шагнул в соседнюю холодную и неосвещенную комнату, откуда было виднее наружу, и посмот-

рел в окно... Роскошь морозной ночи была непередаваема. Мир был на душе у доктора. Он вернулся в светлую, тепло истопленную комнату и принялся за писание» (Б. Пастернак «Доктор Живаго»).

Я люблю под окнами мечтать,
Я могу, как книги их читать.
И заветный свет храня, и волнуя, и маня
Они как люди смотрят на меня.

М. Матусовский

Всякое покушение на прозрачность Око-Окна воспринимается пороком-бельмом, что отзывается душевным протестом.

Когда сквозь иней на окне
Не видно света божья,
Безвыходность тоски вдвойне
С пустыней моря схожа.

Б. Пастернак «Разлука»

Что тогда удивляться утверждению в Домострое всяческого «макияжа» для этих необычных Очей. По обыкновению каждый Дом исстари отличался уникальными резнорасписными наличниками-окладами. Ими гордился и Дом простолюдина, и Дом-дворец царский.

...А злато везде пресветло блистает,
царский дом быти лепота являет.
Окна, яко звезд лик в небе сияет,
драгая слюдва, что серебро, блистает.

Симеон Полоцкий

Отнюдь не случайно икона изначально принималась Окном в иной, божественный мир, и в нем исполняется доля-встреча человека с Богом. Иконописец в момент творения-отворения Иконы-Окна – свидетель этого сакрального сретения. Таковым себя, вероятно, чувствовал и вдохновленный мастер-обрамитель Окон – верных проводников Света-просветления. И даже заколоченные они не молчат-скорбят концом-ничтожением, но возвещают о Пустоте.

Многоликая Пустота Дома, или Ис-на-полнение Вселенской Пустоты

Мефистофель: Достаточно ль знаком ты с пустотой?
Фауст: Дух пустоты, надеюсь, схвачен мной,
Но я в твоём «ничто» надеюсь, кстати,
Достать и «все» посредством тех же чар

Гёте «Фауст»

С формально-прагматической точки зрения Дом – о-пределенная, о-ограниченная соразмерно человеку полость-вместительница. Его еще представляют как жилплощадь, за которую и берут плату-налоги. А вместе с нормативной высотой подсчитывается и кубатура-объем его. Так что Дом, особенно новосельный, реально видится как пустые меха, куда вливается жизнь-бытие меня-семьи.

«Дом состоит из стен, но пользуемся мы пустотой его» (Лао Цзы).

Звучит явно странно – пользоваться, по сути, ничем, словно Небытие существует, чему упорно противится рациональная мысль, «здравый рассудок».

«У “ничто” нет свойств, значит, “ничто”, пустоты нет» (Декарт).

Во всей «полноте» своих многообразных проявлений она пребывает в душе. Отсюда постулат монофологии Лейбница: не существует психической пустоты, психического «ничто». В нашем уме нет ничего, что уже не дремало бы в виде представления в темной душе. Возможно, Лейбниц по-своему интерпретировал кредо Средневековья «*Nihil vacuum anud Deum*» («У Бога нет ничего пустого»). И одновременно указывал на власть архетипов, что обитают в «темной душе».

Пустота явствует нам некими своими гранями-ракурсами из мистического Зазеркалья, рожденного вольностью воображения. А оно априори «небесполезно», исходя и из того, что

пользоваться можно лишь тем, что имеет качества пользы-вреда. В противном случае придется допустить-признать реальность бытия Небытия.

«Небытие существует. Несуществующее существует... Небытие окружает меня со всех сторон. Оно во мне. Оно преследует и настигает меня, оно хватает меня за горло, оно на миг отпускает меня, оно ждет, оно знает, что я его добыча, что мне никуда от него не уйти... Историческая ошибка сознания состояла в выведении небытия из бытия» (А. Чанышев «Трактат о небытии»).

Весьма знаменательно, что современная философия все более смело проникает в доселе всячески обходимую «ойкумену» Пустоты-Небытия, сделав уроки над ошибками и словно реинкарнируя индуистско-даосско-буддистские духовные изыскания.

Так, метафизическая диалектика суй («пустое», «нереальное») – ши («наполненность», «полнота», «реальность») – принципиальная гармоничная оппозиция в традиционной китайской философии, с неистощимым познавательно-творческим потенциалом. Доминирует в этом тандеме «суй» и выражает абсолютную вместимость и согласуется с образом-концептом Дао.

«Дао пусто, но в применении неисчерпаемо. О, глубочайшее! Оно кажется праотцем всех вещей» («Дао де Цзин»).

Его дух уверенно схвачен современной постклассической наукой. Ныне самые серьезные естествоиспытатели пристально всматриваются к вакууму, к космической Пустоте, обволакивающей полями «темной энергии» все небесные тела. Так что вакуум – «живая пустота», в пульсации которой берут начало бесконечные ритмы рождений-разрушений и это почитается одним из важнейших достижений современной физики. Из никчемного пустыря, пустопорожного вместилища всех физических явлений Пустота превратилась в целину-ниву, динамическую величину первой важности и предмет «Дао физики» (Ф. Капра).

Впрочем, это нисколько не удивило бы наших восточных пращуров с их Паракальпой, означающей заблуждение, порожденное теми, кто не может осознать Пустоту.

С этим весьма соглашается «примординальная традиция» (лат. *primordialis* – изначальная, исконная, первоизданная) Рене Генона. Она реабилитирует первоматеринское начало Пустоты. Исповедует ее как метафизический Первопринцип, воплощенный «в символах, передаваемых из одной эпохи в другую от самых источников человечества». Хотя она и не может быть адекватно выражена рациональным языком, дискурсивным методом, поскольку ее познание обязывает отождествление познающего с познаваемым. Хоть как-то проникнуть в эзотерику непроявленного-проявленного способна разве что сверхрациональная и одновременно сугубо интеллектуальная интуиция (араб. *айн уль-кальб* – око сердца, санскр. *буддхи* – трансцендентный разум). Она подскажет, что «непроявленное содержит в принципе все то, что составляет глубокую и сущностную реальность вещей, существующих в каком-нибудь модусе проявления» (Р. Генон).

Ведь без вещей, их соотносительности в пространстве оно теряет смысл как вместительница весьма «самостоятельных», вещающих самими собой фактами. И это обстоятельство отсылает к принципиальной проблематике Бытия-*Dasein*, фундаментальной характеристикой которого, по Хайдеггеру, является «принадлежность себе», в итоге – к ответственности за собственное бытие. Она и подвигает иметь Дом как целокупность исполняющих его предметов-вещей. Притом что существование любой из них не ограничивается только ее физической данностью, но определяется отношением к другим вещам.

Выбором вещей, а также пред-рас-положения и раз-мещением домоустроитель обнаруживает себя в мире, выказывая свое осознание «тут-здесь» в контексте осмысленного жития Дома. Поэтому вещи становятся значимыми для человека, который в этой связи оказывается готовым к взаимодействию-общению с этими вещами. Оно задает не только их сущность-проявление, но и определяет-выказывает сущность непосредственно ЧеловекоДома, степень его исполнения самим собой.

«Вообще, люди и вещи тесно связаны между собой, и в такой согласованности вещи обретают внутреннюю плотность и аффективную ценность, которую принято называть их “присутствием”. Очевидно, именно из-за этой сложной структуры внутреннего пространства, где вещи очерчивают

у нас перед глазами символические контуры фигуры, именуемой жилищем, – очевидно, именно из-за нее у нас в памяти столь глубоко запечатлевается образ родного дома»⁶.

Раз эта связь онтологична, то можно полагать, что человек-вещь исполняются во взаимном со-переживающем проживании с неминуемым вопрошанием:

«Каким образом вещи проживаются, каким иным, не функциональным потребностям они отвечают, какие психологические структуры противоречиво переплетаются в них со структурами функциональными, на какой культурной, инфра- или транскультурной системе основано их непосредственно переживаемое бытование».

Ответ остается, пожалуй, один: ЧеловекоДом и преисполняющие его вещи «образуют особый организм» со «сложной аффективной соотнесенностью его членов». Отсюда Дом – «специфическое пространство, малозависящее от объективной расстановки вещей, ибо в нем главная функция мебели и прочих вещей – воплощать в себе отношения между людьми, заселять пространство, где они живут, то есть быть одушевленными».

«Предметы переглядываются между собой, сковывают друг друга, образуя скорее моральное, чем пространственное единство».

И каждый из них «усваивает себе свою функцию и получает от нее символическое достоинство», что можно почитать за их эксклюзивную ценность, которая явствует не из наличности, но из «внутреннего голоса» вещи, вещающего не о наличности, но о чем-то глубинно-необъяснимом.

«Ничего не жди от вещей: они обретают голос, став знаком чего-то большего, и сердцу внятен только такой разговор» (Экзюпери).

И он не может быть одноразовым, но перманентным, неустанным, все более проникновенным. Как непредвзятая молитва, как сама жизнь-творчество, к которому невозможно относиться как к одноразовой, бросовой вещи.

«Я бы не хотел свой кофе пить из одноразовой чашки. Моя чашка – это маленькая часть моей домашней вечности. Я бессознательно благодарен ей, что она мне служит. Она укрепляет

⁶ Здесь и далее курсивом мнение Ж. Бодрийяра, «Мир вещей».

меня в мысли о долговечности существования. Но одноразовая чашка, которая после употребления летит в помойное ведро, – на что мне намекает? Ясно на что. Я и так знаю, что жизнь одноразова. Зачем мне целый день слушать похоронный марш одноразовых предметов?» (Ф. Искандер).

Антипод одноразовости – старинность как традиция-эстафета от «раз» и «навсегда», пока есть-живет вещь в своей вещности-вещательности.

Старость – прелюдия к обветшанию.

Старинность – апофеоз неувядания.

...Дом вещный не только дополняет-замещает органы человека, но сопрягается с ним в телодуховное целое.

«Сам дом становится символическим эквивалентом человеческого тела, чья мощная органическая система в дальнейшем обобщается в идеальной схеме его включения в структуры общества. Все вместе дает целостный образ жизни».

Так что закономерно *«системную культурность на уровне вещей»* называть-принимать не иначе, как *«средой»*, образованной мистическими силовыми линиями. Ими во все стороны распространяется пульсирующее напряжение сжатия-растягивания, слияния-отторжения, вызова-отказа. При этом оживает чувство, как тела-вещи то льнут друг к другу, то безразличны, то стремятся отринуться друг от друга, выражая тем самым во все не физическую удаленность и тяжесть, но латентную сопричастность, со-страстность, со-бытийность.

В этой среде середина-центр подвижен, всякий раз перемещаясь по воле хозяина, испытавшего влияние запросов вещей.

«Вещи очерчивают у нас перед глазами символические контуры фигуры, именуемой жилищем, – очевидно, именно из-за нее у нас в памяти столь глубоко запечатлевается образ родного дома».

«Я понял другое: там, где больше всяческих благ, людям легче ошибиться, им начинает казаться, что счастьем и впрямь наделяют вещи, хотя одаряет им смысл, приданный этой вещи царством, отчим домом, родным краем» (Экзюпери).

Это есть свидетельство живости среды Дома, которая *«стремится быть целостной, и поэтому она должна вобрать в себя всю сложность жизни, включая такое важнейшее ее измерение, как время».* И здесь-то особым пиететом и пользу-

ется старинная вещь, что обладает самобытным культурным кодом, особым статусом «заколдовывать время» и там, где она помещена, переживается как «теплый» элемент, в противоположность всему «холодному» современному окружению. В конкретно-вещественной форме она запечатлевает в себе некое достопамятное прошлое, становясь в широком смысле «семейным портретом». А вещи заряжаются метафизикой «бессмертия», пока новое поколение не откажет им в статусе темпоральной скрепы Дома.

Лишаясь своего Дома, оказываясь в антикварной лавке, старинность утрачивает уникальную родословную магию, гордую биографию. Ведь старинные вещи «человек имеет их, как имеет предков – не как собственность, а как заступников, – а предки суть наиприватнейшее, что есть в его жизни». Они, уподобляясь вестам-ларам-чурам, становятся на стражу Дома беззаветными оберегами по всему его экзистенциальному периметру, во всех его чревах-нишах-полостях-щелях, отверстиях, пазухах-изложинах.

Не знаю, как это бывает с другими,
Живущими в доме среди утвари той,
Что помнит их бабушек молодыми,
Но в точности знаю, как это порой
Бывает со мной.

Мне чудятся призраки прикосновений:
То руки владельцев, нежны и грубы,
Касаются выступов и углублений...

Это ведь действие – пустовать:
Полое – не пустоует.

М. Цветаева

Стойкое присутствие старинной вещи означает впитывание и Домом качеств талисмана-оберега, почему он «всегда осмысливается как эмбрион, материнская клетка». И значит-свидетельствует: Дом жив! И он сущностен, ибо у него «есть сущность, с которой вы можете общаться как живой организм, он может исцелять вас и вашу семью, если вы понимаете и уважаете его жизнь. Вы можете так взаимодействовать со своим

жизненным пространством, чтобы создавать равновесие и гармонию со всей окружающей вас энергией» (Д. Линн).

Функциональная вещь обладает эффективностью, то есть ценна, пока в ней есть прагматическая потребность, есть, но не бытийствует.

«Функциональный предмет есть небытийность... Поэтому он так скуден: действительно, каковы бы ни были его цена, качество и престижность, в нем запечатлена и всегда будет запечатлеваться утрата Отца и Матери. Функционально богатый и знаково бедный, он соотнесен с сиюминутностью и исчерпывается будничным обиходом».

Старинная вещь мифологична, ибо отсылает к теме первоначала, допуская в упоительные закрома времен, и настолько глубоко, насколько это возможно для жизни человека – в безопасное, полное подлинности детство Человека-Дома.

«Мифологический предмет, минимально функциональный и максимально значимый, соотнесен со временем предков или даже с абсолютным прошлым природы».

Так вневозрастная старина дарует «самое радикальное и глубокое бегство» – бегство во времени, дабы освободиться от пустоты повседневности.

«Подобный метафорический побег присутствует, видимо, и в любом эстетическом переживании, но произведение искусства как таковое требует некоторого рационального прочтения, тогда как старинная вещь в чтении не нуждается, она сама по себе “легенда”, ибо характеризуется мифическим коэффициентом подлинности».

Старинная вещь априори уникальна-единична.

«Быть одной вещью неизбежно означает не быть всеми другими вещами; смутное ощущение этой истины привело людей к мысли, что не быть значит больше, нежели быть чем-то, и в каком-то смысле означает быть всем» (Х. Л. Борхес).

Следовательно, истая вещь-символ Дома требует-служит столь же «афункциональной» Пустоте его, впусивши содержащей и взаимно благодарной за совместную одомашненную мифотаимность.

«Ее объективная ценность вторична, свою прелесть она обретает оттого, что ее таят».

«Человек лишь тогда обретает экзистенциальный дом, если он чувствует, что его жизнь имеет ценность. Он хочет, чтобы в этом доме были люди и вещи, которые он может любить. Иначе в его доме будет холодно и пусто» (А. Лэнгле).

Однако старолюбимая вещь не поддается имитации, подделке – она не симулякр – «пустой знак». Она не кичлива, непривередлива, небрезглива, восприимчива, пред-рас-положена к вещам-новоселам, лишь бы они оказались созвучными одомашненной Пустоте.

Любой камень с Места, где было совершенно бескорыстное подвижничество, где была одержана нечаянная доселе победа над собственной никчемностью-пустотой, становится, согласно «Практической магии» А. Папюса, священным, и, будучи доставленным в Дом, он занимает достойное место-мизансцену в его театре жизни-игры.

«...Я отправился домой и, когда пришел, заметил кусок мрамора на столе. Я спросил отца, откуда он взялся, и отец сказал: “О, Виктор, я подобрал его на месте, где стояла синагога” (она была сожжена национал-социалистами). “А почему ты взял его с собой?” – спросил я. Потому что это часть двух плит, на которых написаны десять заповедей” ...» (В. Франкл).

К тому же качествами домопочитаемости обладают и вещи, не имеющие патины старины, но источающие сакраментальность, будучи в начале-сути пре-наполнения Пустоты Дома, как личностный ремейк Творения.

...«Земля же была безвидна и пуста...». Этим, очевидно, она и пленяла будущего библейского Творца величайшего Дома Всего. Пусть эта «земля» и была добытийной песчинкой Большого Взрыва. Или семенем на квантовых полях-пустырях Вселенского тяготения, в плодородии «темной» материи-энергии, предстающей отнюдь несовершенному существу человеческому Ничем.

«Среди великих вещей, которые находятся вне нас, существует Ничто – величайшее» (Леонардо да Винчи).

«Пустота не ничто. Она также и не отсутствие. В скульптурном воплощении пустота вступает в игру как ищущее – проектирующее выпускание... Произведения ваяния собирают вокруг себя свободный простор, дающий вещам пребывать в нем человеку, обитать среди вещей... Возможно, как раз пустота

есть вовсе не отсутствие, а произведение, ибо рассудительный взгляд на скульптуру, на собственную суть этого искусства заставляет догадаться, что истина как непотаенность бытия не обязательно привязана к телесному воплощению» (М. Хайдеггер).

Дом как обитаемое изваяние многократно усиливает-разнообразит экзистенциальную игру с Пустотой, в которой своеобразно соревнуются Запад-Восток.

...Дом Запада во власти соответствующей картины мира, рационалистичной философии, где господствует безотчетный страх Пустоты. Она ассоциируется с неопределенностью, хаосом-небытием, где нарушается «внутреннее чувство самостождественности» (Р. Арнхейм), где человека охватывает чуть ли не ужас перед «лицом ничтожения» (Гёте), где навеваются внутренне опустошающие мысли о неизбежной летальности, следовательно, бессмысленности жизни.

«Чувство внутренней опустошенности, которое возникает от ощущения абсолютной бессмысленности жизни. Вот что я называю экзистенциальным вакуумом» (В. Франкл).

Отсюда и Пустота Дома – негативная антитеза наполненности, убогая нехватка-недостаток, пренебрежительная «оголенность-обнаженность» – оскорбительная бесполезность.

«Стоит нам мысленно представить пространство, как оно тотчас перестает быть пустым, заполняется массой условных конструкций» (П. Валери).

«Иногда же я начинал с пустоты и приходил очень скоро к полноте» (Филон).

Хотя «вещи, тела, заполняющие пустое пространство, отвлекают внимательный взгляд от него самого, как бы уничтожают его суть, в то время, когда феномен пустого пространства нуждается в том, чтобы он мыслился: вне сознания он “растворяется”, становится неотделимым от физической материи...» (А. Чанышев «Трактат о небытии»).

Вещи в таком «физико-материальном» Доме не просто в изобилии, они напирают-громоздятся друг на друга, вымещая Пустоту, дробя ее на бестолковые пустотки-пустышки. Мало того, в стремлении и их разобщить с «внешней» Пустотой возводятся «крепостные» стены-конструкции с тяжелыми дверями-ставнями. Вещи упиваются своей материальностью-статич-

ностью и требуют лишь время от времени стряхивать с них пыль, прямо-таки льнущей к ним на гарантированный покой...

...«Тай суй» («Великая пустота»), откуда еще только «рождаются десять тысяч вещей», живет-исполняется «тонкий» Восток и проживает ее вместе с Домом. Сообща они вольны исполнять-ладить себя по собственному усмотрению, хотя и по взаимному дозволу-ладу с Пустотой. Так Дом означает Человека, означающего ее.

«Означенная *пустота* не является только лишь *пустотой*» (Таранатха).

Поскольку она намекает, вытаскивает, незримо наполняется бесконечной открытостью возможностей, неизменно пульсируя жизненным времявращением.

Спокойную, пусть каждый почитает ее
Как то, откуда он пришел,
Как то, с чем ему предстоит слиться,
Как то, чем он дышит.

«Чхандогья Упанишада»

Беспокоиться-сетовать следует разве что «пленникам» Паракальпы, заблуждения, порожденного неспособными осознать Пустоту. А также пренебрегающим зовом Шунья («Пустое»), его тремя принципами: все вещи пусты, бессущностны; все вещи временны; все вещи являют собой синтез пустоты и временности.

О пустых вещах
Бесполезно размышлять.
Лучше чарку взять
Хоть неважного вина
И бездумно пить до дна.

Анонимное хокку

Пустота Дома благодатно открыта воображению, творческому наполнению, как пустой сосуд полезнее полного, так как его еще можно наполнять, а уж потом испивать хоть до дна.

«Чашу нужно вычистить и опустошить для того, чтобы божественный напиток мог наполнить ее» (Шри Ауробиндою).

Только Пустота, не обремененная предварительной заданно-

стью, открывает медиативный путь непосредственного самопостижения. Неуценяемая польза польз.

«Твой разум пуст, но это не пустота небытия, а разум как таковой, – свободный, трепещущий, блаженный; это само сознание, Всеблагой Будда» («Тибетская книга мертвых»).

«Польза бытия в пустоте. Позвольте себе быть пустым, чтобы наполниться. Пустота – это свобода, только через нее приходит наполнение» (Лао Цзы).

...Наполнение нашей жизни смыслами, переживаниями, примординалами творчества-самопонимания как пре-исполнение воли Вселенской Пустоты, Дома Всего. Человеку же она предстает соразмерно его делодуховной ипостаси весьма многоликой. Выказывает способность впускать, или вмещать, причем «двояким образом»: «приемля и содержа» (М. Хайдеггер). В результате появляется ощущение многоликости Пустоты; переживание ее то ненаполненностью, то как покинутостью, то высвобождением.

Ненаполненность – ожидание, предчувствие, нега. Здесь господствует надежда, жизнеутверждающее начало, мечта. Так воспринимается, скажем, новостроечный Дом в канун наполнения его человеческим бытом.

Она же «резервная» несотворенность, что будоражит воображение, вовлекает в понимание-создание чего-то такого, чего еще нет, но обязательно должно появиться, произойти – восполняться и наполняться. Посему она всегда будет манить к постижению игры с ней объемами-предметами, понятиями-символами, мыслями-чувствами. Так она творит, позволяя завязаться-вызреть предстоящему, отзываясь его ожиданием, предчувствием, наконец – надеждой-верой в его благодатность.

«В древности люди молились так. Я развел широко в сторону руки и невольно почувствовал, как при этом увеличивается моя грудь. Бог тогда погружался во все эти бездны...» (Р. М. Рильке).

Покинутость, напротив, – нечто безысходное, невозвратимое и, если говорить наиболее точно, окончательно опустошенное. Именно таковыми предстают «скелеты человеческих поселений» (Г. Белль), Дома, которые выдают глазницы пустых Окон, «пригвожденные» Двери, заросшие бурьяном Пороги. Они –

источник мыслей о бренности, преходящей жизни, о неминуемом ее угасании.

Заметят ли цветы
Уход наш, скуку в доме?
А нас... Что ждет нас, кроме
Безмолвной пустоты?

А. Ахматова

И все-таки... В щемящем чувстве опустошенности всегда тлеют искры духовной сопричастности исчезнувшему и, следовательно, сопротивления Небытию как смерти-ничтожению. Вверение надежде, что Дом опустел-выдохнул, дабы наполниться-вдохнуть жизнь-бытие Дому грядущего, вселяясь высвобожденной Пустотой.

В каком-то смысле она тоже ненаполненная, но уже не в качестве априорной данности таковой, а в результате нашей активности, воли к актуализации изменений-развития, переходо-инициации от былого к подобающему стать-быть. Поэтому она символизирует раскрепощающий просвет в закабаляющем монолите телесно-духовных определенностей. Мы отвоевываем, расширяем его, чтобы «висеть, подниматься, скользить вниз, перекручиваться.., играть во все игры, получать возможность выбирать навсегда пустое пространство и бродить по нему взад и вперед...» (Ф. Кафка).

Словом, живем и потому мыслим-чувствуем – движемся-изменяемся, преисполняемся, будучи Пустотой сосуда и самим сосудом – ЧеловекоДомом, который в силу этого бесстрашно жизнетворен.

«Бояться надо не смерти, а пустой жизни» (Б. Брехт).

...Дом что переходный шлюз-тамбур в открытую Вселенскую Пустоту, адаптирующий ее для человека, также носителя ее между каждой клеткой-мыслью своего исполнения. И в нем обнаруживается экзистенциальная Пустота. И стоит ему открыться, как эти макро- и микропустоты воссоединяются, преобразуя свое целое, преисполняясь сугубо человеческими переживаниями. Место воссоединения «двух», явно не бессмысленных Пустот мистического, априори пугающего витальным «между». Как в безДомье, когда остаешься обнаженно-неза-

щищенным перед собственными же сомнениями-тревогами, обретающими лик безотрадной разочарованности, беспросветной безысходности, летальной депрессии.

«Где умирает надежда, там возникает пустота» (Леонардо да Винчи).

У мало-мальски творческой души-натуры надежда в самом ее существовании, почему покой только снится. Ведь она непрестанно занята-озабочена, терзается беспокойством за Дом свой насущный.

«Всего невыносимей для человека покой, не нарушаемый ни страстями, ни делами, ни развлечениями, ни занятиями. Тогда он чувствует свою ничтожность, заброшенность, несовершенство, зависимость, бессилие, пустоту. Из глубины его души сразу выползают беспросветная тоска, печаль, горечь, озлобление, отчаяние» (Б. Паскаль).

«Когда что-то кончается в жизни, будь то плохое или хорошее, остается пустота. Но пустота, оставшаяся после плохого, заполняется сама собой. Пустоту же после чего-то хорошего можно заполнить, только отыскав что-то лучшее» (Э. Хемингуэй).

В этом случае нет ничего лучше Дома. Даже весьма прожитого, пре-старелого, на коем не заканчивается, а вернее зачинается жизнетворение Пустоты.

Старый дом опустел,
но, как прежде, поет на закате
цикада подле ворот...

Кобаяси Исса

И будь Дом благоухающим в веках или новостью в этом мире, он преисполнен Пустотой – обилие чистого света-воздуха без резких теней-заглушин. Раздвижные двери, словно легкие шторы, податливые дуновениям невесомого ветра. Большие окна за прозрачной занавеской, сродни трепетной вуали, за которой первозданная Природа, естественный Дом священной Пустоты. Туда же, насколько могут, тянутся выразительные карнизы, окружно оторачивающие Дом, приглашая Вселенскую Пустоту убедиться, что она и здесь полновластная хозяй-

ка среди немногих скромных вещей. Не на чем оставить пыль веком. Не за что зацепиться ее шлейфу-фате...

В таком Доме царит-служит ваби-саби – поклонение «красоте простоты», незавершенности, духу Сатори.

«Сатори можно определить как интуитивное проникновение в природу в противоположность аналитическому или логическому пониманию этой природы. Практически это означает открытие нового мира, ранее неизвестного смущенному уму, привыкшему к двойственности» (Д. Судзуки «Основы дзэн-буддизма»).

Об этом же весьма красноречиво глаголет древнеяпонский «материнский» образ-идея «Ма» – Пустота, иррациональная абстрактность и непривязанность к материальным объектам, вещам-предметам, доступные лишь созерцательно-чувственному переживанию.

Идеографически Ма – 間. Единение двух знаменательных символов 門 – ворота и 月 – луна, что подобно хозяйке Дома, ожидая-привечая прильнула из-вне-нутри к открытому Окну-Двери. Или это и есть олицетворение межзвездносияющей Пустоты?

В тесной хибарке моей
Озарила все четыре угла
Луна, заглянув в окно.

Басё

И убедившись в благополучии Пустоты Дома, оставляет подобающий след-память своего визита-возвращения.

Яркий лунный свет!
На циновку тень свою
Бросила сосна.

Кикаку

Погостила и ушла
Светлая луна... Остался
Стол о четырех углах.

Басё

...Итак, каким бы Домом мы ни жили, Пустота вещественна – предвещает, увещевает, возвещает, завещает. И пустое это дело-занятие – прославлять-клясть Пустоту: она не нуждается в этом и говорит-возвещает сама за себя и отнюдь не пустяками пустыми...

Дом живет-дышит, пока способен в-пустить и вы-пустить, исполняясь духом Пустоты.

Этим он, возможно, и хоть толику прихвачен без особых чар.

Схватить-объять Пустоту во всей ее феноменальной полноте достойно разве что столь же великой Тишине.

Имеющий очи, да услышит.

Бесчинства шума городского, или Обитель Поумолчания

Слушай беззвучие, слушай и наслаждайся тем,
чего тебе не давали в жизни, – тишиной
«Мастер и Маргарита»

Какофония-грохот города-цивилизации не оставляет человеку, изнывающему-алчущему уединения-покоя и малейшего шанса избавиться от тягостного ее настырного домогания.

«...Никак не могу отучиться спать с открытым окном. Судорожный дребезг трамвая насквозь пробивает комнату. Надо мной проносятся автомобили. Хлопает дверь. Где-то разбилось со звоном стекло, большие осколки хохочут, хихикают мелкие, я все это слышу... Это шумы...»⁷.

Все плывет и кружится.
Звук угрожающих, дразнящих,
монотонных голосов.
Это страх и желание быть поглощенным.
Дж. Моррисон

Ну как тут смочь «ноктюрн сыграть на флейте водосточных труб?» (В. Маяковский).

Будда изволит
Почивать, а тут этот шум –
Деньги, цветы...

Исса

Что может быть невыносимее таковой психошумовой атаки?
«Но есть кое-что страшнее шумов – тишина».

Это особый блик многогласной Тишины. Тот, который опущен в Аид, тишайший мир посмертных теней. Без него Тиши-

⁷ Здесь и далее соображения Р. М. Рильке.

на была бы разве что невзрачным затишьем, неказистой тишью...

Пропасть в пропасти мертвящемрачной Тишины, в которой гулко-сипло слышится, будто в нее канула сама жизнь и мысль-чувство угнетается фатальностью: «дальше» ничего уже не будет, как в «Гамлете»: «The rest is silence» – «Дальше – тишина».

«Я думаю, во время большого пожара наступает такой мучительный миг: водяные струи опадают, уже не карабкаются вверх пожарные, все замирает. Медленно рушится сверху черный карниз, и всей стеной, схваченной огнем, дом кренился – беззвучно. Все стоит, застыв, сжавшись, ждет страшного удара. Вот такая тут тишина».

«Тут» Тишина эпизодична, контрапункт, когда скорбно-мрачное звучание кончины-небытия. Однако она усиливает зарницу-озарение бытия-бесконечности, живой жизни. И кажется по сравнению с ней мимолетным миготом, переходом-надеждой под крыло-заботу истополной Тишины.

«...Но в скором времени я перееду в тихий скромный дом со старинной террасой, который стоит в самой глубине большого парка, в стороне от города, его смены событий и шума. Там проживу я всю зиму и буду радоваться большой тишине, от которой я жду, как дара, многих часов спокойствия и труда»...

Уединяясь в свой сокровенный Дом, запираясь в нем от всех влияний извне, человек, как ни странно, вырывается на блаженный простор-свободу, ведь он погружается в душевный эликсир Тишины.

«Ничто не дает такого чувства бескрайнего простора, как тишина. Я вошел в этот простор. Шум окрашивает пространство, насыщая его звуковой материей. Безмолвие совершенно очищает его – нас охватывает чувство шири, бездонности, бескрайности...» (Г. Башляр).

Это значит, исполняется само предназначение-сущность Дома, приемника-содержателя уникального, все более ценного достояния – Тишины.

Хочешь не хочешь, Тишина одомашнивает, обволакивает-уединяет. Ибо разве может быть нечто тише Дома, тишайшего

по геннопризванию своему, «ведь нет ничего тише, чем свидание со своим жилищем» (Ф. Кафка).

«Здесь же ты у себя дома, на родине; здесь можешь ты все говорить и открыть душу свою, ничто здесь не стыдится скрытых и скупых чувств» (Ф. Ницше).

Дом – колыбель-родина сугубо человеческой Тишины.

«Самое лучшее в моем доме – тишина. Правда, она обманчива. Она может быть однажды внезапно нарушена, и тогда всему конец» (Ф. Кафка).

Она же – вожделенное всему начало, когда и самые многоголосые, истошно крикливые вещи напрочь замолкают.

«О блаженная тишина вокруг меня!.. Как глубоко и чисто дышит тишина! Как прислушивается она, блаженная!» (Ф. Ницше).

Обладание этим сокровищем требует его сбережения-охраны подобно чистому кладезю с «живой водой».

«Глубокая тишина; как здесь хорошо, никто не думает о моем жилье, у каждого свои дела, не имеющие ко мне никакого отношения; и как я ухитрился этого добиться!» (Ф. Кафка).

Не добиваться-домогаться, не стремиться-бороться, как наставляет восточный принцип у-вэй, но кротко ожидать-веряться всем своим существом Матери-зарождению.

«Тишина в женщине, вынашивающей дитя. Тишина налитых молоком сонных грудей. Тишина в женщине – молчание дневных сует, умиротворение жизни, собирающей дни в сноп. Тишина в женщине – святыня и продолжение. В тишине женщины зачинается единственный путь, который непременно куда-то поведет»⁸.

И даже вновь в детство с его заманчиво пугающими страхами.

«О, тишина на лестнице, тишина в комнатах рядом, притаившаяся под потолком тишина. И мать – единственная, эту тишину отстранявшая, когда-то в далеком детстве. Ты принимала ее на себя, ты говорила: “Не бойся, это я”. У тебя доставало духу самой посреди ночи стать тишиною для того, кто боится, кто погибает от страха».

⁸ Здесь и далее жирным переживания Экзюпери.

*...Из чьего-то детства
Тьма в доме, все сгущаясь, нарастала,
в ней где-то притаился мальчуган...*

*.....
Стоял рояль среди полной немоты,
и звуки песни вспомнились ему,
еще ребенку ранившие грудь.*

Есть она, соответственно, и в мужчине, прирожденно-призванном путнике, нуждающемся в «тишине самих мыслей».

«Тишина в мужчине – он облокотился на стол, он задумался, он питает и питается соком мысли. Тишина позволяет ему знать и не знать. Тишина – это отметание вредоносных паразитов и сорняков. Тишина – хранительница и русло его мыслей».

Она, наконец, есть-свербит и в их общем плоде-эмбрионе, в его еще тишащимся сердечке.

«Тишина сердца. Чувств. Слов в тебе, ибо хорошо, когда ты становишься ближе к Господу, а Он – тишина вечности. В ней все уже высказано, все уже сделано».

Остается беззвучный полет-наступление во сне-наяву, в невесомости Тишины, за таимной вуалью которой явствует по жизни-смерти Всем.

Наступает тишина.
Приходи побыть со мной,
Ангел Смерти, Ангел Сна,
В лице бабочки ночной.

*.....
Без упрека, без мольбы,
Проскользнем мы над Землей,
Ангел Смерти, дух Судьбы,
Мы уйдем с тобой домой.*

К. Бальмонт

Так упоенно летели Мастер-Маргарита, несомые торжественной Тишиной.

Куда?

«Туда, туда. Там ждет уже вас дом... По этой дороге, мастер, по этой... Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду».

Зачем?

Дабы слушать и наслаждаться безупречной и всеильной Тишиной, когда «вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит».

Полет во славу Тишины как воссоединение снаружи-внутри и изнутри-наружу.

«Сущность дома самовозрождается изнутри, из смутной тишины домашнего бытия. Кажется, будто наши воспоминания связывает некий флюид. В этом флюиде прошлого мы растворяемся» (Г. Башляр).

Растворяемся, дабы вновь по поре-сроку кристаллизоваться благодаря витающим в ней флюидам, оплодотворяющим снами явь.

«Наполненный этим ощущением, на несколько мгновений я слился с величием ночной тишины. Она была осязаема, как живая. Тишина была плотью – плотью, растворенной в ночи, сотворенной из ночи. Реальной и неподвижной» (Г. Башляр).

Ночная Тишина – тьма-тьмущая Тайны.

В тиши ночей, от взглядов ищущих сокрывшись.

Я вижу отблеск пламени во тьме,

И в этом зеркале огня картины

Всплывают будущих времен.

Мишель Нострадамус

Всплывают из заводи темных времен в просторах полноводья Тишины, выносящего на гребне памяти чудеснейшие картины-образы детства. Потому, как и в тюрьме, чьи стены не доносят до «чувств ни один из звуков мира», и там мы «владеем детством, этим неоценимым, царственным богатством, этой сокровищницей воспоминаний».

«Мысленно обратитесь к нему. Попробуйте вызвать в памяти из этого большого времени все, что Вы забыли, и Ваша личность утвердит себя, Ваше одиночество будет шире и будет домом в сумерках, мимо которого будут катиться волны людского шума...». Из этого «обращения к себе самому, из этого погружения в свой собственный мир родятся стихи».

Природа – Родной Дом неизбывной Тишины, и в нем она обнаруживает себя ожиданием шорохов-шелестов, пискорычаний, голосов-криков, громов-взрывов...

*В печи искристым треснет громом
полено так, что дрогнет дом.
Часы идут шажком знакомым,
а день, как вечность, белым комом
растет и пухнет за окном.*

Ночная тишина.
Лишь за картиной на стене
Звенит-звенит сверчок.

Басё

Еле слышный скрежет ставен, скрип половицы способны «загнать» Тишину в дальний угол, по глубоким щелям. Однако тогда-то Тишина и становится полно-властной.

«Как-то раз, когда день клонился к закату, а тишина ложилась на чистое-чистое небо, я сидел в одиночестве на тесной белой веранде, не видя ничего, кроме крыши ближайшего дома, листвы стоящего рядом дерева и неба. Я поднялся было, чтобы пойти спать, но вдруг почувствовал, насколько проникся нежностью мира. Только что мной владело какое-то Духовное неистовство, и под его впечатлением я понял, что испытанное мною блаженство не так уж отличалось от “мистических” состояний... Я подумал, что мне сообщалась “нежность неба”, и я мог в себе самом отчетливо ощущать отвечавшие ей состояния. Я чувствовал, что она наполняет мою голову каким-то парящим, едва-едва различимым струением, как-то причастным нежности того, что было вне меня, дававшим мне ее во владение и заставлявшим ею насладиться» (Ж. Батай).

«Когда тебе плохо – прислушайся к природе. Тишина мира успокаивает лучше, чем миллионы ненужных слов» (Конфуций).

Она чудесно завораживает, волшебю опьяняет.

Меж сосен метель присмирела,
Но, пьяная и без вина,
Там, словно Офелия, пела
Всю ночь нам сама тишина.

А. Ахматова

Очаровывает своей неподражаемой певучестью.

Я тишиною очарован
Здесь – на дорожном полотне.
К тебе я мысленно прикован
В моей певучей тишине.

А. Блок

Я хочу быть единственным в доме,
кто знал, как мерзнут цветы.
И слушать, как шепчут в дреме
созвездия, листья и ты.

Р. М. Рильке

Дом – слуховая трубка-воронка для восприятия Вселенской Тишины, ее концентрации и разложения на спектр-диапазон уникальных непроявленных звучаний. Дом, как по нотам, выявляет-оглашает их. Правда, надобно обладать особо чувствительным слухом-слышанием, способным различить импульсы движения и в «глухом» покое. Разве что символопоэтика «тонкого» Востока наслаждается таковой «музыкой».

Так, в японском мирозерцании «состояние покоя первично, а движения – вторично». В музыке тишина обозначается понятием *ikita ma*, что в переводе – «живая пауза».

*Вечер. Вишни в цвету.
В том домишке и в этом
Тоже играют на кото...*

Накамура Кусадао

В японском Доме магическое «Ма» (Луна в створе окна-окна) одновременно с Пустотой закономерно отсылает и к ее акустической ипостаси – Тишине.

Месяц на небе,
Месяц на небе,
Один ты на свете товарищ
Бушующей буре.

Бонтё

В «прикладном» порядке Тишина означает спокойствие-простоту общения, содержательную беседу, изобилующую паузами-умолчаниями – этическим запасником для размышлений, а также знаком уважения к словам-речи собеседника. Наконец, недосказанность используется признаком разумности-догадливости собеседников.

Так что Ма – Тишина молчаливой паузы, естественной интуиции – лоно рождения смыслов-образов, облекать которые в вериги звуков вовсе необязательно, и даже вредно для передачи искренности чувств.

Ма-Тишина в отличие от «пространственной» Пустоты преисполняется Временем-темпом, ритмом-рифмой. Луна в его иконографии не пришла-присутствует, но становится-осуществляется. При таковой Дом намекает, дает почувствовать-понять о некоем исполнении: мАмонаку – вскоре, ма-га ару – еще есть время, ма-ни – мгновенно. Наконец, мацу ма-га хана означает, что ожидание события бывает приятнее, чем само оно сбывшееся. Приглашение-увлечение поэтичнее, чем пребывание.

Луна-путеводный знак –
Просит: «Сюда пожалуйста
Дорожный приют в горах».

Басё

И сердцем далеко носилась
Татьяна, смотря на луну...
Вдруг мысль в уме ее родилась...
«Поди, оставь меня одну».

.....

И вот она одна.
Все тихо. Светит ей луна.
Облокотясь, Татьяна пишет...

А. Пушкин

В ладоши звонко хлопнул я.
А там, где эхо прозвучало,
Бледнеет летняя луна.

Басё

Хлопок обеими руками слышен всякому. А как звучит он одноладонный?

В буддийской легенде рассказывается, как юноша, ища на это ответ, перебрал чуть ли не все существующие в Природе звуки: пение птиц, журчанье ручья, шелест листвы, шум ветра... Все было не то... Наконец пришло озарение: «Да это же звучание Тишины!».

Тишайший хлопок заставляет нежиться или, напротив, насторожиться в предвкушении явления народу-миру, неизвестного доселе, следовательно, заслуживающего внимания-интереса, и даже сакрализации.

Она еще не родилась,
Она и музыка и слово,
И потому всего живого.
Ненарушаемая связь.

О. Мандельштам

Тишина как изначальное предсобытие-эмбрион. То «немое» событие, что «беременно» Всем, будто от «духа святого».

«Тишина творит» (П. Валери).

Это ненаполненная Тишина; она, словно весенняя почка, набухает и нарастающим шумом пробуждающихся строительства нового Дома, и звонкими возгласами новорожденных, радостными перепевами праздников, интимным шепотом спален, утихающим смертным одром... Словом, всей полнотой жизни.

Опустошенная тишина. Она отпугивает мраком полного одиночества, когда кажется, что почва ушла из-под ног, что все изменилось, как будто с исчезновением звуков исчезла и сама жизнь.

Ни с чем не сравнима глухо-пустующая Тишина опустевше-опорожненного Дома.

Есть тишина садов и рощ густых,
Объятых дремою глубокой,
И, когда колокол затих,
Безмолвье гулкое на звоннице высокой.

Есть дум уединенных тишина,
Когда нас мысль о прошлом гложет
И тварь земная ни одна
Раздумий наших горьких не тревожит.

Но тишина пустого дома, где рожден
Ты был, где жил и рос, где в жизни прежней
Друзья сходились под бокалов звон –
Что этой тишины мрачней и безнадежней?

Т. Гарди «Тишина пустого дома»

Под опустевшим кровом больше не слышны
Застольный шум, и музыка, и пенье.
И, словно в некий транс погружены,
Застыли комнаты в немом оцепененье.

И невозможно этот тяжкий сон стряхнуть,
И нет такой на свете силы,
Чтобы из прошлого вернуть
Хотя б подобье жизни в этот склеп унылый.

Т. Гарди

«Мы умираем тогда, когда от нас уже никто не ждет никакого звука» (О. Розеншток-Хюсси).

Так и Дом умирает, когда от него не ожидается нарушения-одоления болезненной Тишины. Если же ожидается взалканием творчества, то она возрождает его дух негой-наслаждением, истым наслаждением ее-ей слушания-послушания.

«И все же в тишине что-то светится».

Проблескивает робкой искоркой, которой неминуемо возгорится живое пламя живой жизни голосящей.

Это Тишина высвобождения. В современном мире она отвоевывается нами. Ее мы ценим как достояние, как сферу возрождения. Как возвращение Домой, как восхождение-вознесение к Храму.

Тишина...
Туда взлетая, звук немеет,
Лишь жизнь природы там слышна,
И нечто праздничное веет,
Как дней воскресших тишина.

Ф. Тютчев

Все бытие, все сущее согласно
В великой, непрестанной тишине.
Гляди в нее участно, безучастно, –
Мне все равно – вселенная во мне.

А. Блок

Воскресшая Тишина. Неопишуемая радость исходит из, казалось бы, навсегда отобранной Тишины, что грохоча-трезвоня прикончил сосед в свою необузданную угоду.

«...И тут (как описать?), тут стало тихо. Тихо, как когда отпускает боль. Удивительная, осязаемая, зудящая тишина, будто затягивалась рана. Теперь я мог спокойно спать. Глубоко вздохнуть – и заснуть. Но мне не давало заснуть удивление. Кто-то говорил в соседней комнате, но голос был – часть тишины. Такую тишину надо услышать, ее нельзя передать. Я сел и вслушался: было как в деревне, на воле».

Вожденная Тишина. Это когда уже нет никакой мочи без нее.

Тишины!

Тишины хочу, тишины...

Нервы, что ли, обожжены?

А. Вознесенский

По всей видимости, пииты всех времен-народов, ошеломленные градошумом, алчут возвращения в Тишину, в ее Домолоно, подобно изнемогшей в громких играх-забавах детворе, детям, бегущим от грозы.

...Устав от перемены шумных мест, как блудный сын, возвращается Онегин к немногословной Татьяне в полутемную тишь кабинета по ее умолчанию, которое она пронесла из своего молчаливого в неге сада, от темно-зимнего вещего окна. Пусть Онегин и не стал поэтом, хотя проникновенность Тишиной еще оставляет весомый шанс. Ведь вдоволь был пронят обманом столичного света, от которого он неоднократно отрекался, «когда жестокая хандра./ За ним гналася в шумном свете».

Да и родом он из Тишины.

Я был рожден для жизни мирной,

Для деревенской тишины:

В глуши звучнее голос лирный,

Живее творческие сны.

Так что Онегин лишь приписывался рождением к берегам Невы. И даже в городе столичном неминуемо и восторженно почитает святость Тишины, куда возвратно устремляется, пусть даже и не отдавая тому отчет. И прозревшим скитальцем, и вдоволь поблуждавшим по «пустозвонству» сыном.

...И в тишине святой,
От шума вдалеке,
Живу я в городке,
Безвестностью счастливом.
Я нанял светлый дом.

«Окошки в сад веселый» – там деревья милые, цветущие кусты, цветы нежнопахучие и быстросвежий ручеек. «Здесь грома вовсе нет»... Здесь и только здесь поэт «живет благополучно» (А. Пушкин «Городок»).

Видать-слышать, универсальная судьба-спасение многих «оглохших» без Тишины – ринуться в путь, куда-нибудь – в Тавриду, Болдино, Переделкино, Гималаи...

...Немного отойду и возвращаюсь,
Любуюсь – до чего красиво здесь.
Вот домик мой, вот ручеек журчащий,
А вот тростник поднялся словно лес.
Глаза туманятся слезой невольной.
Просторно,
Тихо
И привольно.

«Цветы и сливы цвет»

Это кротко оглушительная Тишина, вещание которой о живой жизни ЧеловекаДома удивительно многообразно, нанизывая паузами на ожерелье-четки предзатишья непредсказуемую импровизацию: скрипит, воет, плачет, стучит, хихикает, шелестит, хлопает, в том числе и «одной ладонью». То как зверь она застонет, то заплачет, как дитя...

Перед величием этого многозвучия слышатся истерично-беспомощными, рабски верноподданническими лавины-шумов, гулов-громодье. Посему еще величественнее тишится соборный колокол, обволакивающий своим крепко подвешенным языком-возглашением все Дома округи.

О да, я знаю, это по мне
Колокол вечерний звонит,
Но в тишине прохладой дышу.

Исса

«С последним ударом колокола еще тише тишина» (М. Хайдеггер).

...Обозвать Тишину отсутствием звука или колебанием воздуха – оскорбить-унизить не ее, но самого себя, не признающего, что в ней неизбывны колебания-импульсы души.

«В мире никогда не бывает безмолвия; даже когда мир молчит, в нем непрерывно звучат вечные ноты, которые отзываются на вибрации, исходящие от нас самих» (А. Камю).

Они влекут-зовут, то, как приглушенная нега, не потухнуть, то, как громогласная страсть, воспламениться.

Каким образом?

Молить, кричать, писать... чего же более?

Молчать... Дабы не лишиться невысказываемого и не выказывать свою немощь правдиво выражаться.

«Мысль изреченная есть ложь» (Ф. Тютчев).

Выходит, и это изреченное – есть ложь. Ложь о лжи? Нет, правда о Тишине, где до момента нашего обращения к ней, как в глубоком днокрытом колодце, штильно покоятся смысловые образы, до которых языку нашему, неизлечимо косному, видать, не дотянуться.

«Как беден наш язык! Хочу и не могу...» (А. Фет).

Не сможет ни один язык все высказать, что мысль предполагала, потому как не может выйти из языка, «дома бытия» (М. Хайдеггер).

Но даже в этом, казалось бы, весьма обжитом, «знакомом до слез» Доме, в темной тиши «чулана», на забытом «чердаке», до времени помалкивая, бытийствуют лагуны невыразимого, но выказывающего себя смутными первообразами, особыми ментальными сущностями, еще не подвергшимися концептуализации, не структурированные в лексике (Л. Витгенштейн).

Однако предчувствуемые воображением-интуицией без всякой на то подготовки-наушения. Вот почему искони востребована поэзия, которой чужды формословные преамбулы, принципы, методы, доказательства...

«Она отвергает даже сомнения. Единственная нужда ее – в молчании, в прелюдии тишины» (Г. Башляр «Новый рационализм»).

Молчанием Тишина очеловечивает персонально-лично, словно внимательный терапевт.

«Человек становится человеком больше вследствие того, о чем он умалчивает, нежели вследствие того, о чем говорит» (А. Камю).

Тем более боги – неисправимые молчуны. На все наши мольбы они отзываются молча, хотя это не значит, что они равнодушно отмалчиваются.

Я верю – боги в тишине,
А не в смятении и не в буре.

Н. Гумилев

Совсем не знак бездумья молчаливость.
Гремит лишь то, что пусто изнутри.

У. Шекспир

Подлинное молчание – не есть просто беззвучность, но есть внутреннее молчание, когда приходится молчать и мышлению.

«О чем невозможно говорить, о том следует молчать» (Л. Витгенштейн).

И это важный портал не в безмолвие, но в диалог-общение с самим собой, прислушиваясь к внутреннему исповедальному голосу, и такое возможно негласным откровением с самим-собой, «соображая на троих» в одном, будучи «пациентом» З. Фрейда – Я, Сверх-Я и Оно.

В дискурсе классической философии молчать – значит занимать-иметь дистанцию по отношению к миру, достаточную для укрытия-убежища от Другого под кров своих норм-порядков. Здесь весьма уместно знаменательное выражение: «мой дом – моя крепость». Сегодня в нем можно обнаружить не только слоган консерваторов-снобов, но и признаки асоциальности.

Неклассическая философская антропология отказывает Другому в праве быть той инстанцией, которая якобы «завершает нас, дает нам целостность» (М. Бахтин). Однако, когда человек говорит, он дистанцируется по отношению к самому себе. В молчании манифестируется свобода. Молчать – претендовать на свободу само-собой-быть, что обуславливается не глу-

хонемой ксенофобией, но благодатно своей целью – открываться самостью. Отсюда ставится под сомнение-ревизию тезис об изначальной социальной природе человека, о его неустранимом стремлении к со-бытию с Другим (Ж. Делез).

«Другой – это тот, кто заставляет нас смотреть на себя с отвратительной точки зрения» (Ф. Достоевский).

То есть Другой – это не внешняя причина-фактор, объективация переживаний, их возможная защитно-развивающаяся сублимация. Другой – в нашей внутренней Тишине, защитной завесе-ширме самости от «оголения». И на нее прежде всего покушается агрессивно-навязчивый сосед по Дому.

Именно от его яви все неожиданно взрывается-разражается – *«запрыгало, покатилося, стучалось, качалось, гремело»...*

«Мог бы, кажется, заметить, что в этом доме о тишине не слишком заботятся...».

Поэтому она сама берется восстанавливать свое благодарное право-власть.

«...И тут (как описать?), тут стало тихо. Тихо, как когда отпускает боль. Удивительная, ощутимая, зудящая тишина, будто затягивалась рана. Теперь я мог спокойно спать. Глубоко вздохнуть – и заснуть. Но мне не давало заснуть удивление. Кто-то говорил в соседней комнате, но голос был – часть тишины. Такую тишину надо услышать, ее нельзя передать».

Но ее нельзя услышать в обезумевшей, криковопящей толпебуче, доводящей до спазма-отчаяния.

Тишины!

Тишины хочу, тишины...

Нервы, что ли, обожжены?

А. Вознесенский

А если просто замолкнуть-помолчать, пока Тишина сама не пропитает чувство-воображение, дабы окунуть его в естественный ток бытия.

Вместе с хозяином дома
Слушаю молча вечерний звон.
Падают листья ивы.

Басё

«Молчание – верный друг, который никогда не изменит» (Конфуций).

Так, в сокровенном диалоге-сомолчании Восток находит друга-собеседника в Другом, а не соревнуется, кто кого перемолчит-вымолчит.

«Иногда полезно помолчать, чтобы тебя услышали» (С. Лец).

«Лишь молчание понятно говорит» (В. Жуковский).

...«Молчание – золото». Утверждая это, мудрецам казалось, что они «схватили дух» Тишины. Поняли, что она способна задеть самые тонкие струны нашего мироощущения, окунуть в самую пронзительную немоту над «вечным покоем», но в итоге – одарить радостью ожидания новых вспышек жизни, которая, «как тишина осенняя – подробна» (Б. Пастернак).

Такому просветленному молчанию противостоит молчание дремучее – когда вообще сказать нечего.

Понятно, что речь опять-таки идет не об отсутствии звука, не о глухонемом безмолвии, лишённого смысла, но про имманентный поиск-зарождение осмысленности в любом предъявлении. Тогда и «звезда со звездой говорит», ведь «только в подлинной беседе возможно настоящее молчание» (М. Хайдеггер).

Звучать может и ветер в горах, и море в камнях. Но молвить, а главное, замалчивать-помалкивать – лишь существо-событие небесно-бессмысленное, одушевленное. И при этом одаренное магией влияния беззвучногласного, мистикой безмолвности. И тут доносится недоумение: возможна ли сия магия без-вне языка, притом что «язык не может реализовать себя иначе, чем через говорящего языком человека»? (М. Хайдеггер).

Однако это удается ЧеловекоДому, его таимому, скрытому от логики здравого смысла, но задушевно-искреннему Поумолчанию. Через него накапливаются возможности для наиболее полной реализации языка-себя, ведь в нем содержится все до сих пор услышанное и пока невысказанное – неисчерпаемый клад и многообещающая предтеча всякой мысли-выбора.

Все, о чем мы еще стожимся говорить, не находим слов для того, но уже изготовлены к озвучанию – неистребимый зов Поумолчания, согласующим уже-еще – слушание-молчание, знание-предположение, убежденность-веру, которыми исполняется живая речь, фундаментальный экзистенциал, «черта бытия» (М. Хайдеггер).

С ним послеречие исполняется наитивным нарративом, дарующим языку быть живым Домом заповедно обетованно-обитаемым. Оно возбуждает ожидание, подогревая на Домашнем очаге-языке экзистенциального вопрошания-радости предчувствия диву давания со всей палитрой чувств-переживаний.

Страх и отчаяние – в недрах Поумолчания.

Нега и чаяния – на кончике Поумолчания.

Благодаря этому в холоде убийственной-гробовой Тишины, теплится нескончаемым поумалчанием надежда-вера, религиозная, по сути, потребность речевать-говорить. Ибо сам «Бог заставляет нас говорить... Он есть сила, которая в нужное время заставляет нас говорить и слушать...» (О. Розеншток-Хюсси «Бог заставляет нас говорить»).

Пророки-поэты слушают не голос Бога, но Поумолчание, взращенное на пороге Дома Бытия, откуда оно уже-еще взывает-выводит, указывая-выговаривая:

Иди туда, куда не можешь; узри то, что ты не видишь:

Услышь то, что не издает шума и не звучит.

Теперь ты там, где говорит Бог.

А. Силезиус

...Поумолчанию человек учился сам, культивируя потребность сокрыться-утаиться в нескрываемости Всевидящего:

«И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты?».

Правда, сколько поумалкивал на этот тест-вопросание бездомный Адам, неизвестно... Дай ответ, бездомный Адам... Не дает он, человек-без-дома ответа... Первый он таков, но до сих пор не последний...

...Поумолчание снимает проблематику обреченности «последнего» как окончательного последствия, оживляя его каче-

ством пред-следнего, еще не хоженного мыслью-языком. Пока мы живем с нерастраченным Поумолчанием, чувствуем некий озаряющий импульс-свечение. Ведь если в Тишине все же что-то светится, то в Поумолчании непременно нечто еще-покауже темнится как явление бытия-небытия знания, проявление вероятности познания, где незнание априори всегда богаче-обширнее наличного знания, обедненного отсутствием несказуемоизрекаемого. Им обладает-владеет разве что ЧеловекоДом – эзотерически неисчерпаемое многообещающее Поумолчание, и зачинается-живет «подлинная беседа», исполняющая «настоящее молчание» (М. Хайдеггер).

В этой связи Поумолчание есть молчание в экзистенциально-виртуальной трактовке как «менее всего совершенное окончание речи, от которой оно отделено четкой границей, а скорее – нечто, существующее и действующее наряду с тем, что произносится – вместе с ним и во взаимодействии с ним в рамках общей стратегии поведения» (М. Фуко).

Отсюда следует трансгрессивность ЧеловекаДома – «преодоление непреодолимого предела» с итоговой констатацией, что «четкую грань между тем, что говорится, и тем, что не говорится, провести невозможно» (М. Фуко). Собственно поэтому он исполняется как витально-символическая фигура Поумолчания со многими подвижными, метаболическими, говоря языком зодчества, ракурсами, ликами, фасадами, планами, проекциями, разрезами. И она матрично принимается голографической целостностью человека, в которой, по Ж. Батаю, фокусируется не социальность, не трансцендентальность и даже не сцепка фрагментарностей.

«В сущности целостный человек – это всего лишь существо, чья трансцендентальность упраздняется, от которого ничто более не отделено – чуть-чуть фигляр, чуть-чуть бог, чуть-чуть сумасшедший...» (Л. Витгенштейн).

Целостность, таким образом, становится зыбкой, иллюзорной, ведь если «чуть-чуть», то это уже не целостность, если ее понимать завершенностью исполнения, конечным результатом пути и принимает такую трактовку пункта «А» в пункт «Б».

Мысль может замереть,
и высказать не сможет
все, что высказать ей
невозможно...
Такая невозможность ставит мысль
и Бытие лицом к лицу.

М. Хайдеггер

Поумолчание же зиждется на целостности исполнения как континууме сродни безначальноконечному Дао, ток которого погружается в сферу синергетического представления о бытии со всеми ее оксюморонами-парадоксами. И только открывается герменевтической процедуре в качестве увлекательного текста-«детектива», преисполненного таинствами своих неисчислимых контекстов, не лишенных ни скепсиса памяти, ни прозрачности грез, ни иронии воображения. Приемля-храня единым духом-скрепой и последний выдох предков, и первый вздох потомков благодаря своей экзистенциальной голографичности, возможности возможностей...

Дом вещает себя-собой самобытным событием бытия-становления, имеющего сложную систему смыслов, которые складываются в своеобразное писание, которое продолжает, которое «говорит тогда, когда уже молчат и песни, и предания» (Н. Гоголь).

А что собственно фиксирует письмо-писание?

«Не сам акт речи, но “сказанное” в речи, где под “сказанным” мы понимаем результат намеренного, всегда конституирующего дискурс процесса разворачивания, благодаря которому sagen, т. е. акт речи, стремится стать Aus-sage – т. е. высказанным в речи. Короче говоря, то, что мы записываем, есть поета [“мысль”, “содержание”, “суть”] речи. Это смысл акта речи, но не сам акт речи» (П. Рикер).

Так и дом осуществляется не через свое наличие-пробывание, но через акт его осмысления ментально-чувственного феномена, пребывающего в его потаенной глубине гармонично-тихим семейством смыслов.

Посему Поумолчание ЧеловекоДома ставит не столько «лицом к лицу», которого, как известно, не увидеть, но перед зеркалом Бытия с его зазеркальем – Тишиной-Небытием. На нем и испытывается жизнь-живучесть человека, в сомнении обнару-

живающего свой дух-дыхание в легко исчезающей испарине наличности, в прозрачных грезах сна как в украденной Тишине.

Только зеркало зеркалу снится,
Тишина тишину сторожит...

А. Ахматова

Поумолчание Человека Дом приемлет-хранит и тем проявляет уже-еще присутствующее в Тишине, включая до-после, пред-за-тишье.

И все вместе они подвигают проявлять-вымолвлять на просвет уже присутствующее во тьме-тиши. И тем дробности создать целостность, которая преодолет и уничтожит разброд. Значит, из кучи камней создать Тишину (Л. Витгенштейн). Или сотворить вдохновляющее беззвучие, что отнюдь не означает устройство вакуума безмолвного, но исполнить Поумолчание.

Поумолчание, «материализуясь» беззвучием, излагает-делится, о чем невозможно говорить и бесполезно молчать. И это есть-живет истая неразоблачаемая всегда «первой свежести» магия Поумолчания, Одомашненное оно настраивает на медитацию, исхицию, трансгрессию, а Дом сполна исполняет свою априорную ипостась, врожденный геном-предназначение. Посему в якобы монолитноглухой Стене всегда найдется просветьма, допускающая в ауру всевещности.

«Здесь все вещи, ласкаясь, приближаются к речи твоей и льстят тебе... Здесь прямо и искренно можешь говорить ты со всеми вещами; и поистине, похвалой кажется слуху их, что кто-то говорит с ними прямо!» (Ф. Ницше).

Отсюда Дом отнюдь не молчун-немой. Просто он не может лгать-предавать, разве что разочарование в своих собственных вольно-невольных чаяниях, неожиданного саморазоблачения, обманутой самонадеянности, превратного понимания сути своего исполнения. Поскольку оно берет «взаймы» у памяти-грез, и сторицею бескорыстно отдает присущей наличностью. Так оно иллюстрирует синергетическую концепцию бытия-становления, разрешает философическую дилемму «быть или казаться» (Э. Фромм). И посему такой Дом всегда своеобразный, если, конечно хватает слуха постичь его недо-

молвки-умолчания как адресное эхо ответственной, неспособной смолчать Тишины.

«Может быть, постичь истину – значит чувствовать ее безмолвно?.. Может быть, постичь истину – значит обрести право умолкнуть навсегда?».

Вместо гласного ответа – Тишина, под овацию «одной ладонью» уверяющая, что **«каждый найдет свою истину и укоренится в ней»**. Если, правда, будет искренне верен таинственной незнакомке Тишине, под томной вуалью которой чувствуется не свершившаяся радость, но начавшаяся печаль.

«Ведь это минуты, когда в нас вступает что-то новое, что-то неизвестное; наши чувства умолкают со сдержанной робостью, все в нас стихает, рождается тишина, и новое, неизвестное никому, стоит среди этой тишины и молчит».

Имеющий сердце-душу да услышит эхо-утишение во всеответном Поумолчании Дома, которое всегда исключительно от первого лица.

Береженого и Дом бережет, или Без вины виноватая

- Помилуй, это – дом?
- Дом – в сердце моем.
- Словесность

М. Цветаева

На Дом надейся, но и сам не плошай! Таковой поговорки дословно не существует, но наши пращуры беззаветно придерживались этого весьма очевидного зазыва-наказа. Ведь принимая мировые силы-веяния, Дом «иногда делает их благотворными... Но через дверь дома, приоткрытую или даже запертую, могут войти и самые пагубные силы...» (Ж. Делез, Ф. Гваттари). В том числе и «незванный гость», неприятель-пришелец, враг-злоумышленник. Его вероятное нашествие воспитало установку осторожности, осмотрительности, что и послужило изобретению «всевидящего ока» – дверного глазка.

Древнее мировидение пронизано магическо-заклинательной символикой, призванной защитить Дом изнутри, силами сверхъестественных предстателей, которые отличались отнюдь не богатырским могуществом или видом устрашающим. Выделялись они другим – высокими, что говорится, моральными качествами, добротой, преданностью, неподкупной верностью своему Дому. Хотя характер у них был не из простых, и не были они беспринципными соглашателями. Именно таковой добросовестной домовитостью, по имени-призванию, обладал наш Домовой.

Поместья мирного незримый покровитель,
Тебя молю, мой добрый домовой,
Храни селенье, лес и дикий садик мой,
И скромную семью моей обитель!

.....

И от недружеского взора
Счастливым домик охрани!

.....
Ходи вокруг его заботливым дозором,
Люби мой малый сад, и берег сонных вод...

А. Пушкин «Домовому»

И время не властно над чарами Домового, из поколения в поколение снискивает он трепетное почтение, будит воображение, то отсылая в сказочное детство, то одаривая поэтическим вдохновением.

Неуловимым виденьем, неотрицаемым взором,
Он таится на плоскости стен,
Ночью в хозяйских строениях бродит дозором,
Тайночью веет и волю свеваает,
Умы забирает
В домовитый свой плен,
Сердцу внушает, что дома уютно...

К. Бальмонт «Домовой»

Главным внутридомовым оберегом служила печь. От нее начинались все житейские «танцы-пляски». При ней давали клятвы, у печного столба заключали договоры, в подпечье обитал сам Домовой. Белорусы столб печи называли «дедом» и непосредственно его отождествляли с Домовым, коего нередко именовали «Столбовым».

Новоселье исполнялось обрядом перенесения Огня из старого жилья в новое, зазыванием Домового: «Домовой, Домовой, пойдем со мной!».

«Изба для славянина была не только домом, в обиходном смысле этого слова, местом жилья. Изба была первым языческим храмом» (А. Афанасьев).

Приветливо вмещал Дом-хоромы всевозможные семейно-родовые празднества-соборы. Естественно, под недремлющим оком «счастливого домика охранителя». Перед ним заповедно соблюдался порядок размещения не только мебели-утвари, но и всех домочадцев, хорошо знавших свое Место.

Древнейшая и наиболее доступная защита-оберег Дома и от гостя реально отвратного, и от вымышленных «самых пагуб-

ных сил», нечисти-гадости – сакрально-обыденная мольба-заклинание: «Будьте благословенны все дырочки, щелочки, окна и двери».

В Украине, вставляя дверную раму, заговаривали: «Двери, двери! Будьте вы на заперти злomu духови и ворови», – и делали топором знак креста.

Тем не менее, прежде всего правил запрета оставлять окна открытыми (или не занавешенными) на ночь, дабы перекрыть излюбленный лаз мертвецов-упырей и иже с ними. Многоликие обереги также занимали позиции на наиболее вероятных направлениях нашествия-проникновения злыдней, в самых уязвимых местах стенового панциря-кольчуги Дома. Посему любые щели-проемы, складки-стыки обрамлялись заботливо-любовно выполненной резьбой, изобилующей магическими знаками. Береженого и Дом бережет.

Он словно оборачивался-облекался в тканины с яркими вышивками. Среди их действующих лиц выделялась женская фигура с воздетыми к небу руками, вокруг – птицы, сверху – солнце. Рядом с солярными знаками в виде свастики, почти всегда соседствовал символ, как ныне считается, поля-земли – квадрат, поставленный на угол и разделенный на четыре части. Архаический, надо признать, знак, гармонично перешедший на вышивные узорочья свадебной одежды невест. А также одаривал собой всю мебель, начиная с люльки, и той же руковерхней фигурой.

В домоохранной дружине древнерусского мира они присутствовали неотлучно. Их изваяния-изображения с незапамятных времен выносили на фасады Домов, как боевые награды на парадный китель. Любовно выполненный «бюст» Коня исстари гордо увенчивал щипец кровли, от которого вниз спускается «досчатое полотенце» со свастикой. Причелины, спускающиеся по кромке кровли, завершаются внизу этой же эмблемой, а концам жердей с крюком, держащим желоб для стока воды, придавалась форма конской головы.

Такой неразлучный тандем в конно-солярном символе объясняется весьма просто.

«Такая система расположения солярных символов, идущая из древности, – не случайна, она была связана с геоцентрическими представлениями о движении солнца вокруг земли: сим-

вол на левом от зрителя краю кровли – восходящее утреннее солнце, верхний конек на щипце кровли – полуденное солнце в зените, на правом краю кровли – вечернее заходящее солнце. Соединение каждого солнечного символа с фигурой коня подчеркивает динамичность всей композиции: солнце показано в его движении по небосводу»⁹ (С. Есенин).

Ныне считается аксиоматичным отождествление свастики с солнцем и присвоение ей статуса солярного знака. А то, что она нередко изображалась в круге-диске, только прибавляло убежденности в «солнечности» свастики...

Однако если отказаться от семантических наслоений, стереотипов и обратиться к творцам, свободным от всяческих дедукций-индукций – к детям: нарисует ли кто-нибудь из них солнце в виде свастики?..

Хотя рисуют ее... Выводят своевольно, не думая, что творят, ничего не зная ни о индоевропейской культуре, ни о нацизме. Изображают, не обременяя себя спудом идеологических клише, сиюминутных в сравнении с извечностью бессознательного. Чертят, не взирая на политические амбиции взрослых, приговоривших безвинную Свастику к знаковым атрибутам ее кровавых извратителей.

«Она сама появляется из-под руки маленького рисовальщика, никогда и не видавшего ее раньше, когда, желая выразить быстроту и стремительность..., ребенок преобразует в свастику простой квадрат» (О. Мезенцева).

«Дети рождаются умудренными инстинктом. Они нутром знают, что правильно и что с этим делать. Это врожденное знание» (К. П. Эстес).

И только «взрослое» порицание-устыждение как «выученная беспомощность» коверкает врожденную мудрость.

И пускай наше детство не кончится,
Хоть мы взрослыми стали людьми.
Потому что родителям хочется,
Чтобы мы оставались детьми.

М. Рябинин

⁹ Здесь и далее размышления Сергея Есенина, «Ключи Марии».

Хотя, к счастью, не везде уничтожают издревнее, исходно-начальное домоустроительное членение свастичным квадратом. Оно и по сей день находится в широком употреблении в ритуалике Индии и не только, указывая на явно «домашние» начала – рождения, свадьбы.

«Священник служит требы, в которых используется символическая фигура свастики, нарисованная цветными пудрами на земле и служащая как алтарь в обряде с возжиганием огня. В церемониях рождения, бракосочетания и на других праздниках женщины часто наносят свастику на глиняную посуду, землю, стены. Когда какой-нибудь основной атрибут праздника убирается после его завершения, женщины рисуют свастику на том месте, где он находился, чтобы зло не смогло туда проникнуть» (А. Стэнли, С. Фридов).

Этимология санскритского слова «свастика» не оставляет сомнения в ее предназначении: сва – свой, собственный; свасти – благоденствие, приветствие, пожелание удачи; су – добро, благо, асти – есть, быть. Отсюда и соответствующие исконные весьма обширные коннотации: благодатное движение, доброе предзнаменование жизни непременно благополучной, процветающей, преуспевающей, плодородной...

Ну, как же ее не принять оберегом на пути к Дому!

Соответствующие заклинания с ее помощью зачинали выбор Места под задуманный Дом. По принципам мистической геомантии на земле исходно чертился внушительный квадрат, который делился крестообразным образом на четыре части. Тут же глава Дома-семейства обращался «во все четыре стороны», приносил «из четырех полей» четыре камня и укладывал их в центре малых квадратов.

Воздействие такого перекрестия безотчетно и потрясающе.

«Великое событие наступает, когда пути скрещиваются и перекрещиваются, сочетаются и переплетаются, – а все вместе взятое неразрывно движется вперед к осуществлению раз намеченной цели» (С. Эйзенштейн).

Пытаясь с предельной лаконичностью выразить эту же идею графически, получим обычный крест-перекресток в его изначальном виде – с плавно загнутыми концами в подражание эластичным тропам-проселкам, к тому же завершающимися округло замкнутыми контурами. Иконографы индусов, брами-

нов, буддистов изогнули концы этого «дорожного знака» и получили хорошо известную свастику. Так что она – все тот же ориентирующий знак-указатель пересечения путей, соединяющих некие Места-события. Она же – символ важного узла-центра ойкумены, вожделенного «пункта тяготения», а также путь к заветной цели, сопровождаемый «Свасти!», тантрической целеполагающей фразой – «Да будет так!».

Последующая мифопоэтическая разработка креста-свастики завершилась глубоко символичным знаком – мандалой, древнейшей метафизической моделью мироздания. В ее основе – неизменное перекрестье оккультных, неисповедимых путей. Иначе говоря, мандала – «суперцентр», акцентированное; сосредоточение наиболее сакральной субстанции, первопричины, археистины, «пупа» мира, что в личностном воображении обретает смыслообраз Дома, осененного животворным Огнем-Очагом.

...Какое вполне естественное, универсально-всеобщее, событие прежде всего заслуживающее столь восторженного возгласа: Свасти! (сродни библейским Осанна!, Аллилуйя!) в мире пантеистическом или языческом? Ежесуточное неизменное появление солнца (отдельные его «капризы» в виде затмения не в счет) или долгожданный проблеск домашнего очага-маячка на многотрудной дороге сквозь чащобы-джунгли?.. Небесное светило нельзя не боготворить, как невозможно не обожествлять и светило Дома. Этот факт зафиксировало издревнее почитание обоих Огней, которое, впрочем, наиболее сильным было у земледельческих племен, родительниц Дома.

«Знак этот во времена отдаленной древности, когда праотцы индоевропейского племени жили нераздельно.., имел уже у них священный смысл... Унесенный арийцами, по мере того как они оставляли общее свое отечество и уходили на юго-восток и на запад, этот знак, вероятно представлявший у них известные религиозные идеи, продолжал долго потом изображаться ими» (А. фон Фрикен).

В древнейших культурах Анатолии и Месопотамии VII–V тыс. до н. э., где обнаружены первые отдельные изображения свастики на глиняных печатях, они служили семейно-родовым знаком. Его выносили-несли олицетворением Дома-ковчега, который следовал таким образом со своими домочад-

цами. Так свастика превратилась в символ-эгиду Дома и указателя пути к нему со многими нередко экзегетическими коннотациями.

Обыкновенно лежащие статуи Будды демонстративно выставляют свои обнаженные стопы с выразительными отпечатками свастики. Ее изображение просматривается и на груди изваяний великого гуру-водителя к сокровенным смыслам бытия.

Как повествует «Рамаяна», основоположник царского рода Бхарата выбрал судно, отмеченное знаком свастики. А Рама перед походом в Индию и переправой через Ганг заблаговременно обзавелся путеводными свастиками на носу своих ладей.

Уздечный набор, колчаны, доспехи, оружие древнейших скифов были инкрустированы золотыми свастиками. Они же знаменуют пряжки скифских и фракийских вождей, прославленных всадников Древнего мира. Допускается гипотеза, что свастика выражает динамику и ассоциируется опять-таки с солнцем, именуемым в «Ведах» «бегуном» и «быстроногим». Отсюда полагается, что культ коня-солнца (свастики) пришел с исторических просторов ариев, посол древнеиндийских верований-традиций.

Среди счастливых знаков у джайнов свастика вне конкуренции. Ее вожделенно наносят всегда-езде, когда-где требуется обращение к благословению божественных сил. Торжественно она рисуется на бритых лбах молодоженов в свадебный день как акт инициации, начала новой жизни. Красным кругом со свастикой в центре обводится место домашнего алтаря.

Индусы буквально усматривают в свастике магическую энергию, которая якобы воздействует при ее созерцании. Тогда и рождаются исключительно добрые чувства-мысли с благими последующими результатами. Злые же силы-намерения тают под ее невидимым свечением-огнем. Словом, самое подходящее место этому оберегу на вратах-дверях Дома, в чем могут и сегодня убедиться пилигримы в Индию. И если вовсе не утратили в городских джунглях чудодейственно спасительное чувство Дома, если философически относятся к архаическим начертаниям, то проникнутся метафизикой Свастики...

В наших северных землях четвертичная свастика не изменяет своему призванию споспешествовать благополучию Дома, предмета заслуженного восторга-гордости, неподдельного предания пращуровых времен-мудрости.

«Ах, какой это был дом! Одних только жилых помещений было четыре: изба-зимовка, изба-лестница, вышка с резным балкончиком, горница боковая... А кроме них были еще сени светлые с лестницей на крыльцо, да клеть, да поветь саженей семь в длину... И вот, когда не было дома хозяев (а днем они всегда на работе), для меня не было большей радости, чем бродить по этому удивительному дому. Да бродить босиком, не спеша. Вразвалку. Чтобы не только сердцем и разумом, подошвами ног почувствовать прошлые времена» (Ф. Абрамов «Деревянные кони»).

Более всех защитноблагодатной символикой была наделена посуда. Свастику выжигали, рисовали, вырезали на всей трапезной утвари, начиная с солонок. Особенно же на братинах-ковшах, из которых пили пиво, исстари почитаемое в качестве источника бессмертия. А также аргументом к благообщению, что не преминул выказать Пасхальный канон: «Приидите, пиво пием новое...». Здесь свастика как визитная карточка, удастаивающая страждущего путника гостеприимством, лишенным зла-коварства...

«...В спальне Ипатьевского дома, отведенной семье отставного Николая Второго, после ее расстрела обнаружили странный знак на одном из косяков окна, начертанный рукою Александры Феодоровны – правильный четырехконечный крест с загнутыми концами – свастика с датой их въезда. Такой же знак-указатель нашелся и на обоях у кровати наследника» (М. Дитерихс).

...Прялки – вполне достойные носительницы свастики. Ведь на них искони прялась «путеводная нить», что принималось не иначе как священнодействие. Так орнамент сохранился в архетипической памяти сокровенным текстом-картой, обеспечивающей благополучное отыскание Дома в необъятности великих ширей-далей.

Глухая ночь и тихое шуршанье.
Я слышу, как шуршит веретено судьбы.
Глухая ночь, я чувствую касанье
Искусных рук, а пряльщиц только три.
Три пряльщицы судьбы в глухой ночи
Роняют звезды в темном синем небе.
Три пряльщицы судьбы, веретено звучит,
И чувствую его, где б только не был.

М. Чудинов

«Орнамент – это музыка. Ряды его линий в чудеснейших и весьма тонких распределениях похожи на мелодию какой-то одной вечной песни перед мирозданием. Его образы и фигуры какое-то одно непрерывное богослужение живущих во всякий час и на всяком месте».

То же и легендарный, нанизывающий свастики на извилистую «нить» меандрового орнамента (в честь необычно петляющей реки Меандр), в котором древние видели глубокий магический смысл – течение человеческой Жизни...

Вот поэтому свастика – одна из древнейших и универсальных начертаний-символов ЧеловекоДома, хотя ныне их магия и предстает неизбывной тайной.

«...Самая многозначная и тончайшая тайна той хижины, в которой крестьянин так нежно и любовно вычерчивает примитивными линиями явления пространства».

... на кровле конек –
Есть знак молчаливый,
что путь наш далек.

Н. Клюев

Тем не менее конь – животное сугубо домашнее, на что указывают его старинные изображения и внутри Дома – на божницах и печах. Подлокотники припечной лавки порой называли комниками, комничками, отсылающими и к древнегреческой «каминос» (печь), и к древнерусскому «комонь» (конь)... К тому же живучесть древней традиции ставить на конях свастичное тавро-клеймо, несмотря на косые взгляды антифашистов.

...Всякая впечатлительная «домашняя» натура, естественно, восторгается орнаментом родного Дома, проникаясь его единодушием с душой народной.

«...Но никто так прекрасно не слился с ним, вкладывая в него всю жизнь, все сердце и весь разум, как наша древняя Русь, где почти каждая вещь через каждый свой звук говорит нам знаками о том, что здесь мы только в пути, что здесь мы только “избяной обоз”».

«Русь избяная – несметный обоз» (Н. Клюев).

«Обоз» бытия обозрения неизменно сопровождал колодец-крыница-источник, бесспорно, «живой» воды, и тоже несметно породившей множество легенд-сказаний, образов-словес. Словно поднимая их из Земли-Матушки в «клюве» традиционного журавля, деревянного воплощения птицы-предвестницы новой жизни-счастья Дома.

А гэта хата вась якая:
Перш-наперш, выгляд добры мае.
Стаіць пры рэчцы ці крыніцы...

Якуб Колас

Крылом же домовитая птица одаривает «обоз» крыльцом, поднимающим его ввысь до возможности обозревать других, да и себя показать.

Крыльцо у дома, –
Три ступеньки,
Но сколько видело оно!
У нас в дремучей деревеньке,
В историю оно окно.
Здесь проходили мать с отцом.

В. Лавренов

Здесь искони от пращуров к потомкам проходит, доходит-отзывается их слово-речь, будто естественный «живой» ток. В нем человек выказывается существом не только уникальным, но и незавершенным, открытым преумножению и восприятию сущностей. Или возведением-убранством Дома языка-речи, которым мы живем, помним-думаем-грезим образами-значностями.

«Язык следует рассматривать не столько как мертвое порождение, но гораздо более как живое порождение» (В. Гумбольдт).

«Если таким образом мы могли бы разобрать всю творческо-мыслительную значность, то мы увидели бы почти все сплошь составные части в строительстве избы нашего мышления. Мы увидели бы, как лежит бревно на бревне образа, увидели бы, как сочетаются звуки, постигли бы тайну гласных и согласных...».

«Буква есть то же, что храм или памятник; без особого значения он, конечно, мертв» (Новалис).

Вот только сие особое не лежит на общеобозримой поверхности и к нему приходится кропотливо бурить ходы-подходы вплоть до ювенальных пластов культуры.

«Только при внимательном изучении постепенного расширения внутреннего смысла каждого символа, можно заметить все те различные понятия, которые с течением времени вошли в значение каждого известного условного знака или символа. Каждый из них, смотря по историческим обстоятельствам, объединяет в себе более или менее различные понятия, связанные между собой известною общею основною идеею» (А. Уваров).

«Различные понятия» – не что иное, как «персональные» слова – имена-названия, только благодаря которым мы имеем мир и себя в нем. Ибо «обладающее именем – мать всех вещей» (Лао Цзы).

Мать, порожденная из-вечно-в-вечностью человеческого бытия-творчества.

«Имена проходят сквозь все времена, они проходят сквозь вечность, они учреждают эту вечность, и величие имен проявляется в сохранении силы их призыва в настоящем такой же, какой она была в первый день и какой она будет до скончания дней... Названные некогда имена – это та часть нашего будущего, на которую указали наши предшественники» (О. Розеншток-Хюсси).

И то, что в исходе получалось «само собой», впоследствии обретало мистическую ауру-вуаль, не поддающуюся однозначному осознанию.

«В области психоанализа нередко достаточно дать название явлению, чтобы спровоцировать некое выпадение осадка: до наименования был лишь аморфный мутный раствор, а когда имя названо, видны осевшие на дно кристаллы» (Г. Башляр).

Иначе говоря, как бы наше рационалистическое мышление ни пыталось выстроить некую позитивистскую структуру словообразования, без фундамента-основания глубинных бессознательных основ она будет поверхностной видимостью, внешним с многочисленными наслоениями «ремонтной» покраски фасадом, который не раскрывает истую сущность-существо Дома-языка.

«Назвать что-либо его именем – значит, получить над ним власть: это существенная составная часть первобытного волхования» (О. Шпенглер).

Дабы затем вдохновлять и современное «волхование» над разгадыванием «кристаллов» прамудрости.

«Мне представляется странным уже то, что нам известны не только вещи, но и имена этих вещей... Тем не менее, я хочу большего: не просто понимать смысл слов, но еще знать, почему они звучат так, а не иначе» (Г. Лессинг).

...Ветхозаветный Творец «образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и, чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Вот только не было там одного имени-звания, не услышал Господь краткое – Дом. И не потому, что он лишен души живой, просто не было в Эдеме ничего подобного. Ибо Дом явился миру только после того, как люди предали сами выгораживать-благородить, облекать в словесность свою жизнь-судьбу вдалеке от однообразно благостно-безоблачного светло-теплого чертога под «крышей» Божьей.

Дом – творение сугубо Человека, «как бога», знающего добро-зло. И в начале начал над еле еще прирученным Огнем из подручных материалов он творит-возводит его Величество Дом, попутно отыскивая-подбирая достойное ему имя-титул.

Головной людского костра.
Ветви лапчатые платанов,
Распластавшись, легли на песок,

Никакой напор ураганов
Так согнуть их досель не мог.
И звенело болью мгновенной,
Тонким воздухом и огнем
Сотрясая тело вселенной,
Заповедное слово Ом.

Н. Гумилев

Им вдохновлялись жители Лемурии, коренной, первоначальной человекорасы, как нас убеждает «Тайная доктрина» Елены Блаватской. С ним выходит в люди с проповедью-мантрой лемурийский жрец Морадита (жилище, храм). С тех доисторических пор Имя-звание сие стало, видимо, «династическим» у служителей престола Великой Матери, прародительницы Всего из Одного.

В слове скрытое материнство
Отыскало свои пути: –
Уничтожиться как единство
И как множество расцвести.

Н. Гумилев

Издrevле люди объясняли оккультное значение-воздействие магических звукослов тем, что они хранят-несут в себе нажившую людьми энергию, заряжающую их биоэнергетические поля, культивируя на них чувства-переживания благочестия, удовлетворенности, счастья. На этой идее зиждется домостроительная доктрина Васту. То есть, понятно, на магии самого священного для индусов ведического слова «ОМ».

Однако и поныне в «первослоге» видится-слышится живительная субстанция с неподражаемым исцеляющим эффектом. Мантры, содержащие его вибрацию, динамично пульсируют внутри, задают ритм, но при этом даруют умиротворение-покой, посему и ассоциируются с христианскими «аминь» («амен»). В йога-практиках Ом-мантры незаменимы при медитации, а в итоге для прояснения ума, раскрытия каналов живой энергии, очищения ауры...

«ОМ – это весь мир... прошлое, настоящее и будущее... все есть. Ом... все, что превосходит время... это Ом» («Мандукья-упанишада»).

Выражая житнетворное соитие времени в единый путь-вечность, ОМ возвышается до мантры-гимна, часослова предвечности ЧеловекоДома. Причем от первых уст, от первого лица.

Так, облакаясь в телеснотвердую оболочку устойчивого Д, духовное ОМ оформляется словом ДОМ. И с ним органично роятся глубинные «кристаллы» санскритской словесности.

Дама, Дхам – дом для семьи.

Джаяте = рождается.

Джити = жить.

Дана = дань, дар.

Дева = бог.

Деви = богиня.

Джана = человек.

Джани = жена.

Матар = мать.

Шумеро-аккадский лексикон «не ушел» далеко:

Ама = мать.

Дам = жена.

Думу = ребенок.

Му = имя, расти.

Подобное обнаруживается по всему общечеловеческому Дому-мирозданию как его первокирпичики и венцы, все остальное предвенчающие.

Искони наиболее почитаемая мантра, священное заклинание-обет, произносимый мужчиной как можно трепетней, над своей Деви-Джани непосредственно перед любовным соитием-волшебством во имя Джити:

ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

Происхождение этого сакраментального речесобытия не могло быть случайным и вдруг как неожиданная находка на пути-дороге миропонимания.

«Сущность языка в том, что он утилизирует те элементы опыта, которые наиболее легко абстрагируются сознанием и легко воспроизводимы в опыте» (А. Уайтхед).

Так, в языке-артикуляции претворилась та непреложность жизненного уклада, что отсылает к изначалу, можно сказать, к

археархетипическому образу Матери-Жизни, в ложеснах которого вызревала речь-мысль человеческая. Иначе говоря, вначале был слог; и слог этот был МА (АМ). Самый, надо признать, естественный, предельно «легко воспроизводимый в опыте». Ведь достаточно непринужденно мычать, прищлепывая при этом губами, и он уже молвится, выходит на свет мирской.

Родившийся человек свой жизненный путь, свое сношение с миром закладывает с принятием тепла материнской ласки и сладости ее молока, за что благодарит ее простейшим «ма-ма-ма...». Так, впрочем, и зовет-просит – «ам-ам-ам...». Может, и наоборот...

Наконец, в архимантре видится-слышится сокровенный Дом, надежно защищенный со всех сторон непобедимым ОМ. И в силу этого же открыто-приветливый всяческой благодати. Одно из многих схожих по смыслу как раз об этом: «Вселенная дарует процветание и изобилие мне, принимающему их с открытым сердцем».

Так что Дом реально-символически «мельчайшая частица, неделимый аТОМ» (Б. Рыбаков) в исконной и нестареющей картине мира.

А еще ДОМ – экзистенциальная иДиОМа, нерасчленимый, всецелостный феномен словесности, оборот речи-понимания человеком самого себя. Этимологические корни «идиомы», кстати, обнаруживаются в праиндоевропейском «свой, себя». И нет нужды в переводчике, чтобы понять тамошнее: «Tat vas dham, etat nas dham» (Тот ваш дом, этот наш дом)...

...Отсюда, не означает ли и наш «комонь» словечно-родовую приверженность к мировому ОМ? Ведь с этим же глубинным чувством родился и сказочный Конек-Горбунок, хитрый, парадоксальный устроитель семейного счастья. Да и всякого досужего дела-занятия, выказывающего наш основной навык-умение – конек.

«Все наши коньки на крышах, петухи на ставнях, голуби на князьке крыльца, цветы на постельном и тельном белье вместе с полотенцами носят не простой характер узорочья, это великая значная эпопея исходу мира и назначению человека».

Однако не водружают-возносят джайнисты-индусы рисунки-изваяния коня на своих Домах-жилищах, нет его среди по-

читаемых-святых животных, где неизменны корова, слон, обезьяны, верблюд, павлин, змеи, крысы...

«Конь как в греческой, египетской, римской, так и в русской мифологии есть знак устремления, но только один русский мужик догадался посадить его к себе на крышу, уподобляя свою хату под ним колеснице».

Без коня-лошадки великие просторы прижмут на месте, обездвижат, ушибут простором душу окончательно. Житейский опыт к тому же научил: надо запрягать коня своего медленно-старательно, дабы ничего не упустить в дальнетяжком пути-дороге. И, конечно же, быстро скакать, дабы ненароком не застрячь-замерзнуть в степи-лесу.

Оседлаю коня, коня быстрого,
Полечу, понесусь легким соколом
От тоски, от змеи в поле чистое.

А. Тимофеев

Древние письменные памятники свидетельствуют: князь Святослав «в походах же не возил за собой ни возов, ни котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав конину, или зверину, или говядину, поджарив на углях, так ел, не имел он и шатра, но спал, постилая потник с седлом в головах; такими же были и все прочие его воины».

Можно только представить, как после таковой жизни-похода гнало-несло припасть к родному порогу, прислониться к дверному косяку, на котором дожидалась хозяйина подкова скакуна-пахаря, дабы не было сомнения, что его на их общий добробыт-счастье ждал-дождался и самоцелый Дом.

И Хозяйка всячески помогала тому Огнем, который она со своими столь же озабоченными подругами поднимает маяком как можно выше. Наиболее подходящее место – «лысая гора», откуда разведенный Огонь-костер, усиленный песнями-танцами женщин, задолго привлечет внимание долгожданных путников: Свасти!

Отсюда ведьмы-ведуны вполне достойно-точное их название-предназначение. Но прежде всего они Матери, о чем извещают резные обереги – свастики, вместе с птицами окружающие женскую фигуру с молитвенно поднятыми руками. В ней

лучится радость, благополучие, счастье. Ведь могла-умела ждать.

Этому откровению вторит и голубка на магическом декоре-обереге Дома. Она вернулась издалека, тем преданно указав: вот он Дом!

Хоть и не велика-пышна птица, но, безусловно, легендарная как раз своей верностью Дому. Ее испытал еще припотопный Ной, плавающий на своем переполненном всякой живностью Доме-«амфибии», не исключено, со свастиками на своих бортах-стенах. Невесть каких времен человек полагался на эти ее «почтовые» качества, на благо донесения важных сведений-откровений. Так что и Святой Дух являлся в христианстве вездесущей голубкой. Кроткой, задушевной благовестью-привечанием первого лица гостерадушного Дома.

«Голубь на князьке крыльца есть знак осенения кротостью. Это слово пахаря входящему. “Кротость веет над домом моим, кто б ты ни был, войди, я рад тебе”. Вырезав этого голубя над крыльцом, пахарь значением его предупредил и сердце входящего... Размахивая крыльями, он как бы хочет влететь в душу того, кто опустил свою стопу на ступень храма-избы, совершающего литургию миру и человеку, и как бы хочет сказать: “Преисполнясь мною, ты постигнешь тайну дома сего”...».

С такой же бытийственной тайной по весне прилетают к Дому и ласточки – ее вестницы. Их восхваляет и традиционная, исключительно символичная китайская живопись, и белорусское умиление «родным кутом».

Зашчабеча над гнязьдзечкам
Ластаўка зычліва.
За гуменцам ціха шэпча
Каласамі ніва.

Якуб Колас

Словом, традиционная изба-хата для многих поколений наших предков была тем сокровенным местом, которое словно укутывает-прячет в себе, оберегая от всех напастей извне, освобождая от терзания-«пакуты».

Аллегорическое единение солнца-птицы известно уже из «Ригведы», ведь с домовитыми птахами словно солнце заглядывает в закрома Дома, восторжествуя о его живучести, о приветствии весеннего солнца, а значит и светла-тепла. А главное, возрождения-воскресения Природы. «Крес» – в старину означало «огонь», а также «оживление», «здоровье». «Кресити, кресати» – «воскрешать», «оживлять огнем», а крещение – «воскресение», «начало жизни», призыв-мотивация к ней.

Система символов, которая способствует возникновению у людей сильных, всеобъемлющих и устойчивых настроений и мотиваций, кажутся единственно реальными, поскольку формируют представления об общем устройстве бытия. Поэтому и религия никогда не сводилась только к метафизике, обладая насыщенной атмосферой глубокого морального пиетета. Ведь сакральное всегда обязывает: оно не только поощряет почитание, но и требует его, оно не только манит к себе разум, но и навязывает себя чувствам. Так что религия отчасти является попыткой сохранить фонд общих смыслов, посредством которых каждый человек интерпретирует свой жизненный опыт и организует свое поведение.

Все священные символы утверждают, что жить в соответствии с реальностью – благо для человека, и так соотносят онтологию и космологию с эстетикой и моралью. Их особая сила проистекает из предполагаемой в них способности устанавливать тождество между явью-фактом и ценностью-значимостью на наиболее фундаментальном уровне, придавая реально существующим явлениям-вещам нормативный смысл (К. Гирц).

Таковой можно «запасаться» отнюдь не только в символах, «рефлексивного», «искусственного» уровня – анхе, кресте, полумесяце, тайцзиту, крылатом змее, наконец, в Слове, благодаря их включению в мифо-ритуальную жизнь. Величие (при одновременной житейской естественности-обыденности) свято-символичности Дома в том, что он сам олицетворение-субъект этой жизни, постоянно саморевизирующий и накапливающий все, что «известно о том, как существует этот мир, какой тип эмоциональной жизни он поддерживает и как следует вести себя, живя в этом мире» (К. Гирц). И как не растратить любовь-доверие к ЧеловекоДому, уважение к его потребности в творческой самореализации и признании.

Таким образом, есть основание-мотивация говорить-спорить об универсальной религии-культе Дома, вне зависимости от сценариев-аксессуаров, обильных обрядов-ритуалов во славу его.

Храм – Дом Бога.

Дом – Храм Человека. В нем уместны любые исповедь-проповедь, медитация-просветление, молитва-покаяние...

Значит, в высшей степени закономерно, что еще-уже в проторелигиозную пору высшее начало представало людям в облики-образе Великой Богини. Позднее в образе-идее Агни, «Живой Этики» – принципа достойного мирового Домоустройства.

Так, Дом-Агни смирил два великих Огня, породнив солнечные Небеса и «царство небесное, что внутри нас есть». И так возложил на себя миссию всеконфессионального праведника, гуру-учителя, пастыря-наставителя. Или крестознамения жития-бытия до бесконечного начала и за безначальным концом, как Колесо-Коло, которое по магическому сроку поджигали, впрягая в Огонь, и спускали конем быстроногим с горы на пике солнцестояния. Дабы два эти Огня и далее двигались-проживали в «одной упряжке» судеб человеческих во все времена: Свасти!

Староновость Дома, или Возвращение в вечность

Дома живут, дома умирают: есть время строить,
И время жить, и время рожать...

Т. С. Элиот

Мистическое испытание нашего самосознания-воображения сродни гипнозу, когда на наших глазах разрушается старый Дом. Рассыпается-крошится он и нам кажется, что низвергается нечто гораздо большее, чем физическая конструкция. Происходит микрокатастрофа – силы Хаоса наступают на Космос, уводя из жизни что-то неизъяснимо дорогое и невосполнимое.

Иногда, правда, подобная грусть озаряется светом надежды, если мы принимаем исчезновение старого, отжившего как высвобождение места, «двора» для актуальной «поросли». Коротче говоря, Дома, как и люди...

Дом – явление возрастное, геронтологическое, выказывающее все свойственные живому произрастанию возрасты, уча и нас тому.

Старый сад шумит за старым домом...
Почему не маленькие мы?

М. Цветаева

Генотип живого ограничивает его возрастными пределами, запрограммированными в его генотипе, и конкретными условиями существования. Буквально из земли и туда уходит, но не в прах-мусор, но в культурный слой. А на нем вновь вырастает, созревает, увядает, гибнет, ... оставляя семя.

Так пращурсы своим «диким» воображением буквально одомашнивали время для себя-потомков, намекая на цикличность-бессмертие бытия-жизни. Поскольку все-вся боится Времени, пожирающего свое потомство паранойей мифического Хроноса. Говорят, за исключением Пирамид, хотя их строители были

бы разочарованы их нынешней поблекшей морщинистой «вечностью». Ведь стареет, доживает свой век и рано или поздно не только очевидно живое, биологическое, но и «материальность» Дома – все от растительно-древесного его существа, даже металл, по-своему обнаруживая свой возраст-усталость.

«Если в стареющем доме вовремя не заменить гниющих балок, то потолок рухнет с исторической неизбежностью» (Ф. Искандер).

Дома покидают нас действительно как люди. Кто насильно от ранений, несовместимых с жизнью, кто по естественным причинам, когда больше жить уже не в состоянии. Когда изнемогаешь от усталости, крепиться, что осталось силы на подпорках-латках Стен, изнывать от скорби-тоски, взирая на происходящее потухшими пустыми глазницами Окон, млеть от спертости духа за заколоченными Дверьми, от предательского забытия-запущения. Некоторые заслужили почетную эвтаназию, отказавшись от бессмысленных губящих их естество новоделами-временками. Иные принимают свой уход с лица земли с достоинством. Дабы не мешать новой «поросли», ведь рано или поздно...

«Как знать, дни наши сочтены не нами» (А. Пушкин).

«Многие умирают слишком поздно, а некоторые – слишком рано. Еще странно звучит учение: «умри вовремя!» (Ф. Ницше).

И в этой странности явствует уважение к дорогому достоянию, утрата которого отзывается душевной болью, воспринимается метафизической драмой-трагедией.

«Мы хотим увековечить дорогое нам и прекрасное настоящее, мы страшимся, когда оно от нас уходит, печалимся его умиранию» (Н. Бердяев).

Чувство утраты-лишения, переживание невосполнимости облекает канувшее томной вуалью печали-меланхолии, которые «связаны с овременением».

«Печаль связана не только с отношением к смертоносному будущему, но и безвозвратно ушедшему прошлому, расставанию. Печаль и меланхолия представляются непобедимыми во времени» (Н. Бердяев).

Последние минуты – короче,
Последняя разлука – длиннее...

А. Вознесенский

...У всякого Дома своя неповторимая судьба, со всеми ее душевными страстями-переживаниями, перипетиями тоски-радости, имения-ожидания, счастья-горя... Предсказать ее не берутся ни амбициозные мыслители, ни проникновенные поэты.

«Наперекор всем нашим планам, решениям и предосторожностям судьба всегда удерживает в своих руках власть над событиями» (М. Монтень).

Пророческая власть поэта
Бессильна там, где в свой рассказ
По страшной прихоти сюжета
Судьба живьем вгоняет нас.

Арсений Тарковский

...Построить Дом, посадить дерево, вырастить сына – лаконичная «бытовая» формула смысла жизни-судьбы человека, которую пращурь не зря почитали цикличной, возобновляемой, принимая Дом в единстве с природным воскресением. Отсюда и «белая береза под моим окном», и «тополь мой опавший», и «старый клен»... Они не просто так заглядывают-стучат в Окна – они охраняют-заботятся о его покое-благополучии, которое возможно только в их сродстве-единстве. Пусть даже через нежную поросль, что не дает унывать в любом возрасте.

Как нежны молодые листья
Даже здесь, на сорной траве
У позабытого дома.

Басё

Одушевление природных циклов, сроднение с ними искони помогало снимать тревоги, вызванные разомкнутостью повседневного-личностного и общевселенского бытия. И вселенский свет, который непрестанно вливается во все проемы Дома, наполняя радостью рассвета: «Вот и солнце встает!». И вещей звездоход, которым трепетно упивалась Татьяна Ларина у зимненочного Окна своего навсегда вросшего в естество Домосада.

В библейские времена существовало обыкновение освящать-инициировать «новорожденные» Дома, как людей-соплеменников, по окончании постройки-отделки, с началом вселения.

Веселый и радостный праздник-ритуал, когда особенно усердно молились Господу о ниспослании благоговения и покровительства.

«...Надзиратели же пусть объявят народу, говоря: кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не обновил его» (Втор. 20:5).

Бесспорно, эта традиция уходит своими корнями в еще более глубокие, ювенильные пласты общечеловеческой культуры, а побег дотянулся до наших дней. И сегодня мы торжественно отмечаем «закладку первого камня» и трепетно перерезаем символическую ленточку, зачиная-давая «путевку» в жизнь новостроек. А жизнь окружная принимает их роды, включает в объятия как естественное пополнение с испытанием: кто на что горазд.

Бесстрастными экзаменаторами здесь невольно выступают «аксакалы» – Дома вдосталь испытанные, поскольку Дом, испытанный временем, обладает особым экзистенциальным притяжением.

«В старом доме, в родном доме мы чувствуем себя безопаснее, спокойнее, чем в доме, затерянном среди городских улиц, где мы находим кратковременное пристанище» (Г. Башляр).

Испытание Дома все равно что проверка самого себя – требует она «большого времени» (М. Бахтин), голографии синхронности-диахронности, и обязательного «отрыва» от вязи-инертности пространства. «Притяжение» Дома сравнимо с притяжением Земли, которая держит-несет его по временам-судьбам, непредсказуемо искривляя Пространство. Да и само Время весьма побаивается его, более чем Пирамид-усыпальниц. Ведь им живут, ища-находя смысл в долготе Времени, необходимой для долга-заботы, всяческого переживания, а не тягаясь с бессмысленной протяженностью Пространства. И пугает-страшит не конец пространства, но конец времен.

«Дом и мир не просто соседствуют в пространстве. В сфере воображения дом и мир взаимодействуют, обмениваясь импульсами, и рождают грезы противоположного толка» (Г. Башляр).

Порой непонятно, как Дома уживаются-перекликаются друг с другом. Ведь им суждено быть-поживать чертогом единосо-

гласным для всех поколений – жизнеутверждающей эстафетой, многозначительной чередой судеб-событий. Иначе говоря, быть-служить для всей этой живой жизни гармоничным в-Местилищем, по-Мещением для диалога-общения, для достойного раз-Мещения под солнцем-свечением Времени как самостоятельная в нем у-Местность. Ведь «если место есть в пространстве, то время тоже имеет свое место» (М. Хайдеггер).

Так Дома обретают-имеют благосклонность Хроноса, подвигают развитие представления о свое-временности и современности всего происходящего, оценивая, насколько оно удовлетворяет ситуации «во-время». Поэтому человеку присуще «умение видеть время, читать время в пространственном целом мира и... воспринимать наполнение пространства не как неподвижный фон, а как становящееся целое, как событие» (М. Бахтин).

Хронотопная ипостась Дома свидетельствует, что человек не только сугубо творец, но и обладатель вместе с ним Местомимением, а также, что более существенно, Время-имением. Именно это и исполняет ЧеловекоДом как ДомМестос, обнаруживая в нем приоритетные экзистенциалы М. Хайдеггера: «бытие-в-мире», «бытие-с-другими», «забегание-вперед»...

Благодаря этому и Время преисполняется одухотворением, вочеловечивается, «одомашнивается» и, следовательно, ДомМестос облекается в неисчерпаемую полисемантику хроносимволов и их «носителей».

Первый из них память. Ведь «всякий раз, когда мы воспринимаем что-либо как время, т. е. осознаем некую временную координату, в дело вступает память». И может показаться, что она держит на плаву презентации настоящее, которое «не знает никакого специфического способа осознания времени». Более того, и будущее неуловимо-виртуально, неналично, не постижимо для нашей мысли, поскольку оно до известной степени зависит – в воле-сознании – от нашего решения». А оно «будет принято в следующий миг, в данное время еще не состоялось» (М. Бубер).

Однако всякий выбор-решение вызревает-изготавливается, осознавая причину-повод, обозревая аргументы-факты, оценивая возможности-ресурсы, отыскивая приемлемый результат-итог. Словом, подобен древу с достаточно благодатным, хотя и

невидимым под культурными наслоениями корневищем, мощным стволом воли-решимости и кроны с плодами, количество-спелость которых сразу не найти-распознать за обильной листво-вой-лоном таинства созревания...

Так и «следующий» миг не имеет физического измерения, посему он и «последующий», будучи родом из «предследующего». И из них ткется обличие будущего как очевидное, то есть заметно-отличное изменение былого. Значит, решение все-таки предопределяет будущее, что, впрочем, не надо доказывать домоустроителю, архитектору-проектировщику. Потому как «проект» от латинского «projectus», «брошенный вперед». И там, получается, ожидающий своего метателя-возжелателя.

Истинный выбор лишь тот, что кондово-рабски не зависит от советчиков-приказчиков из былого и не имеет вериг зачастую неразборчивой памяти. Все гениальные открытия дар вольного наития-мечты, из сна-грез, но не по памяти. И не под диктатом Мнемозины, матери всех муз, самостоятельно вдохновляющих творить-новить, не уповая на новое как на хорошо забытое старое.

И как знать, кто «более матери-истории ценен» (В. Маяковский), ибо память крепко повязана стереотипами-предрассудками, утрамбована привычками, заученными рефлексами-комплексами, «выученной беспомощностью». Наконец, опытом, «сыном ошибок трудных» (А. Пушкин). Творец призван-вправе иметь свое «потомство», рожденное в муках новаторства. В противном случае остается безучастная хронология сделанного, подытоживание, «музеефикация», когда память возбуждается в апофеозе наследия. В то время как идея возрождения-оживления всего – это «терапевтическая» навязчивость (Ж. Бодрийяр).

Сей диагноз недомогающей памяти – историчность, охочая собиранием, коллекционированием пыльных архивных документов и застекленных музейных мумий, до неузнаваемости пропитанных временным фиксажем-формалином. Хотя, как известно, история, по существу, ничему не учит, и равнодушно восседая на скользко-мутном берегу Леты, настаивает на всемогуществе повторения – матери учения. Но мачехи творчества-жизни, ибо и в ток Леты не суждено войти-погрузиться дважды.

Историческое сознание – восприятие мчащихся составов, груженных провиантом, стройматериалами, людьми, оружием, по односторонней и максимально прямой колее, что видится из окна уникально-личностного, нелинейно-непредсказуемого исполнения Дома.

«Мы не просто живем в доме, где изо дня в день разворачивается наша история, сюжет нашей биографии» (Г. Башляр).

И только в этом смысле память Дома исторична, как жизненная история. Как летопись, «повесть временных лет», всецело открытая истолкованию и продлению. То есть скорее как предание жизненных временений-событий. Наконец, как коммеморация, культурная память, ведь Дом – прирожденный антинигилист, помнящий свое родство и не страдающий амнезией. У него своеобразный вкус-запах времени, который неминуемо выветривается в «доме-музее», от которого за версту несет хлороформом умершего прошлого. Лучше сказать – хроноформом «мемориального времени».

Памятное лоно ЧеловекаДома вне общей истории, хронологично нелинейно. И только он, обладатель уникальной персонифицированной памяти способен поступать с ней и как со строптивой прислугой, и как с властной хозяйкой. То игнорируя ее в стремлении забыться-снять ее спуд былого, то боготворя за возможность мечтать-грезить. Одомашненное таким образом время не подталкивает, но бережно подводит к кромке-приступке «только что», за которым предстает подъем в глубину давности: от будничного «недавно», через почтенное «давно», к почти легендарно-былинному «давным-давно». В этом погружении старость обретает не возраст, но почтение, как и пожилость – уважение. И «пишется» исполнение не датами календаря, но фибрами души.

Хрестоматийная же история неминуемо пишется либо «победителями», либо амбициозными сторонними историками, выдающими свои откровения за науку и находящими в них стройную логику-смысл. Историческая память народа-социума принимается как должное в любой интерпретации, но она остается за порогом личного Дома-памяти – «собственная историчность», охватывающая лишь то, что она смогла-захотела иметь в себе органичным «домочадцем».

«Лишь фактичная собственная историчность способна как решительная судьба так разомкнуть былую историю, что в возобновлении «сила» возможного вторгается в фактичную экзистенцию, т. е. настает для нее в ее будущности» (М. Хайдеггер).

Вот она – темпоральная синергетика бытия-становления, граница-отличие которых столь же невнятные, многозначительны, как и соединяющий их дефис, трассирующая пуля, невесть куда-когда летящая. Или Мгновение, для «ловли» которого нет позитивно-рациональных «сетей» и слов его сдерживающих.

«Поскольку мир человека есть преображенный им окружающий мир, то все то, что в любое мгновение образует особенную ситуацию, всегда является уже осадком исторического становления» (М. Бубер).

Неуловимое мгновение и вдруг – в осадке? Тогда и «любое мгновение» опять-таки имеет некую явную длительность-размерность, подобно Моменту – периоду, стадии, эпохе.

Момент – «истина», презентующая «вот-сейчас».

Мгновение – возможность, тайна-мистика «всегда».

В пространственном представлении такое Мгновение – расстояние-длительность того, что есть между шагами у стоящего бегуна. Парадоксальный феномен, известный еще со времен апорий Зенона, где сам Ахиллес не в состоянии догнать черепаху, не сделав хоть толики шага. Все данности мира отличаются лишь скоростью этого «бега» – вибраций. Здесь существенен только Миг – «разрыв качественной тождественности, прыжок от одного качества к другому» (Э. Гуссерль). Так что «моментально» пусть даже и не тягается с «утонченностью» и «мгновенностью», неисчислимым и уже более неделимым квазиквантом Времени.

Иными словами, «экзистенциальным временем», отражающим факт не того, что мир человека уже «преображенный им мир», а Мгновение и – канувший в доисторию осадок жидкий и хлюпкий. На нем Дом – предназначение быть и будущего не возвести.

«Прошлое не может служить надежной подосновой, дающей текущей жизни поддержку и уверенность. Оно выказывается прежде всего в том, что возникшее ранее суживает свободу действия человека в настоящий момент. Прошлое – это то, что

в качестве гнета давит на настоящее и подступает к нему с требованиями» (О. Ф. Больнов).

Требование одно – как бы ни было драгопамятно имеющееся в наличии, оно обречено диалектикой отрицания-выбора. Как будто на-ходишься на пороге Дома и, замерев, решаешь: остаться в привычно-предсказуемом, благоустроенном Доме или вступить в неизвестность, априори неведомую-неторенную. И сколько продлится это Мгновение – дело личностное. Некто «зависнет» в раздумье, после чего вернется к родным пенатам, боясь простыть на сквозняке изменений. Иной одолеет его мимолетно, влекомый попутно-счастливым ветром перемен, оставляя настоящее решение в памятном вечнобылом. Из такой входно-исходной мгновечности и соткана судьба-житие ЧеловекоДома.

Ты приди в мою мгновечность
Беспредельем ярко-синим.
Озари мою беспечность,
Счастье крыльев подари мне.

.....

Ты найди меня и выведи
На распутьях моих млечных...
Ты приди, чтоб в сердце искрами –
Небо, Солнце, Жизнь – и Вечность.

Э. Гжибовска «Мгновечность»

Живая память, дабы не тужиться от амнезии, не испытывать к себе презрение, призывает-будирует воображение, что особенно плодотворно для Дома, где «память и воображение неразделимы, их работа направлена на взаимоуглубление» (Г. Башляр), на примирение под одним кровом самосознания былого-грядущего.

...В свое время Блаженный Августин, понимая, что реально существует только настоящее, а прошлое и будущее нереалистичны, задавался меж тем вопросом: что же тогда это мистическое прошлое и будущее? И приходил к выводу: они, как и настоящее, есть состояния и способности нашей души: прошлое – это наша память-воспоминания, будущее – упование божие, ожидание, а настоящее определяется нашей способностью созерцать-представлять. Его «Исповедь» о том, что было-

есть-будет три настоящих – настоящее настоящее, настоящее прошедшее и настоящее будущее.

«Иногда можно сказать, что только настоящее существует, что оно впитывает в себя прошлое и будущее, сжимает их в себе и, двигаясь от сжатия к сжатию, со все большей глубиной достигает пределов всего Универсума, становясь живым космическим настоящим... Тем самым ясно проявляется взаимодополнительность прошлого и будущего: каждое настоящее делится на прошлое и будущее до бесконечности» (Ж. Делез).

Тем не менее лично переживаемое настоящее всегда уникально и вполне может не совпадать с настоящим другого, что их неминуемо разводит во Времени. Если в Доме траур, то своей настоящностью он противится подготовке к свадебному веселью в Доме соседском. Индивидуальное настоящее можно сравнить и с болью-голодом: если он имеется, то это и есть мое настоящее, которое только по своему отпущению-насыщению откладывается в памяти «страшным сном» и отсылает в лучшее будущее нежеланным повторением. Так и Дом живет-существует пока он реально-осязуемо есть-присутствует. Но, только исчезая, оказывается в виртуальном былом и с возможностью «воскресения» лишь реинкарнируя в ином «теле». И не суть важно, сколько минет с того Времени, оно сугубо его Время...

Дом, жилище-habitat, по определению, служит обителю привычно-предсказуемого, накопленного как опыт повседневности и необходимого в качестве пред-положения, на-мерения себя в постнастоящем.

«Ведь есть более обширное настоящее, вбирающее в себя прошлое и будущее» (Ж. Делез).

И этот темпоральный «собор» не дает пропасть-потеряться.

«Человеку свойственно теряться, когда он не находит способа привести себя в связь с тем, что ему предшествует и с тем, что за ним следует. Он лишается тогда всякой твердости, всякой уверенности. Не руководимый чувством непрерывности, он видит себя заблудившимся в мире» (П. Чаадаев).

И если жить всей полнотой жизненного Времени, всецело отдаваясь его текучести, то и выделение в нем уникальной событийности может сжаться до безмерного мгновения или, напротив, обрести границы «определенного момента».

Рациональный западный ум отчаянно призывает, упоенно требует: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!», ибо только тогда им можно будет любоваться-наслаждаться сколько душе угодно. Но главное, подвергнуть его квалиметрической аналитике для определения протяженности-длительности.

«Иногда люди думают, что знают себя во времени, хотя им известна лишь последовательность фиксаций в пространствах устойчивого бытия, бытия, которое не хочет уйти и даже в прошедшем, отправляясь на поиски утраченного времени, хочет приостановить его бег» (Г. Башляр).

И терпя фиаско, сталкивается с далеко не всегда приятным эффектом отнюдь не моментального, но мгновенного «вдруг», ибо врывается в бытие невесть когдашней вне-за-пностью, мигнуя знакомо-ожидаемое. Так что интуитивно чувствуется, что вся неизъяснимая, чарующая суть мига-мгновения состоит как раз в его мимолетности. Приколоть мгновение, будто невесомую бабочку, навсегда к настоящему, якобы для любования – радоваться умерщвленности, безжизности... Но таково желание самоуверенного «здорового смысла» – ухватить нечаянное Мгновение. Смотрится же, словно собака ловит свой хвост, к тому добротню купированный.

«Ведь он почти не находится во времени, так он спешит пройти; он едва может быть описан, так мало, собственно, дано нам». Именно поэтому, «чтоб определить чувственную жизнь, обычно говорят, что она пребывает в мгновении и только в мгновении» (Ф. Шлейермахер).

«Тонкий» Восток, картина мира которого обходится без не имеющего застывшего Абсолюта, вольно-чувственно через себя «пропускает» волшебный времяток, наслаждаясь его живой полнотой-целостностью.

Один миг и тысяча лет – одно...

Бесконечно малое может быть бесконечно большим.

Сосан

«Абсолютное спокойствие – это мгновение настоящего, хотя оно заключено в этом моменте, этот момент не имеет границ, и в этом – вечное наслаждение» (Хуэй-нэн).

Поэтому в Мгновении и пульсирует-сочится «настоящее настоящее», как в бездонном кладезе соблазняя миражом-

обманом и торжествуя в своей недостигаемой всевместимости. Таковой аурой и живет восточный Дом, преисполненный непреходяще живой традицией, в истоках которой восторженно-поэтическое преклонение перед мгновечностью бытия.

«Время есть только порожденье вечного мгновения» (Шри Ауробиндо).

Тогда одна неповторимая жизнь, не знающая начально-конечного рубежа, и есть миг, отчего она и неповторима. Миг – порог в из-в-вечность. И потому не позволяет «жить одним днем», для чего не нужен Дом, разве что двор постоялый, жилье съемное, ночлежка случайная, никак не укорененная в жизни-судьбе...

Вот только «здравый смысл» упрямится: а можно ли иначе, коль с самого утра мы обитаем именно в дне настоящем, в котором сконцентрированы все наши дела насущные? Отсюда Дом европейца искони статичен, brutally весомозримый, чем старается удержаться не в традиции «некогда», но приспособиться к вызову «теперь». Словно по девизу эпикурейцев: «Будем есть и пить, ведь завтра умрем». Или по совету Горация: «Пользуйся днем, меньше всего веря грядущему». И Гегель заметил, что сознание невольно замкнуто на «здесь и теперь».

«Держись за здесь и теперь, сквозь которые будущее погружается в прошлое» (Д. Джойс).

Это магическое «сквозь» – мистический Миг-Мгновение.
Жизнь ведь тоже только миг,
Только растворенье
Нас самих во всех других,
Как бы им в даренье...

Б. Пастернак

«Священное находится внутри мгновения, приобщенного к вечности, а не в объективированных социальных образованиях прошлого и будущего» (Н. Бердяев).

Поистине божественное творение. Не зря все тот же Августин убеждал, что мир сотворен Богом не во времени, а вместе со временем, которого как такового до тех пор и не было вовсе. Но была вечность, в ней искони пребывал-пребывает Бог, не испытывая изменений, почему и бессмертен. Чуткий и востре-

бующий их человек потому и смертен, ибо пребывает во времени. Наполняет, пре-ис-полняет его само-собой.

«Бог переживает как настоящее то, что для меня – или прошлое, или будущее, ибо я живу в более ограниченном настоящем» (Ж. Делез).

Так что в живой вечности Бог переживает свой Дом-Царство.

«Чему подобно Царствие Божие?.. Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все» (Мф.13:33).

Всего лишь «закваска» для ис-полнения! И не есть ли эти три меры муки – «святой троицей» временения, присутствия в трехмерном Времени-вечности, которое обнаруживает и клеймит токсично-мертвую аморфность, бессодержательность бесконечности?

«Вечность, которая есть качественная бесконечность, есть разрешение парадокса времени и излечение болезни времени. Но вечность означает выход из объективации. В мире объективированном раскрывается лишь количественная бесконечность, лишь делимое и суммируемое, т. е. математически измеримое время» (Н. Бердяев).

Вечность – одомашненное Время: век живи, учись, твори, строй, дабы не стоять перед стеной-пропастью безначальноконечности. Посему ветхозаветный Творец и даровал перволюдям вместо бесконечного прозябания жизнь вечнотворческую. Причем, именно за пре-ступление у Древа Жизни-Познания – нарушение табу-запрета благодаря презумпции интереса-любопытства. И только так стали они «как боги».

«Если Бог существует, то, как примириться с мыслью о том, что стать им невозможно» (Ф. Ницше).

Для этого необходимо жить-переживать каждым Мгновением, ибо раз Бог есть Вечность, он есть и Мгновение.

«Вечность сразу и целиком присутствует в любой точке времени» (Н. Кузанский).

Чувство-осознание Времени как Мгновечности наполняется образами-смыслами живой вечности, которая спасает сознание от робости перед абсурдом конечности. И заражает догадкой-уверенностью «о существовании вечного, которое есть нечто совсем иное, чем бесконечное, и в равной мере совсем иное,

чем конечное, а также о том, что между мною, человеком, и этим вечным возможна связь» (М. Бубер).

«Природа установила неопределенный конец жизни, чтобы всегда верилось в настоящее и ближайшее будущее» (Петрарка).

Отсюда Дом, как и люди, воспринимается всевременным в любой ситуации-«случайности», хотя, возможно, и под разным углом, с разной окраской-вкусом Времени. Правда, это относится уже к формально-внешнему, «фасадному» его проявлению. Внутренне же Дом открыт всякой креативной возможности как еще-не и потому живет, имманентно опережая невозможное уже-не и так противостоит небытию. Ибо...

«Будущее здесь подразумевает не некое “теперь”, которое, еще не став настоящим, произойдет лишь когда-нибудь, но саму ту будущность, в которой личное бытие приходит к себе в своей собственной бытийной возможности. Опережение делает личное бытие подлинно будущственным» (М. Хайдеггер).

Посему Дом мгновенновечно подтверждает диалектику бытия-к-жизни и «бытия-к-смерти», при которой «смыслом бытия сущего», именуемого «присутствием», оказывается «временность» (М. Хайдеггер). Присутствие Дома феноменальным образом дает представление о жизни-жизненности, хотя физически исполняется как «настоящее настоящее», имея свой срок-время и не имея возможности реально быть ни мгновенным, ни вечным.

...Что же тогда «весит» Дом в своем-нашем присутствии?

«Дом этот – нечто невесомое, приводимое в движение, как я понимаю, дыханием времени. Такой дом поистине открыт ветрам иных времен. Можно сказать, что, пока мы живем, каждое утро он готов приютить нас и одарить верой в жизнь» (Г. Башляр).

Ибо в вечерю умиляет завтрашним утром, откуда и следующее вечере присутствует как живая одновременность – вчерашра.

Дом искони был-есть-становится посылом из будущего, «закваска» некоего априори небессмысленного исполнения под эгидой «гениус темпо» (гения времени). Благодаря этому органично уживаются и неугомонный живчик Миг, и неспешная, умудренная всежизнью Вечность. В этой гармонии волит будущность, благообещания с лаконичным слоганом – «Буду!».

Намекая на всевременную фантазмагорию, когда «прошлое было есть сегодня. Что сейчас есть сейчас, то завтра будет, как сейчас было быть вчера» (Д. Джойс).

До начала и после конца.
И все всегда сейчас.

Т. С. Элиот

...Итак, что же из благодеяний Дома наиболее ценновожно?

«На вопрос о самом ценном благе дома мы бы ответили: дом – пристанище мечты, дом – убежище мечтателя, дом позволяет нам грезить в мире и покое» (Г. Башляр).

А как ответить на вопрос о важности-нужности такой виртуальной реальности как места-грезы?

«Мечте принадлежат ценности, печать которых особенно глубока в душе человека» (Г. Башляр).

Мечта же принадлежит ищущему радость воображению.

«Оно непосредственно наслаждается собственным бытием. И место, где мы жили воображением, самовозрождается в новой грезе. Воспоминания о прежних жилищах вновь переживаются нами как грезы, и именно поэтому дома прошлого бессмертны в нашей душе» (Г. Башляр).

Более того, мечтательное воображение преодолевает даже четверичность пространственно-временного видения, вознося в мистические высоты возможности невозможного.

«Тем, кто хорошо знаком с пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных размеров» («Мастер и Маргарита»).

В этой связи видится закономерным не только созвучие слов «мечта» и «место», но и их глубинный смысл. Ведь исходно «мечта» – «призрак-видение» с этимологической основой – «мигать», «мерцать», «сверкать». В этом и предназначение мечты – желать некоего благостного изменения своего «местоса», наполнения-содержания бытия. А споспешествует этому «мета» – выход-переход в иное состояние. Воображение же рисует это событие продвижением к заветному Месту. Как бы сказал белорус: к «мэце».

Так что вполне объясним этот экзистенциальный феномен вечного, пока мы живем-надеемся перехода-связи с Домом.

Ибо он – «одна из самых мощных сил, интегрирующих человеческие мысли, воспоминания и грезы. Связующий принцип этой интеграции – воображение» (Г. Башляр).

Именно с его помощью, судя по всему, библейский Творец и созидал вселенский Дом из ничего не обещающей Тьмы-Пустоты. Поскольку влекомый Святым Духом, почитай дарителем воображения-наития, начал последовательно, День за Днем делить-разделять ее на вполне внятные-сравнимые субстанции. И двигался далее, восхваляя свое воображение, лишь видя-убедившись: «что это хорошо». Тогда допустима ассоциация Воображения с Богом.

«Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие» (Псалтырь).

В притче Филона об архитекторе та же идея выражена более прозаично-прагматично: он «вначале мысленно представляет себе части города, которые должны быть построены: храмы, гимнасии, [городские] залы, рынки, гавани, причалы, улицы, жилые и общественные здания. Когда в его сознании, как на воске, запечатлелись все упомянутые формы вещей, он носит в себе образ города, созданного его разумом. После того, как силой памяти, которой он одарен, он представил картины разных частей (деталей) города и определил их типы еще более четко, он как хороший мастер (демиург) начинает строить город из дерева и камня, всматриваясь в созданный им образец, изготовляя зримые и осязаемые вещи, во всем соответствующие нематериальным идеям». Подобно этому «сделал Бог, приступая к сотворению мира. Вначале Он создал в духе своем (представил себе) типы его частей (деталей) и соединил их в умоглядный мир, который затем превратил, согласно этому образцу, в мир, воспринимаемый органами чувств».

Сила разума-памяти тут как тут, как и «осязаемые вещи», но им не стать творением без «ношения в себе образа», «представления картины разных частей», без соответствия «нематериальным идеям», «духа своего» – воображения, не умоключения, но чувство-высвобождения.

...Воображение-фантазерство, грезы-видения... Их, словно нечистой силы, чуждается классическая историография, истязая себя поиском истины в конечной инстанции. Натура же поэтическая, несомая аурой перманентного искательства не

очевидных фактов, но потаенных смыслов-образов, боготворит их. Без колебания-оглядки вверяется им в неге-предчувствии откровения небывалопознанного. Ибо это вековечный родной Дом поэтики.

«Родной дом – больше, чем место обитания, это место грез. Каждый его закоулок был прибежищем фантазии. И нередко прибежище определяло характер грезы. Там мы привыкли мечтать по-особому. Дом, комната, чердак, где мы оставались в одиночестве, – в этой обстановке мы мечтали без конца, и только поэзия способна воплотить эти мечты в завершённом творении» (Г. Башляр).

Поэтому, к счастью, «у каждого из нас есть онирический Дом, Место воспоминания-грезы, затерянный где-то во тьме, за гранью реального прошлого». Это – «крипта родного дома. Для нас это ось, вокруг которой обращаются интерпретация мечты мыслью и, наоборот, интерпретация мысли мечтой. Слово “интерпретация” придает излишнюю жесткость этому обращению. На самом деле перед нами нерасторжимое единство образа и воспоминания, функциональное смешение воображения-памяти» (Г. Башляр).

Долго строил тебя я, о дом!
Камни воспоминаний носил с побережья,
Поднимая стены твои.
Я видел: насиженная временами года
Соломенная кровля, переливаясь, как море,
Пляшет под небесами,
С облаками смешав дымок.
Стоит ветряной дом, что от вздоха единого таял...

Луи Гийом «Ветряной дом»

Мгновечно стоит он, не робея от потаенного для коекого будущего и не охотясь за сбывшимся совершенством.

«...Вы никогда не победите, потому что ищете совершенства. Но совершенство годится только для музеев. Вы запрещаете ошибаться и, прежде чем начать действовать, хотите обрести уверенность, что ваше действие достигнет цели. Но откуда вам известно, что такое будущее? Вы никогда не победите, если прогоните художников, скульпторов и выдумщиков-изобретателей» (Экзюпери).

Так что не будем слишком строги к желанию-потребности пиитов остановить мгновение, ведь это от заботы относительно живой внепространственной вечности.

«Вся мудрость Гёте, вся значительность его жизненной судьбы связана с этим его даром переживать полноту мгновения, с этой его способностью видеть божественное целое в самой малой части космической жизни. Так преодолевал он по своему болезнь времени. Время для моего существования первичнее пространства, и пространство в моем существовании предполагает время» (Н. Бердяев).

Вот только с поры Гёте оно, похоже, не на шутку взбесилось, стараясь не то поскорее оторваться от прошлого, не то опередить будущее. Воспаленное болезненное, как видится-понимается, Время. Хотя иначе, пожалуй, и не может быть, учитывая наше не механофизическое овременение и Время гораздо на выдумки-сюрпризы.

«Происходит бешеное ускорение времени. Жизнь человека подчинена этому ускоряющемуся времени. Каждое мгновение не имеет ценности и полноты в себе, на нем нельзя задержаться, оно должно быть, как можно скорее заменено следующим мгновением. Каждое мгновение есть лишь средство для следующего за ним мгновения. Каждое мгновение бесконечно делимо, и в этой бесконечной делимости нельзя ухватить ничего ценного в себе» (Н. Бердяев).

Эта своеобразная паника перед невозможностью остановить Мгновение или вынужденное признание его семантической одномерности, пустоты-бессодержательности, утраты ориентации во Времени.

Наличие-присутствие Дома, видимо, единственный актуальный выход-портал из ситуации «одномерного человека», который потерялся во Времени, оборачивается по сторонам в «поисках утраченного времени» (М. Пруст), боится сделать шаг вперед, «замерзнув» в «сегодняшнем дне», «настоящем моменте».

Современная экзистенциальная временность все еще остается верной «человеческой конечности». Но стоит лишь принять всерьез идею бесконечности – и человеческого Дома-жилища в такой безвременной Вселенной уже не выстроить.

«Умозрительный образ мира, основанный на времени, никогда не даст человеку такого же чувства уверенности, как образ пространственный...» (М. Бубер).

Но является ли эта уверенность панацеей от нечаянностей, заменой «несбыточной» мечты-провидения, кои собственно и исполняют человека Человеком?..

«В тысяче своих ячеек пространство содержит сжатое время. Именно для этого оно служит» (Г. Башляр).

Так что ДомМестос – явь отнюдь не пространственная, не статично-замершая, но неминуемо изменяемая, живая, изливаемо-пополняемая в своей естественно-временной текучести-ипостаси.

Майские ливни долгие...
Возле большого потока
Два маленьких-маленьких домика.

Бусон

Это нега оттуда-туда, «когда деревья были большими», когда еще не мучил вопрос, где почувствовать себя Дома и только еще зарождалась ностальгия по Дому настоящему. Ведь она – перманентное желание-стремление не столько обезличенное и неприкаянное «всегда», сколько всегда быть Дома, или существовать-осуществляться в «совокупном целом сущего», и актуально армировать «фундаментальное настроение философствования» (М. Хайдеггер).

...Итак, темпоральная идея-концепт Дома, видимо, и есть тот духовный демиург, который способен-обязан приподняться над «территориальной», «топологической» философией до высот «временной» антропософии. Ей и придется искать ответы на насущный вопрос всех-каждого: когда я смогу *почувствовать себя дома?*

Конец ли это традиционной философии-истории, ведь Дом предстает феноменом внеисторическим, поскольку история обязана неким семантическим изменениям, «конфликтам интерпретаций» (П. Рикер), тогда как Дом в сущностной основе своей вечен, насколько вечно человековечество. И, следовательно, не лишен воли к жизни-присутствию, которая, по определению, уповает на сугубо темпоральное изменение к лучшему, духовно-поэтическому.

Так что Гёте пророчески намекал-предупреждал как раз об опасности-обреченности «фаустовского мышления» (О. Шпенглер), порочности века машин-механизмов.

«Механизация и машинизация есть крайняя форма объективации человеческого существования, выбрасывания его вовне, в чуждый и холодный мир. Этот мир создан человеком, но человек не находит себя в нем. “Я” разлагается и дробится в ускоряющемся времени, оно также разлагается и дробится...» (Н. Бердяев).

«В творческом вдохновении время не измеряется математически. Это всегда значит, что вечность прорывается во время, вторгается в него и определяет его течение» (Н. Бердяев).

Любопытно, каково было отношение Гёте к механическим часам со стрелкой, подобной петуху, привязанному неподвижным приколом, и страдающим, что о рассвете возвещать уже препоручено не ему?.. Ведь с этим насилием не может согласиться поэтического вдохновения вольная птица, порхающая в мгновечности. Она пугая-радует нежданно-негаданностями воспоминаний о будущем и грезами о прошлом. А также «вдруг», что поджидает даже в родном, «знакомом до слез» Доме. Нечаянно найденная в погребке бутылка вина – вдруг прошло-будущего – ущемленная память о том, откуда она здесь взялась-позабылась, и умиляющие грезы об отменной вчерашней. И все это произвол-обязанность случайности. Будто поэтическое озарение, навечно дарованное поэзией, будто «метафизика мгновения» (Г. Башляр).

Так что ее воистину родной-родимый Дом, при всем уважении к Моменту, был-есть-становится неосязаемой скрепой Мгновечности, связующим раствором Вечномгновенности, где жизнь-и-смерть «сообщающиеся сосуды». Поскольку «в наших грезях дом – это всегда большая колыбель». И факт этот отрадней и принципиальней, и метафизика с поэзией не могут обойти его. Ибо «факт этот есть ценность, великая ценность, к которой мы возвращаемся в мечтах» (Г. Башляр).

Дом плывет по волнам нашей памяти и по облакам наших грез, сливая два этих тока в единый живой поток, в который нельзя войти дважды, поскольку предварительно невозможно выйти.

«Есть три вещи, которые никогда не возвращаются: Время, Слово, Возможность. Поэтому не теряй времени, выбирай слова, не упуская возможность!» (Конфуций).

На это указывает Дом, которым мы живем, собирая в единое все эти феномены бытия для жизни-переживания, а это, как справедливо замечено: «не поле перейти», не пространство одолеть.

«Умирают – в пространстве. Живут – во времени» (А. Вознесенский).

Так что если хотим «выжить», то только вместе с Домом.
Живите не в пространстве, а во времени.
...минутные деревья вам доверены,
владейте не лесами, а часами,
живите под минутными домами...

А. Вознесенский

И под минулыми тоже, и под теми, которых не миновать, которые не робеют, не стоят стоймя обреченно. И тогда окончательно станет ясно, что очень даже стоит Дом иметь-построить. Причем от первого лица.

В ОДИНОЧКУ-МИРОХОДОМ
ОДНИМ ДОГОВОРИМСЯ ЯЗЫКОМ
СУДЬБУ-СЧАСТЬЕ ВИДЕТЬ В ТОМ.
ЧТО ХОТИМ-ИМЕЕМ ДОМ,
КОТОРЫМ ТОЛЬКО И ЖИВЕМ.

НАД ТРАВКОЙ-СУГРОБОМ
ВМЕСТЕ, ВСТАВ КРАСНЫМ УГЛОМ.
КЛАДКОЙ-СРУБОМ.
КАМНЕМ-КИРПИЧОМ, БРЕВНОМ.
ЗАДНЕ-ПЕРЕДНИМ ЧИСЛОМ.

С ДУШИ СКАРБОМ-ДОБРОМ.
У ПОРОГА, ПОД ОКНОМ
ПЛЕЧОМ ПОДНАЖЕМ.
КЛЮЧОМ ОТОПРЕМ,
ПРИКРОЕМ ЭПОХИ ПРОЕМ.
НА ДВЕРИ СКРИЖАЛИ ПРИБЬЕМ:
АМИНЬ! СВАСТИ! ОМ!

Министерство культуры Республики Беларусь
Белорусский государственный университет культуры и искусств

И. В. МОРОЗОВ

ДОМИАДА

Корпус 2

ДОМ
ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА

Минск
БГУКИ
2023

УДК 130.2:[392.3+314.117.3]
ББК 71.061
М801

*Рекомендовано к изданию
ученым советом Белорусского государственного университета
культуры и искусств (протокол № 2 от 06.10.2022)*

Рецензенты:

В. А. Салеев, доктор философских наук, профессор,
заслуженный деятель культуры Республики Беларусь;
Т. В. Котович, доктор искусствоведения, профессор,
профессор кафедры германской филологии
ВГУ им. П. М. Машерова

Морозов, И. В.

М801 Домиада. Корпус 2. Дом от первого лица / И. В. Морозов ;
М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и ис-
кусств. – Минск : БГУКИ, 2023. – 200 с.
ISBN 978-985-522-323-9.

В свой Дом человек искони вкладывает сердце и душу, ра-
зум и воображение. Всякий раз уникальное получается творение
в мире универсалий. Оно есть откровение человека относительно
своего представления о достатке и красоте, счастье и гармонии,
любви и святости. Возвещает миру непередаваемую словами ис-
по-заповедь от Домотворца, от единоперевого лица. Таковыми
Домами-завещаниями одарили нас А. Экзюпери, М. Хайдеггер,
К. Г. Юнг, Н. Рерих, Конфуций и Лао-цзы, Арсений и Андрей
Тарковские, Ф. Хундертвассер, С. Дали, В. Гропиус, К. Мельни-
ков, Ле Корбюзье, К. Танге, Г. Лангбард... Наконец, авторская
концепция-проект «жилища будущего», отмеченная медалью
ЮНЕСКО и символически рисующая насущную судьбу обще-
человеческого Дома.

УДК 130.2:[392.3+314.117.3]
ББК 71.061

ISBN 978-985-522-323-9

© Морозов И.В., 2023
© Оформление. Учреждение образования
«Белорусский государственный
университет культуры и искусств», 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Заповедное откровение с небес: «Я – зодчий. Душа и сердце», или Ибо... ..	5
Моральный закон Дома, или Мгновечность соло личности	26
Дом-Самость, или Музей будущего с душой пращуров Между Небом и Землей в мире живых превращений, или Сквозь-вместе с Цветами Сливы	37
Манифест Доммашины, или Блеск-нищета «Великой эпохи»	52
Панегирик Жизни, или Изобличенная линейка	70
Потомственная первоначальная свежесть, или Потомство Мастера мысли	80
Дом, который взрастил «просто гений», или Реалии сюрреалиста	90
Дом есть язык Жития, или Проселок поэтических вопрошаний	101
Дом в Саду под Знаменем Мира, или Наггарный проповедник	111
Род-Дом из любого столетия, или Времяворот у Зазеркального лукоморья	126
Реалистичные фантазии домового Квартета, или Момент неотразимой истины	134
Татами-хокку для всех-каждого, или Песня привратной цикады	156
Ностальгия по прошлогрядущему, или Воспоминания-грезы о будущебылом	165
	179

Действующее лицо-исполнитель

1. Истинное имя – ДОМ
2. Образ – ДОМУШКА, ЖИЛИЩЕ, ХОРОМЫ, ХИБАРА, ЗЕМЛЯНКА, ШАЛАШ, ХИЖИНА, ХАЛУПА, ЛАЧУГА, ОСОБНЯК, ПАЛАТЫ-ПОКОИ, ТЕРЕМ, ИЗБА, ХАТА, ЧЕРТОГ, ЗАМОК, ДВОРЕЦ, ХРАМ
3. Национальность – ВСЕЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
4. Пол – АНДРОГИН
5. Дата рождения – ДОИСТОРИЯ
6. Родители – ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО РАЗУМЕЮЩЕЕ
7. Семейное положение – ЛЮБОЕ
8. Наличие потомства – ПО ВСЕМ МИРАМ-ВРЕМЕНАМ
9. Владение языками – ПО ЖЕЛАНИЮ-ВЫБОРУ
10. Вероисповедание – ВЕРА В ЧЕЛОВЕКА
11. Образование – НАИВЫСШЕЕ ПО ВСЕМ НАУКАМ-УЧЕНИЯМ
12. Призвание – ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ, ОЖИВЛЕНИЕ ПАМЯТИ, УРАЗУМЕНИЕ ПРОИСХОДЯЩЕГО, УБЛАЖЕНИЕ ГРЕЗ, ЦАРЕНИЕ УЕДИНЕНИЯ, ВОСПОЛНЕНИЕ ОДИНОЧЕСТВА, ВДОХНОВЕНИЕ
13. Особые заслуги и награды – КОЛЫБЕЛЬ, МАСТЕРСКАЯ, МУЗЕЙ ВЕЛИКИХ ТВОРЦОВ, ПАМЯТНИК-ПРЕДТЕЧА КУЛЬТУРЫ, МЕСТО ПАЛОМНИЧЕСТВА МИРОВЫХ ПИЛИГРИМОВ
14. Источники упоминания – СКАЗКИ, МИФЫ, ПОВЕРЬЯ, ЛЕГЕНДЫ, ПЕСНИ, АНЕКДОТЫ, ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО, ДИССЕРТАЦИИ И ТРАКТАТЫ...

ДОМ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Заповедное откровение с небес: «Я – зодчий. Душа и сердце», или Ибо...

Прежде всего я – житель.
И я спасу тебя, моя крепость,
цитадель моя и обитель,
от посягательств бесплодного песка
Антуан Экзюпери

...«Я ненавижу эту землю...», «кругом посредственность», «кругом уродство», «все глупы», «все безобразно»¹...

Такими неожиданно резко-скорбными признаниями ошеломляет романтик-гуманист, беззаветный филантроп, «отец-воспитатель» Маленького принца, знаток-приверженец Планеты людей...

Объяснение здесь одно: формально-телесное равенство, предоставляемое эпохой машин настораживает обезличивающей уравниловкой – противоположностью братства, основанного на уважении к человеку, а значит, на развитии в человеке сугубо человеческого, творческого, неповторимо индивидуального начала, условием которого должна быть реальная свобода. Но не «стадность», провоцируемая «потребительской цивилизацией»...

Отсюда неминуемо восстает «главный вопрос нашего времени» – о назначении человека, о смысле бытия. Здесь уже не до романтической мечтательности. Ибо не только робкое предчувствие, окрепшее чувство, но и твердая убежденность глаголет о духовной катастрофе.

¹ Здесь и далее курсивом слова, фразы, мысли Антуана Экзюпери, заложенные в «Цитадели» и иных памятниках его духовного искательства.

«Разве ты не слышишь запаха бойни и харчевни духа? Разве не стоит над этим городом смрад от зарезанного духа?»².

«Перекосились дома, балки лопались, словно их начинили порохом. Стены дрожали и рассыпались в прах. Мы выжили, но стали ненужными даже самим себе».

Самое же печальное, что спустя десятилетия столь самоуничижительное откровение только усугублялось.

«Люди становятся отбросами своих собственных отбросов – вот характерная черта общества, равнодушного к своим собственным ценностям, общества, которое самое себя толкает к безразличию и ненависти» (Ж. Бодрийяр).

Сегодня о них говорится: Ghost-towns, ghost-people (англ. Города-призраки, люди-призраки). Ибо в них сквозит девиантное отношение к исконно духовно-возвышенной природе человека. В них «человеческие существа бесконечно воспроизводят себя в виде отбросов или в виде обыкновенных статистов, удел которых – обслуживать этот холостой механизм, символизирующий порочный круг производства. И тогда хочется спросить, как же может ненавидеть и презирать самое себя..., создавая города и метрополии, подобные огромным холостым механизмам, бесконечно себя воспроизводящим» (Ж. Бодрийяр).

Где-как при этом не то, что творить и гордиться собой, а попросту уцелеть-спастись человеку как таковому, обретя нужный кров-обитель собственной духосамости?

«Боже, как все это печально! Найти себя это, наверно, невозможно. Где то, в чем можно себя найти, – где дом, обычаи, верования? Вот почему в наше время так невыносимо трудно и горько жить».

«Мне противен также этот большой город... Здесь и там нечего улучшать, нечего ухудшать!».

Не иначе, как **«ад для мыслей отшельника»**, где-когда **«великие мысли кипятятся заживо и развариваются на маленькие»**, где-когда **«разлагаются все великие чувства»**.

«Горе этому большому городу! И мне хотелось бы уже видеть огненный столб, в котором сгорит он!».

² Здесь и далее жирным откровения «Заратустры» и самого Ф. Ницше.

Здесь выказывается и предчувствие двух «цивилизационных» войн, и желание очистительного огня, после которого останется лишь плодородная зола для животворного Возвращения к тому, можно-следует любить.

«Где нельзя уже любить, там нужно – пройти мимо!».

Отсюда и изгнанничество из Дома пращуров, что вызывает особое отчаяние.

«Ах, куда же еще подняться мне с моей тоской! Со всех гор высматриваю я страны отцов и матерей. Но родины не нашел я нигде».

Без Дома-семьи тревога досаждаёт во всех городах и гонит **«прочь из всех ворот»**. На вольный простор мысли-пророчества о Сверхчеловеке, ибо...

«Человек есть нечто, что должно превзойти».

«Но всему свое время и своя собственная судьба».

А у пророков она известно какая, особенно в своем «отечестве», априори настороженно-неприветливом. И как ему быть таковым, когда Наука-Техника сулит фантастические скорости прибыли-доходов, способные безжалостно «загнуть клячу истории» (В. Маяковский). И под фанфары неудержимого прогресса ворваться в небывалый Дом всеобщего благоденствия...

Вот только розовый первооптимизм обволакивается сомнением.

«Мы едва начинаем обживать этот новый дом, мы его даже еще не достроили... Мы едва успели обзавестись привычками, а каждый шаг по пути прогресса уводил нас все дальше от них, и вот мы – скитальцы, мы еще не успели создать себе отчизну».

Ибо наш внутренний мир потрясен до самого основания. Хоть и остались слова: разлука, отсутствие, даль, возвращение, дом, их смысл стал иным – духовно-плоским, сугубо «функциональным», «механизмичным». Отсюда отчаянная попытка охватить-описать нынешний мир в почти уже утраченных смыслах-образах.

«Нам кажется, будто в прошлом жизнь была созвучнее человеческой природе».

Ибо был-присутствовал тогда осязаемо-чувствуемый стержень, абсолют стабильного Дома, но «нет больше личного и

домашнего универсума, отныне только непрерывные фигуры циркуляции» (Ж. Бодрийяр).

И каждый новый полет над сумрачными городами планеты потерявших людей продолжает убеждать в катастрофической утрате и, соответственно, ответственности.

«И вновь я смотрю на город, зажигающий в сумерках огни... Нет в нем общей жизни, что течет сама по себе и животворит каждого, нет общего сердца... Нет города, есть видимость, есть некрополь, не сомневающийся, что по-прежнему жив».

Видимость полнозвучной достойной жизни позже опишется-оценится как владычество симулякров-имитаций (Ж. Бодрийяр). При нем чувства-переживания становятся излишней обузой.

«Больше некому любить людей».

Жизнелюбивая натура не может пролететь мимо такой «пустыни». Ибо ему нужно понять истоки пугающего падения-нелюбви.

И с надгорной высоты видится ему, как вещи испытывают невиданный прилив любви-вожделения, а пышущий самодовольством вещизм уверенно воцаряется в сонме неофетишей. При нем человек измеряется-оценивается не тем, что-чем он творит-одаривает, но тем-что он приобрел-захватил. К такому миру пропадает доверие, ибо он *«оборвал связь, утратил самое драгоценное свое достояние: оно не в вещах – в осмысленности мира».* Вещь как таковая преходяща, переменчива и изменчива в своем смысле-существовании. Потому ее истинное призвание-исполнение возможно исключительно за горизонтом телесно-физических критериев.

«А человек – ничего не поделать – создан так, что вещи для него пусты и мертвы, если не связаны и с бестелесным тоже».

Одним словом, с Красотой. Ибо...

«Красота, которая превышает души и о которой душа моя воздыхает днем и ночью. Мастера и любители красивых вещей от нее взяли мерилу для оценки вещей, но не взяли мерилу для пользования ими» (Блаженный Августин Аврелий).

«Богатый скупец выбирает для себя все-таки самую красивую вещь, потому что собственный дом он представляет богатым и прекрасным и золото для него – средоточие незримых сокровищ?»

Однако «незримые сокровища» становятся все более незримыми, утопая в чрезмерном изобилии-роскоши.

«Создание разных искусств и ремесел – одежда, обувь, посуда и всяческая утварь, картины и другие изображения – все это ушло далеко за пределы умеренных потребностей и в домашнем быту и в церковном обиходе» (Блаженный Августин Аврелий).

А Дом все более походит на сундук для собирания-скопления пожитков, зачастую совсем уже не нужных, собирающих пыль бессмыслицы и ничего кроме себя самих не означающих.

Посему за штурвалом самолета, письменным «столом» все более бесчинствует «незримая» боль опустошенности, вызванная беззащитностью *«символического пространства», «интеллектуального пространства собственного мнения»*. Техника *«делает доступным все, что угодно»*, и уже невозможно *«решить, что полезно, а что бесполезно»*, что *«прекрасно, а что безобразно, что хорошо, а что плохо, что оригинально, а что нет»*.

Ибо в этой ошеломляющей «ситуации невозможности принять какое-либо решение, любой предмет делается плохим, и единственной защитой становится противореакция, неприятие и отвращение... Это иммунная реакция организма, с помощью которой он стремится сохранить свою символическую целостность, иногда ценой жизни» (Ж. Бодрийяр).

Так что и жизнь-исполнение Дома обуславливается не фрагментами-деталями, но в сугубо холистической ипостаси, где целое больше, чем сумма его частей.

«Тот, кто, желая понять сущность дома, разбирает его, видит кирпичи, черепицу, но не находит ни тишины, ни уюта, ни прохлады, которым служили кирпичные стены и черепичная крыша...».

Такова уж природа нашего сугубо аналитического мышления, не отягощенного синтезом целостного, живого-задушевного видения.

«Душа и сердце вне логики. Они не подчиняются математическим законам».

Даже самые обширные знания не только не снимают, напротив, усугубляют духовный феномен Человека.

«Что толку, если он станет ходячей энциклопедией, – поднимайся с ним со ступеньки на ступеньку, чтобы видеть не отдельные вещи, а картину, созданную тем Божественным узлом, который один только и способен связать все воедино».

Поэтому не количество-масштаб, не «громадье» мера Человека-Дома.

«Сколько – меня не интересует. Я хочу знать, какой ты выстроил дом... Я хочу знать, какую любовь ты пестуешь и на что, более долговечное, чем ты сам, тратишь свою жизнь. Я хочу, чтобы ты сбылся».

Это означает старую, как религии, моральные кодексы, мудрость, что о человеке следует судить-рядить по делам его, «а не по ненужной делу вещности», возвышающей владельца разве что в собственных глазах.

В этом убеждаешься окончательно после общения с наивно-мудрым Маленьким принцем, свободным еще-уже от меркантильной коросты, потребительских вериг взрослых:

«Когда говоришь взрослым: “Я видел красивый дом из розового кирпича, в окнах у него герань, а на крыше голуби”, – они никак не могут представить себе этот дом. Им надо сказать: “Я видел дом за сто тысяч франков”, – и тогда они восклицают: “Какая красота!”».

«Окружайте себя маленькими, хорошими, совершенными вещами, о Высшие люди!».

Отсюда неизбывная тоска в индустриальных домостройках, казалось бы выводящих из нищеты «пещерной» и цивилизующей всяческими техническими устройствами.

«Почему тебе так тоскливо в твоём новом доме? Куда более удобном, лучше обустроенном – доме, о каком ты мечтал в нищете былого? Колодец так утомлял тебя, и ты мечтал о водопроводе. Вот он – водопровод. Но теперь тебе не хватает скрипа ворот, воды, добытой из чрева земли, что вдруг отражала твоё лицо, когда в колодец ныряло солнце».

«Ибо все самое малое, самое тихое, самое легкое, шорох ящерицы, дуновение, мгновение, миг – малое, вот что составляет качество лучшего счастья. Тише!».

...Нет, речь, конечно же, идет не о некогда модном призыве-девизе: «Назад – в пещеры!», откуда доносились поучения решительного Заратустры. Ибо Человеку даже в самые тягостные годы мечтается-грезится не только сугубо убежище. И тем более его имитация-подделка.

«Да, конечно, стены нужны человеку, он должен быть укрыт, чтобы стать семенем. Но ему нужен и Млечный Путь, и морской простор, хотя ни звезды, ни море никак ему не служат...».

Ибо Дом не просто защитная личина-оболочка, не «машина для жилья» (Ле Корбюзье), которая не способна наполнить переживанием себя-самости, не подвигает людей людьми быть-зваться, творить-сбываться.

«Для того, чтобы они стали людьми, нужно дать им возможность узнать человеческие чувства, научить их видеть за дробностью мира единую картину – облик дома, владения».

И истинный радатель явления человека нового, Сверхчеловека предлагает для этого свой Дом-обиталище надежной Крепостью.

«В моем доме, у очага моего никто не должен отчаиваться, в моих владениях защищаю я каждого от диких зверей их».

«Их» дикозвери – очевидно, то недочеловеческое, слишком нечеловеческое, что еще живет-глохнет «старого» человека, всячески препятствуя его освобождающему восхождению. И здесь мало высоты «гор», востребуется высь-мощь Цитадели.

Истоки ее образа-идеи явно берут начало-подпитку в детском воображении Антуана. Особенно со смертью молодого еще отца и переезда из Лионской квартиры по замкам своих бабушек, несомненно, обладающим проникновенным очарованием, пленяющей магией, **«страны отцов и матерей»...**

...Затем, в 12 лет первый авиационный взлет со знаменитым летчиком. Еще учеба в иезуитском колледже и лицее. И еще – вдохновенная подготовка к обучению на морского

офицера. Наконец, – отделение архитектуры Национальной высшей школы изящных искусств...

Как после такого «паломничества» не увидеть-признать в себе Зодчего, творящего свой нерукотворный Дом для планеты людей. А сбывание Зодчего отнюдь не ограничивается должностью архитектора – «главного строителя». Ибо буднично-приземленная архитектура следует законам *«бытовой прагматичности»*, сермяжной повседневности. Для нее *«дом – средство, и ничего больше»*, и диктует озабоченность *«не домом, а его удобством»*, для чего хватает строительных норм-правил.

Зодчий же обязан владеть-обладать **«волей к власти»** над всем инертно-порочным, пользоваться напором лидера, повелевать дальновидностью вождя.

«Я – правитель. Я веду. Я – вождь».

Особый, надо признать, вождь. Ибо...

«...Вождь не тот, кто способен хранить ведомых; вождь – тот, кто с помощью ведомых способен сохранить себя».

То есть сохранить как семя-росток для культивирования свободы чувств-переживаний, что возможно только в обители-ауре своего Дома.

«Ибо всякий камень его разится от камня, что добывают узники в каменоломни», его «камень нуждается в сердце и душе человека...».

И ведущий Зодчий принимает свою судьбу как время собирать камни сугубо таковые. Из них и выросла-вырисовалась впоследствии его «Цитадель», беззаветно ответственная за тех, кого приручает. Ибо она рукодельна, от души-сердца. С ее неизмеримой высоты не только «рукой подать» до Млечного пути, но открываются великие дали-мысли, сама истина открывается.

«Великая истина открылась мне. Я узнал: люди живут. А смысл их жизни в их доме... Заслушавшись бездельников, люди теряют из виду дом и разрушают его. Так расточают они самое драгоценное из своих сокровищ – смысл существующего».

А раз так, то этот Дом должен быть сродни надежной крепости-редуту, как, впрочем, и его домочадцы.

«И я понял: человек – та же крепость».

Однако незыблемость ее в сердце-душе его. Так что зодческая задача становится весьма понятной и целенаправленной.

«Крепость моя, я построю тебя в человеческом сердце...».
Отсюда и воля Зодчего.

«Я повелеваю: пусть в каждом доме бьется подобие сердца, к нему можно приблизиться, отойти, покинуть и возвратиться. Без сердца нет дома».

Следовательно, и человеку подобает быть с сердцем – чутким, отзывчивым, любящим, одухотворенным.

«Я люблю человека, одухотворенного животворящими божествами, которые я вырастил в нем, чтобы он тратил себя и свою жизнь на большее, чем он сам: на дом, родину, Господнее царство».

В каких высотах-глубинах увиделось столь сокровенное откровение?

«Когда я пишу, то продолжаю тем самым великую традицию блаженного Августина».

А у него есть знаменательная метафора-идеал: «душа – дом». А также отчаяние как предтеча-крестник отнюдь не блаженных, но тягостных переживаний звездного Зодчего.

«Какою печалью омрачилось сердце мое! куда бы я ни посмотрел, всюду была смерть. Родной город стал для меня камерой пыток, отцовский дом – обителью беспросветного горя; все, чем мы жили с ним сообща, без него превратилось в лютую муку» (Блаженный Августин Аврелий).

Здесь же, в томлении духа и рождается отождествление дома-души, признание божественной заботы о нем.

«Тесен дом души моей, чтобы Тебе войти туда: расширь его. Он обваливается, обнови его. Есть в нем, чем оскорбиться взору Твоему: сознаюсь, знаю, но кто приберет его?» (Блаженный Августин Аврелий).

Дабы прибрать его к рукам-помыслам *«человека, одухотворенного животворящими божествами»* и творится-высится Цитадель. С нее, как с поднебесного амвона, звучит Молитва звездного Зодчего:

«Господи, я прошу не о чудесах и не о миражах, а о силе каждого дня. Научи меня искусству маленьких шагов. Сделай меня наблюдательным и находчивым, чтобы в пестро-

те будней вовремя останавливаться на открытиях и опыте, которые меня взволновали».

Богоугодная просьба не осталась без ответа-дара любознательности и жажды открытий.

...«Случайная» «стоянка в дальнем краю», в Аргентине, «но могло быть и где-нибудь еще: мир полон чудес».

«Я приземлился посреди поля и вовсе не думал, что войду в сказку... И вот за поворотом в лунном свете показалась рощица, а за нею дом. Что за странный дом! Приземистая глыба, почти крепость. Но, едва переступив порог, я увидел, что это сказочный замок, уют столь же тихий, столь же мирный и надежный, как священная обитель... Тотчас появились две девушки. Они испытующе оглядели меня, точно судьи, охраняющие запретное царство... Было забавно и мило. Совсем просто, беззвучно и мимолетно мне шепнули, что начинается тайна».

Изумленное приобщение к тайне началось с порога этой загадочной обители.

«Ибо все здесь обветшало и оттого было полно обаяния, точно старое замшелое дерево со стволом, потрескавшимся от времени, точно садовая скамья, куда приходили посидеть многие поколения влюбленных... Занятный дом, к нему нельзя было отнестись со снисходительной небрежностью, напротив – он внушал величайшее уважение...».

И было совместное столь же странное застолье, после того как девушки вновь появились, так же таинственно, так же безмолвно, как прежде исчезли... И был хлеб и вино своеобразной евхаристии. Так что была и игра сродни некоей испытательной ворожке, которую не суется, но властно вели две гостеприимные феи-ведуньи, дружившие с дикими травами и змеями, живя в гармоничном ладу со Вселенной.

«Пока я ел, мои молчаливые феи так неотступно следили за мной, так часто я ловил на себе их быстрые взгляды, что совсем потерял дар речи. Наступило молчание... Тогда младшая, видимо, удовлетворенная экзаменом, все же не преминула...».

Словно въявь разыгрывался новозаветный сюжет о явлении Иисуса в небольшое селение Вифанию, в тихий ветхий дом Лазаря, под волшебные чары двух сестер, что жили там,

видимо, в ожидании-уготовлении рокового прихода. И получал пришелец стол от них заботливый. И одна из их помазала его маслом и отерла ноги его власами своими магическими. И так посвятила его в помазанники Зодчего. И уже не мог он оставаться на все той же земле-месте... Ибо она уже «пролила масло».

А на крыле межзвездного полета «невольно» рождается-укрепляется мысль-убеждение, что единственный способ обрести бессмертие – это участвовать в таких действиях, у которых есть шанс пережить-превзойти человека отжившего, заброшенного, обезДомленного. Для этого и даруется выстрадавшая Цитадель. Но не как каземат для заключения-аскетизма. Ибо ее служение во имя возвращения полноты жизни-обители, преисполненной рождения-смерти, любви-ненависти, дружбы-вражды, свободы-принуждения. Ибо душевно-сердечное напряжение только в незыблемой дихотомии добра-зла, красоты-уродства, животности-божественности одаривает представлением о живучести жизни, текучести времен. Впрочем, это вовсе не означает безоглядный бег наперегонки, пикирующий перелет из ниоткуда в никуда, из-в-никогда. Почему и беспокоит отсутствие *«наследия, которое неизменным передавало бы одно поколение другому, время теперь течет бесплодно, словно песок»*.

Понятно, не такого зыбуче коварного, «краткосрочного» песка безвременья требует созидание Дома-Цитадели.

«Дом противостоит пространству, традиции противостоят бегу времени. Нехорошо, если быстротечное время стирает нас в пыль и пускает по ветру, лучше, если оно нас совершенствует. Время тоже нужно обжить».

Обживание времени, его одомашнение означает наличие, пожалуй, главного критерия свободы: *«есть время для творчества, а потом для творения»*. Вот, пожалуй, то неизменное, что заслуживает неудержимого продления-передачи – традиции. Ибо...

«Неизменному подобает пребывать в вечном».

А значит вмещать и возвращение, ибо за временем «для зачинания нового» *«наступает благодатное время традиций»*, только на которых и может твердо стоять-вдохновлять Дом-страна якобы умерших **«отцов и матерей»**. И это по-

ступательное возвращение также служит традицией. Она богоподобна, ибо преодолевает смерть физическую, не давая предкам уйти из Дома бытия навсегда.

«Когда-то я приказал строить дома для усопших – да, это дорого, да, бесполезно, – но зато в них собирались по праздникам и чувствовали не умом, а въяве, что живые и мертвые живут вместе, что они – единое дерево, которое тянется вверх».

Дома «подобны дереву. Они – живые, ибо рождает их человек. Человек уверен, что главное – правильный расчет. Он не сомневается, что стены воздвигаются умом и соображением. Нет, их воздвигает страсть...».

Да, страсть, если она принадлежит не похоти, но Заботе, исполняемой ухаживанием-культивированием, дабы Дом не закладывался-строился-возводился, но высаживался-выхаживался-взращивался.

Библейский Творец в начале «Бытия» предстает исключительно заботливым садовником, творящим прекрасный Эдем, весьма благодатную обитель, бескровный Дом. И лишь затем, увидев, «что это хорошо», он населяет его людьми. А когда они сполна прониклись величию этой Заботы и сами выказали готовность к ней, только тогда решается исполняется предоставление им собственной «целины» для заботливого возделывания сугубо человеческого Дома. Так что истинный первогрех-отступление состоит в отказе-измене этому человеко-божественному принципу – телесно-духовной, здорово-гармоничной, естественно-рукотворной Гармонии. Ибо Дом – был, должен быть Древом Жизни-познания, которое питает насыщенными вековечностью соками свою новопоросль.

«Но если я направляю свой шаг в будущее, я должен буду считаться с постоянным рождением чего-то нового, оно будет преобразовывать существующее, но предугадать его мне не дано, потому что оно иной природы».

Природа, пожалуй, одна и та же – **«человеческая, слишком человеческая»** – животворческая. Она, по определению, не статична, ибо неизменно плывет по волнам-облакам нашей памяти-мечты. И потому может видеться неудержимой стихией, весьма способной смутить-озадачить.

«Скажи, на что можно тратить себя, если все вокруг уничтожается неподвластной тебе стихией? Что можно построить, если все пришло в движение?».

Со времен Гильгамеша и Ноя ответ дан единовѣрный – подобает строить надежный Корабль, или Дом-царство, способное одолеть гребни временного потопа, пережить-переплыть скоротечность единичной жизни к берегам мира уже-еще беспотопного.

«И я понял: прежде всего нужно строить корабль, снаряжать караван, возводить храм – они долговечнее человека».

Образы, явно навеянные особым отношением к морю и одновременно к пустыне, по своему также безбрежны.

«Я люблю пустыню».

Прожив три года в Сахаре, прирожденный летчик-зодчий пытался *«постичь, чем же она завораживает и покоряет»*. И это ему удалось благодаря испытанному в веках способу – квазимонашескому одиночеству.

«Там ты вечно погружен в неизменное однообразие скуки. И однако, незримые божества создают вокруг тебя сеть притяжений, путей и примет – потаенную живую мускулатуру. И уже нет однообразия. Явственно определяются знаки и вехи. И даже тишина всякий раз иная».

Посему она сравнима с оазисом для сосредоточенного размышления – бережного культивирования достойных идей. Ибо там нет *«счетоводов и лавочников»*, там не действуют законы, регулирующие их существование. Человек в пустыне абсолютно свободен, он предоставлен самому себе, погружен в себя. В пустыне господствуют *«силовые линии»*, вынуждающие человека, как и в полете, жить на пределе своих возможностей. Пустыня, как и небо, – простор человеческого духа. И все великие откровения-озарения дарует Пустыня.

«Никогда я так не любил родной дом, как в пору, когда очутился в Сахаре».

Ибо проникся необычный «пустынник» событием прибытия караванов на высокий берег моря, откуда являлся *«сгустившийся простор»*. Им они запасались впрок и так *«приносили в дом покой и счастье, которым надышались»*.

И тут же морской, всегда благоприятный отчаливанию, ветер-бриз. И зовет-влечет он к плаванью-полету по морю-небу Зодчего-кораблестроителя. Ибо Цитадель кораблю подобна.

«Я строил тебя, как корабль. Крепил, оснащал, и теперь ты плывешь в потоке времени, который стал тебе попутным ветром. Корабль людей, без него им не добраться до вечности!».

Должно быть вечный корабль?

«Но я вижу, сколько опасностей грозит моему кораблю. Вокруг бушует беспокойное море неведомого... А вокруг слепые стихии, могучие и неведомые».

Но и стоять на месте кораблю невозможно, ибо порастет илом-гнильем. Надо решаться...

«Мне предлагают все новые и новые курсы. Любой путь возможен, потому что всегда возможно разобрать построенный храм и сложить новый».

Не будет ли он очередной имитацией-подделкой, издевательством над потерей-утратой, над традицией?

«Он не будет лживей старого и не будет истинней, не будет грешней и не будет праведней. Камни не помнят, какой была тишина, поэтому никого не коснется чувство утраты».

А сомнения людей в прочности Корабля, не утянет ли он с собой в штормовую годину всех разом на дно небытия-забвения?

«Знаю я и то, что даже корабль должен перемениться, если он плывет по жизни. Если повторять и повторять его без изменений, корабль умрет, став экспонатом для музея».

Здесь вновь проступает образ Ноева ковчега: не был ли и он подвижной твердыней Цитадели как волнореза-дамбы для прилива небывалой стихии? И одновременно маятником, соединяющим разные берега водоворота времени, как начало конца и конец начала, исключаящие беспричинную жалость перед лицом-причалом перемен.

«Ибо слишком часто я видел жалость, которая заблуждается...».

Именно таково начало «Цитадели», где в изначальном «ибо» предполагается нечто бывшее ранее, предыдущее, обу-

словливающее последующее, новаторство традиции, непредсказуемое сбывание, не лишенное ни неги-предрады, ни печали-тревоги. Так что не просто лингвистический союз, но нерушимый союз-завет времен летит-плывет рефреном заповедной и весьма озабоченной мысли-чувства.

«Я чувствую, как обтекает нас бесплодное время. Я чувствую, как оно утекает. Время не должно течь так ощутимо. Оно должно обрести форму, созреть и состариться. Оно должно стать вещью, постройкой. Но какой формы ему ждать теперь, если мы ничего не можем, если от нас ничего не останется?».

Остается одно – в форме-содержании испытанного века-ми-нашествиями Замка-Цитадели, которая источает отказ от жалости с ее бездарными заблуждениями. Ибо взывает она к человеку-крепости, к сверхчеловеческому усилию во благо решительного созидания...

Посему и окончательное у «Цитадели» также «Ибо»:

«Ибо Ты, Господи, общая для нас мера. Ты – узел, что связал воедино несхожие деяния!».

Отсюда безусловный наказ взлетевшего над толпой-суестью зодчего своим «приземленным» коллегам: созидать подобает лишь великое-нетленное, надповседневное. Ибо между-среди двух этих «Ибо» исполняется жизнь-бессмертие.

«И вы, зодчие, вы сами обретете величие, потеряв интерес к насущному. Созидая поистине великое, вы переродитесь... Вы превзойдете самих себя. Невозможно стать великим зодчим, строя всю жизнь балаганы».

Подобает быть истыми волшебниками, ибо, чтобы стать великими, подобает обычные камни, «предназначенные служить нехитрым будничным удобствам», зарядить неодолимой духовной силой, сотворив из них «ступени, ведущие к престолу Господа». И так снять нестерпимый гнет с души.

И чем выше Зодчий-вождь поднимался по ступеням Цитадели-Храма, тем отчетливее виделось, как уменьшается планета. Воображение рисовало ее глазами, душой-сердцем Маленького принца, который «никак не мог понять, для чего на крохотной, затерявшейся в небе планетке, где нет ни домов, ни жителей, нужны фонарь и фонарищик».

Исключительно светлая детская мудрость находит и этому объяснение:

«Когда он зажигает свой фонарь – как будто рождается еще одна звезда или цветок. А когда он гасит фонарь – как будто звезда или цветок засыпают. Прекрасное занятие. Это по-настоящему полезно, потому что красиво».

Посему даже это трепетное звездосвечение, несмотря на все более непробиваемый смог, многим нужно. Ибо высшая польза в красоте, как и истина в жизни. Понятна тогда родословная столь взрослого в суждениях мальчугана: *«его родная планета вся-то величиной с дом!».*

Ибо Дом человеческий ни много, ни мало величиной с планету, обойти-облететь которую можно «не сходя с места».

«И не нужно тут ни кораблей, ни колесниц четверкой, ни ходьбы: расстояния не больше, чем от дома до места, где мы сидели. Стоит лишь захотеть идти, и ты уже не только идешь, ты уже у цели, но захотеть надо сильно, от всего сердца, а не метаться взад-вперед со своей полубольной волей, в которой одно желание борется с другим, и то одно берет верх, то другое» (Блаженный Августин Аврелий).

В этой не на смерть, а на жизнь борьбе исполняется виртуальное возвращение к само-самости, к исходному Дому. От застенков-цехов Цивилизации – под яснонебесные своды Храма Культуры.

«Мое Само только возвращается ко мне, оно наконец приходит домой; возвращаются и все части его, бывшие долго на чужбине и рассеянные среди всех вещей и случайностей».

Возвращение вовсе не простое, но радостное, ибо победное: **«С битвы, где бился с дикими зверями, вернулся домой... в страну культуры».**

«...А радость рвется в отчий дом...

В свой кровный, вековечный дом!».

Иначе говоря, в Детство, откуда мы все родом и туда, где единое коренящееся вверх дерево навсегда остается большим-плодовитым.

«...Люблю я еще только страну детей моих, неоткрытую, лежащую в самых далеких морях; и пусть ищут и ищут ее мои корабли. Своими детьми хочу я искупить

то, что я сын своих отцов; и всем будущим – это настоящее!».

«Главное – чтобы где-то сохранялось все, чем ты жил прежде. И обычаи. И семейные праздники. И дом, полный воспоминаний. Главное – жить для того, чтобы возвратиться»...

...Итак, Цитадель-маяк времен-судеб, востребованный духом возвращения, а оно преисполнено впередсмотрящей Заботой. Посему именно она определяет человеческое бытие в его целостности, «удел человеческий» (М. Хайдеггер). И актуальная философия жизни находит тому подтверждение в далях-глубях **«страны отцов и матерей»**.

Вот всадник, позади которого «сидит мрачная Забота». Она неизменно за искателем «в крепкой ладье ль он, верхом ли едет» (Гораций «Оды»).

Однако еще назойливее сидит-летит она позади летчика, взвалившего на себя бремя-миссию Зодчества, априори исповедующее Заботу. Ибо весьма увидел-прочувствовал он, как **«за ухом двигалось еще нечто, до жалости маленькое, убогое и слабое»...**

Вот монолог самой Заботы от первого лица.

...Пусть меня не слышит ухо –
Громок зов мой в недрах духа;
В разных образах встает
Мой суровый, властный гнет...
...На морях, на суше – всюду
Страшным спутником я буду...
...Раз кого я посетила,
В мире все тому не мило...

Гёте «Фауст»

Тогда понятен, видимо, врожденный вердикт Творца, озабоченного снижением божественного в человеке, недомоганием «фаустовским мышлением» (О. Шпенглер).

...Был приговор исполнен,
названа тварь человеком:
в жизни он при Заботе,
в смерти – с Землей и Богом.

И. Г. Гердер «Дитя Заботы»

Итак, все более проявляется замысел Евангелия от Зодчего, ибо...

«Цитадель – это прежде всего Бог, но в то же время и человек, ощутивший духовный ожог от скрытой в его сердце искры Божией».

Значит, отнюдь не обреченно, не апокалиптически признание: **«Бог умер!»**, ведь он, один-единственный – **«старая борода, сердитый и ревнивый Бог до такой степени забылся»...**

Тогда какого возвращения жаждет любитель-предтеча страны-времени и отцов-матерей, и детей-потомков?

Вернись, вернись ко мне, мой бог

– мое страданье,

И счастье последнее мое!..

Следовательно: **«Бог умер»** – да здравствует Бог! Однако непременно иной – энергичный, деятельный, но главное внимательный, сострадающий насущным чаяниям человека – заботливый. Или, языком Августина, всеблагий, допускающий и даже прославляющий видимое несовершенство. Ибо оно не порок-грех, но условие мировой гармонии, крепость-опора для совершенствования, ведь хорошо лишь то, «что может стать лучше». В этом видится сущность Теодицеи (Богооправдания), объясняющей наделение человека умом, волей, памятью в их экзистенциальной холистичности. Ибо они есть неотъемлемые атрибуты-условия творчества и поэтому исключительно хронотипичные.

Посему чужды Творцу одиозно-догматичные клерикалы, не столько помнящие, сколько припоминающие. Отвратно также и нескончаемое соревнование со смертными во взаимно умаляющем сутяжничестве. Словом, исконный Творец-Зодчий требует не рабского ему преклонения, но совместного причащения к созиданию Дома. Посему и превозносит, уповает он на человека, сродственного ему по духу, богоподобного – Сверхчеловека, приобщенного не к сиюминутности, но к Вечности.

«...Ибо я люблю тебя, о Вечность!».

В ней найдется свое время-срок и «башне из слоновой кости», и «воздушным замкам», если, конечно, кость натуральная, а воздух чистый. В ней стеническая Цитадель – опора,

место самоименя человека – существа, обитающего не столько в пространстве, сколько, а точнее, прежде-после всего, во Времени. Ибо также сугубо им живет-процветает Забота, весьма безразличная к осязаемо-видимым простираниям. Отсюда и обращение к Цитадели «за божественной благодатью: понять, что мечты не могут быть помощью. Помогите мне быть здесь и сейчас и воспринять эту минуту как самую важную»...

...Обожествляемое мгновеновечное восприятие Времени вольно-вольным цитадельно-крепостным Зодчим и «родителем-вдохновителем» Заратустры подсказывает не удивляться и их реальной хронологической сопричастностью. Можно сказать, духовной реинкарнацией, сопременственностью на планете людей, окутываемой все более тягостно-токсичной атмосферой. Ибо Антуан Мари Жан-Батист Рожэ де Сент-Экзюпері родился в тот же 1900 год, который стал последним для Фридриха Вильгельма Ницше. А ушел в последний полет пылкий Зодчий-летчик ровно через столетие после рождения немецкого мыслителя, «убийцы» устаревшего Бога.

«Я вижу: есть преемственность и есть подражательство».

Впрочем, возможна ли без преемственности, да и без подражания тоже Забота о Доме, искони по существу вбирающая их. Ибо «человек есть то, чем он занят» (М. Хайдеггер), о чем печется-беспокоится – чем озабочен. Как, впрочем, и его боги.

Тогда меркантильность-прагматизм остаются в тени гласно-негласного презрения. Ибо потакают гноблению-унижению искони-сугубо человеческого в человеке – превосходить-взмываться над самим собой.

«В чем суть удачных восхождений? Вперед и вверх без размышлений».

Восхождение-взлет особенно родственен натуре летчика, у которого лишь одна, как поется, мечта – Высота. Однако не физическая величина, но духовная возвышенность, постоянная возвышаемость над толпосуею поднуползущих...

Дом-Забота. Ныне подобное, казалось бы, парадоксальное отождествление согласуется синергетическим взглядам

на сущность происходящего в андрогинном симбиозе бытия-становления, наличного-возможного, видимого-воображаемого, облика-образа, тела-духа.

Вот в эту темно-ночную фантазмагорию, сколько хватало сил-времени, вонзался на своей двукрылой «Цитадели» ищущее-находчивый миронаблюдатель.

Идет без проволочек
И тает ночь, пока
Над спящим миром летчик
Уходит в облака.

.....

И страшным, страшным креном
К другим каким-нибудь
Неведомым вселенным
Повернут Млечный путь.

.....

Он смотрит на планету,
Как будто небосвод
Относится к предмету
Его ночных забот.

Б. Пастернак «Ночь»

За это звезды, «зажженные» явно неслучайно, и дарили ему свою нежность. Дабы смягчить-пригасить душевное томление-горение и так служить невесомым основанием-кровом его чувствительной Цитадели. Ведь она – Дом-Храм, а в нем опять-таки *«не камни главное – тишина, ради которой их сложили»*. Причем тишина явно домашне-семейная, как хранилище, куда хронически беспокойный Зодчий *«поместил свою кровь и свою честь»*. Ибо...

«Тишина в женщине, вынашивающей дитя... Тишина в мужчине – он облокотился на стол, он задумался, он питает и питается соком мысли... Тишина – это отметание вредоносных паразитов и сорняков».

Многоночные перелеты наедине со всеми и тишиной – бредущий поиск *«необычайных надежд и мечты о тихой гавани»*.

«Долго искал я, в чем суть покоя. Суть его в новорожденных младенцах..., семейном очаге. Суть его в вечности, куда возвращается завершённое».

«И кончиться хочет он! Уже настает вечер: по морю скачет он, добрый всадник! Как он качается на своих пурпурных седлах, он, блаженный, возвращающийся домой!».

Уже настает утро: по небу летит он, добрый владелец Цитадели из военной разведки, не выдавая ни блаженства, ни мук.

...Он в море нашел покой.
Лучше лежать во мгле,
В синей прохладной мгле,
Чем мучиться на суровой,
Жестокой проклятой земле.
Будет шуметь вода,
Будут лететь года,
И в белых туманах скроются
Черные города.

Ю. Друнина

«Глядя с вершины, я погружаю в тебя – о, тишина! – свой город».

И он таинственно погрузился-таки в нее, заботливо оставив на безбрежье Времен нерукотворную Цитадель. Ибо Время, как говорится, боящееся разве что Пирамид, вожде-ленно привечает ее. Не амбициозную гробницу, но Дом-Храм, межзвездный корабль-ковчег рода Зодчих, тех сверхсуетных, кто *«с радостью будут тратить себя на то, что драгоценнее их самих»*. Дабы не отбыть свой срок-век, но воистину *сбыться* в-для Вечности...

От винта!

Ибо...

Моральный закон Дома, или Мгновечность соло личности

Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, – звездное небо надо мной и моральный закон во мне

И. Кант

К окончанию прошлого столетия архитектура, мировоззрение в целом пережили парадигматический поворот, за бравурным, казалось бы, неудержимым восшествием идей-образов тотального сциентизма-рациональности, безупречности «современной архитектуры» с ее культом функциональной прагматичности наступило весьма горькое разочарование.

«Формы стали физически громадными, технологически виртуозными, технически вымеренными», однако весьма печально от важнейшей утраты: эти великие формы утратили для нас свою исконную мощную способность означивать и предстают слишком громоздкими и усложненными относительно тех вялых значений, которыми мы их наделяем, и той незначительной информации, которую мы из них вычитываем. Жизнь форм кипит в этих огромных пустотах смысла или огромных вместилищах слишком маленького смысла» (У. Эко).

Бессмыслица, «семантическая катастрофа» (А. Иконников) вызывали удручающее замешательство: города, казалось бы, – вершина цивилизации, превращаются в абсурд-бессмыслицу. В мировых городах нет больше внутренней жизни, остались только психические процессы. В то время как «мы ничего не знаем о действительной психологии основных архитектурных форм» (О. Шпенглер). Посему «современная архитектура и современные города становятся все более бесчеловечными» (К. Фремптон).

...Можно ли устоять в этой безапелляционно напирающей буче и не поддаться технократическим догмам и не потеряться в обезличивающем конгломерате нагромождения форм-идей? Для этого необходима весьма надежная защитная самоизоляция, которая предполагает исход в единственный оазис – личностный универсум духа. Далеко не каждый способен на такой подвиг. Константину Мельникову это удалось. Правда, в гордом фактически одиночестве.

«...Я один, но не одинок: укрытому от шума миллионного города открываются внутренние просторы человека... Нахожусь в своем доме, завоеванная им тишина сохраняет мне прозрачность до глубин далекого прошлого»³.

А также до высотищ далекого будущего. Ведь ему реально посчастливилось-удалось поднять сугубо архитектурные проблемы на высоту духовной рефлексии, синкретично ввести их в широкий контекст личностно-социальных переживаний, преисполняя их неповторимой поэтикой-символикой, соединяя былые события-каноны с гуманистической мечтой-провидением, а реальные необходимости – со свободотворчеством...

Как же и за что творческие начинания-достижения «одиночки» и через столетие востребованы как всеобщее достояние?

...Крестьянское происхождение с рождением привило Константину Мельникову культ семейного Дома, который стал его пожизненной религией. Суетливая Москва не особо манила его, но провиденческое призвание взяло свое и одарила счастливым «случаем»: посветив его в студенты художественного училища. Он учился настойчиво и последовательно живописи, архитектуре. Учился долго, все 12 межреволюционных лет, когда образованная публика была поглощена переменами в мирочувствовании, перипетиями духовной культуры, возможностью Красотой спасти мир.

Ищущая натура не могла остаться в стороне от животрепещущего расхождения-столкновения философских мнений и художественных идей, которые вихрем закручивались вокруг кантианского учения с его впечатляющей критикой

³ Здесь и далее курсивом мысли из книги К. Мельникова «Архитектура моей жизни» и отдельных выступлений мастера.

практического разума, с восторгом единящей нравственность и звездный небосклон. Из него следует, что существует невидимая, но неразрывная связь беспредельного Космоса и души человеческой, рождающая поэтически настроенные порывы разума-сердца.

А начинается звездное небо «с того места, которое я занимаю во внешнем чувственно воспринимаемом мире, и в необозримую даль расширяет связь, в которой я нахожусь, с мирами над мирами и системами систем в безграничном времени их периодического движения, их начала и продолжительности». Творчество включает и мечтательность, и суеверие, однако мораль создает достойный мир для каждого человека, но также и для всего мира в целом, поскольку мораль направлена на «бесконечную пользу». Отсюда «прекрасное есть символ нравственно доброго», а звездный строй для искателей Красоты – образец символической связи (И. Кант).

Молодой Мельников всецело проникся сими идеями-образами.

«Архитектура – это не целесообразность. Архитектура – это Красота, другой архитектуры нет и не может быть». «Красота есть высшая практическая польза».

Окрыление таковым прозрением окончательно убеждает-вдохновляет Я не прах, и пришел в жизнь не для того, чтобы неминуемо превратиться в прах, не эфемерная точка в космическом пространстве, но Личность и на мне держится мир творящий. Ибо сей закон «бесконечно возвышает мою ценность как мыслящего существа», обладающего свободой, независимостью от животной природы и даже от всего чувственно воспринимаемого мира...». Но есть гармоничная причастность к целому, к миру как в нас, так и вне нас. Правда, эти феноменальные свойства «не могут быть непосредственно показаны в обыденном опыте» (И. Кант).

На это способна разве что Музыка и Архитектура.

«Архитектурное искусство, как и все прочие искусства, служит только духовным сторонам жизни».

Архитектура отнюдь не застывшая музыка, она животрепещуща чувственна, ритмично-мелодична, задушевно-пафосна... Значит, подобает неустанно показывать-озвучивать Архитектуру...

«...Но не тех известных рецептов, и не тех несбыточных иллюзий, а тех редкостных ощущений того неведомого, но реального, мира наших чувств».

Потому как польза не меркантильна, и функция не материальна, но духовна. *«Бесценно то, что создано духом человека, не руками и даже не мозгом».*

...С горечью наблюдал он, как при становлении нового стиля логически-рациональные методы формообразования значительно потеснили эмоционально-художественные приемы в угоду инженерии, во имя технократического смысла.

В 1923 году Мельникова приняли в только что созданную АСНОВУ – Ассоциацию новых архитекторов, что вознамерилась строить в Москве «рациональные» здания – предтеча «большого сталинского стиля». Вскоре Мельников решительно свернул с «единственно верного» пути, выбрав свою стезю, которая подарила миру целую плеяду шедевров, увенчавших автора мировой славой. И триумфальной экспедицией в Париж, где он упивается свободой творчества, заслуженным пиететом-вознаграждением... Но все более беспокоила мечта о своем Доме, конечно же, на родине. И он вернулся.

Досужие языки разносили слух, что Мастер привез из Парижа невиданных размеров ванну, которая не влезала ни в одни «ворота». Посему и Дом строился якобы вокруг нее. Многие, понятно, принимали это за показное роскошество. Каково на это смотреть людям, изрядно испорченным «квартирным вопросом»! Да и хватит для него уже и той, непозволительной даже для самых высоких чинов роскоши – возможности построить свой Дом в самом центре Москвы...

Да, это была огромная ванна, напоминавшая тихий, недоступный стороннему глазу загородный пруд, чистое зеркало звездочета. Дом же он строил вокруг себя и в себе, подыскивая достойные образы-символы.

До сих пор наиболее употребляемая метафора очертания плана двухцилиндрового Дома – «восьмерка». А почему не безначальноконечная лента Мебуса, или математический знак бесконечности, или, наконец, не слияние двух клеток – зачатие новой жизни? Ведь идея зарождения-вечности Жизни развивается во всем пространственно-конструктив-

ном исполнении Дома, словно растение, тянущееся к свету. Оригинальность конструкций была вовсе не самоцелью. Важно, что получилось искомое: освобождение междуэтажных перекрытий от колонн, стропил и балок. Так что перекрытие – единая плита-мембрана, словно первоматерик в ювенильных водах той же ванны-океана. Ибо возжелал Демиург: **«Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так»** (Быт. 1:9).

Однако как знать, будь в достатке финансов, будь технологии нынешние, и стала бы мембрана прозрачной линзой спаренных цилиндров-телескопов. Ведь было дело – со временем потолок несколько провис, но Мельников, похоже, был тому только рад и запретил его выпрямлять: выгнутый в виде линзы потолок лучше улавливает свет, отражая его вниз. **«Да будет свет. И стал свет»** (Быт. 1:3).

Исходно Дом отказался от статуса убежища, приняв храмовую общительность с духовной ипостасью бытия. Отсюда его привечающая просветленность. Он встречает всякого с Кривоарбатского переулка торжественной симметричностью композиции. В центре – единственный вход, словно приглашающие уста. Через переносицу проема – два крупных прямоугольных окна, открыто смотрящие в глаза входящим. Основная плоскость фасада – огромное окно-экран, протянувшееся на всю высоту второго этажа. Открытая душа Дома, увенчанная выпуклой надписью, чья именно она.

«Не вопрекор и не в угоду укладу, составившему общую одинаковую жизнь для всех, я создал в центре Москвы, лично для себя, дом с надписью: “КОНСТАНТИН МЕЛЬНИКОВ АРХИТЕКТОР”, настойчиво оповещающий о высоком значении каждого из нас».

Видимо, единственное тогда – Мавзолей, понятно, не в счет – поименованное сооружение для сольной Жизни человека. Для Личности.

«Люблю личность, уважаю личность и услаждаю личность».

...Ныне уже, пожалуй, невозможно подсчитать, сколько могло быть окон у Дома. Называется не одна сотня. Большинство из них были замурованы как самобытный задел на будущее. И как провокатор нашего воображения. Кажется, стены есть только для того, дабы дать жизнь окнам. Царство

окон. Но и они нужны Ему также не обыкновенным атрибутом, но символом вселенского единения. Ибо каждое из них всевидящее Око.

Око в радостном покое
Отдыхает, как Луна;
Сердце ж алчет части равной
В тайне звезд и в тайне дна:
Пламенеет, и пророчит,
И за вечною чертой
Новый мир увидеть хочет
С искупленной Красотой.

Вячеслав Иванов

Окна перекликаются друг с другом необычными переплетами, которые меняются от яруса к ярусу. В гостиной с большим окном-экраном как бы случайно соседствует малое окошко. Изначально его и в помыслах не было. Но как-то Мастер заметил, что сквозь этот просвет, любопытствуя, специально изогнувшись из-за соседнего высокого здания, заглядывает единственная дневная звезда по имени Солнце. Сей нечаянности Мастер был благодарственно рад. А чтобы светило впредь не искало свое окно среди многих остальных, оно единственное обрело восьмиугольное очертание. Мастерская же удостоена созвездием, образующим сложный орнаментальный рисунок, заботливо обнимающим ее по всему периметру от пола до потолка и так, что коварной для художника тени не находится места.

При этой уникальной образности удивляешься, насколько Дом удобен-рационален, правда, особой, поэтической рациональностью. Он пронизан лучистой энергией, глубоко дышит ею, словно живое существо. И ведет вдохновенную беседу всеми фибрами своей самобытной души. О благодати общения – в гостиной. О торжестве Творчества – в мастерской. О волшебных сонных грезах – в спальне...

Посреди «бучи боевой и кипучей» Мастер не скрывал, что сон для него был неким волшебством, и непреходяще было убеждение, что цилиндрическая форма спальни наиболее благодатна для него. Вот только вразумительно не объяснял – почему? Ибо не только физиологические потребности удовлетворяет он...

Несмотря на насмешки коллег, Мастер создает грандиозный проект «Зеленого города». **«Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя дерево плодovitое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле»** (Быт. 1:11).

Обширное «райское» пространство для увеселений-отдыха. Концентрически, как у Атлантиды Платона, окольцовывает главный «храм» – «Институт изменений вида человека».

И все это великозодческое событие исключительно для сна. И прежде всего огромные цилиндрические спальные корпуса, что также образуют кольцо.

«Величие искусства Архитектуры не в высоте сооружений и не в ширине, и вообще не в каких-либо размерах, претворять нежные грезы в мощную действительность – это и есть профессия архитектора».

Однако любая профессия – это работа-деятельность со всеми и для всех, что определяет ее как дело общественное. Но Творчество...

«Творчество там, где можно сказать – ЭТО МОЕ»...

...Послушно-воинствующие апологеты пролеткультовской архитектуры, которые нашлись у Дома сразу и во множестве, такое не могли простить, преуспевая друг перед другом в унижающих упреках и клеймящих обвинениях. И все относительно «погони за эксцентрической конструкцией», создания «жилой буржуазной ячейки», пропаганды «враждебных классовых черт» и «игры “чистых” конструкций, идейно выхолощенной и тем самым толкающей к формалистски-эстетическому созерцанию»... В итоге по тем временам Мастер отделался вполне безобидным вердиктом: формалист, западник. А могли бы приписать и кантовский мистицизм, и декаданскую достоевщину, и реакционный фрейдизм с его снотолкованиями, и надменный персонализм, наконец, обозвать французским шпионом...

Спустя три года после явления Дома народу в 1932 году стали образовываться творческие союзы. Мастер, уже вовсе не жалуемый официозом, тем не менее не ринулся в союз архитекторов, где ребром ставился вопрос: с кем вы, мастера архитектуры? А это подразумевало: кто не с нами, тот против нас, всего народа. Так отказ Мастера был воспринят

вопиющим вызовом. Мечь и наказание последовали изощреннее средневекового аутодафе и вполне апробированные на тех, кому не страшны физические издевательства – забвение-лишение претворять свои замыслы. Последовали безденежье, примитивная нищета, но только не духа, который оставался истово молодым и для него деконструктивное новаторство пролетарского прагматизма представляло всего лишь разновидностью искони ветхой затеи испробовать алгеброй гармонию. ЭТО НЕ ЕГО.

В сердце своем Мастер признается, подобно Алексею Карамазову, что этот якобы млажавый и многообещающий «старец» при всем к нему уважении умер для него навсегда. И он, не задумываясь, кинулся из этой бесполезной «кельи». «Полная восторгом душа его жаждала свободы, места, широты. Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих сияющих звезд. С зенита до горизонта двоился еще неясный Млечный Путь. Свежая и тихая до неподвижности ночь облегла землю. Белые башни и золотые главы собора сверкали на яхонтовом небе... Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною...». После такого, сродни кантовскому откровению пришло вдохновляющее чувство, что он перестал быть «слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом...» (Ф. Достоевский «Братья Карамазовы»).

Правда, у Архитектора имелось свое «ристалище», свое уникальное «оружие» – Закон Красоты и Морали. И его исполнение-воплощение – Свой Дом, следующий по звездному пути ввысь. Туда он устремляется искони безупречно белыми башнями и лестницей, которая набирает вертикальную скорость по мере подъема, начавшись прямым маршем и переходя затем в винтовую. Он пронзает даже не этажи, которые было трудно сосчитать, но скорее уровни-степени восхождения, которое «завершается» верхней террасой, огражденной от суеты мирской глухим парапетом. Выход в открытый Космос и приглашение его к себе. Так звезды со Звездой говорят. В живом звуке Тишины, в неизъяснимой медитации-сне образов.

...Откуда у урожденного пролетария столь истинно аристократическая внешность, манеры, образ мыслей?! Мастер

понимал, что Он гений и принимал, выпестовывал его в себе и... тяготился им.

...Так гений радостно трепещет,
Свое величье познает,
Когда пред ним гремит и блещет
Иного гения полет...

Н. М. Языков «Гений»

Посему гениальность Мастера отнюдь не кичилась интеллектуальным превосходством, не давила харизмой вождей. Он – «гениус лока», гений сокровенного Места, Дома. Он предстатель и подзащитный Архитектуры.

«Она одна в грозной обнаженности, на глазах тысячелетий властно звучит каменным языком гения. Вы думаете, что я считаю себя гениальным? Нет, я – архитектор, и это то же самое».

Посему-то Он в истом предназначении своем одарен подбирать ключи в ее заповедные таинства.

«Чудное изящество излучает великое искусство архитектуры, золотыми ключами открывается дивная тайна его очарования».

Посему и Дом магическим образом был и многолюдным храмом, и келью отшельника, и многобойничной крепостью, державшей круговую оборону от пошлости-клеветы. Но тюрьмой, как надеялись некоторые, – никогда. Ведь Мастер не одинок, Он наедине со всеми. Со всеми своими переживаниями-мечтами. И пока он жив Он всегда находит внимательного собеседника в своем Доме, который не перестает подвигать вопрошания к себе-ему же: *«Почему же мои работы возбуждают столь сильное любопытство, граничащее с тревогой? Какая причина заставляет их резко выделяться среди других?..».*

Мастер вынужденно молчит, но глаголет Дом его, *«что соло личности гордо звучит в гуле и грохоте нестройных громад столицы и, будто суверенная единица, настраивает с волевой напряженностью ощущать пульс современности».* Он заставляет признаться в главном: *«Я знаю: я призван в текущем веке восстановить выродившееся чутье и вновь говорить полной речью архитектурного языка».* И так с благодарностью принять типичную участь «пророка в сво-

ем отечестве». Но и счастливую судьбу тоже – помазанника Красоты.

«Свержение, отлучение, забвение, но, может, все это и было дымом, ничего не значащим и совсем ненужным?...».

Покаяться, но в чем? Неужели «звездный час» позади? Здесь вновь начинает солировать Дом, раскрывая за этим едким дымом чистое звездное небо и звездное Время.

«Необщительная общительность» – знаменитый оксюморон (греч. *οχυτῶγον* – остроумно-глупое), созданный Кантом, вполне подходит и Мастеру. Хотя Он, пожалуй, согласился бы и со многими другими: Прославленный изгой. Без вины виноватый. Счастливый страдалец. Богатый бедняк. Обыкновенный гений. Поверженный победитель. Свободный узник. Кроткий бунтарь...

Все это относится и к Дому, что есть не отчаянный голос вопиющего в пустыне, но соло *полной речью и полной музыкой архитектурного языка*. В соответствии с ним в гостиную водрузилось пианино, приглашая всякого паломника Дома музицировать нотными звуками, голосом, жестами, взглядами, мыслями...

Дом высился, как каланча.
По тесной лестнице угольной
Несли рояль два силача,
Как колокол на колокольню.

.....

И вот в гостиной инструмент,
И город в свисте, шуме, гаме,
Как под водой на дне легенд,
Внизу остался под ногами.
Жилец шестого этажа

На землю посмотрел с балкона,
Как бы ее в руках держа
И ею властвуя законно.

Вернувшись внутрь, он заиграл
Не чью-нибудь чужую пьесу,
Но собственную мысль, хорал,
Гуденье мессы, шелест леса.

Раскат импровизаций нес
Ночь, пламя, гром пожарных бочек,
Бульвар под ливнем, стук колес,
Жизнь улиц, участь одиночек.

Б. Пастернак «Музыка»

...Ныне все в Доме уже вымерено вдоль-поперек, снизу-вверх и обратно, просмотрено-прощупано, описано-переписано все его содержимое... Но остается дивная Тайна его очарования, благоговейная тайна законотворческих для души звезд. Ее Мастер доверял лишь своей евангелической книге, хотя и в ней Тайна бережет себя.

«Творчество – тайна, и как бы красноречиво мы ее ни объясняли, она не объяснится и навсегда останется тайной, к нашему счастью».

И он ошастливленный верой, «все более сильным удивлением и благоговением» сажился в кресло своей мастерской и окунался в пророческий сон безбрежно-бездонной небесной «ванны».

«И я верю, что я не так уж далек от правды со своим проектом, что скоро к науке с техникой придут на помощь поэт и музыкант и завершат мою мечту построить СОН-ную СОНату».

Дом же любовно и трепетно накрывал их обоих волшебным без глухой подкладки, излишней мишуры, но инкрустированным созвездиями кровом-покрывалом.

Двое любовников Кривоарбатских.
Двойною башенкой слились в объятых.
Плащом покрытые ромбовидным.
Не реагируя на брань обидную.

А. Вознесенский

Неизъяснимым образом неугасимые шестиконечные звезды пленяют, вбирая мистику всех шести направлений нашего возможного движения, сливая в единый звездоморально-послушный поток четырехмерное пространство-время. Это и есть его бесконечно звездное Время, когда нет ни «прошлого», ни «будущего», разве что миг в объятиях вечности – Вочеловеченная Мгновечность.

P.S. Рядом с именем-фамилией творца-домочадца Дома незримо искон-пост читается: **Domus propria – domus optima** (Свой дом – самый лучший). ЭТО ЕГО.

Дом-Самость, или Музей будущего с душой пращуров

Так вечный смысл стремится в вечной
смене от воплощения к перевоплощению

Гёте «Фауст»

...Многочисленные письменные труды Карла Густава Юнга заслуженно стали хрестоматийными. Они весьма известны образованному и гуманитарному, и технарю. Такие рукописи, как говорится, не горят в огне времен и не пропадают в перипетиях мировоззренческих парадигм. Однако в тени известности остается наиболее сокровенным творение автора современной теории архетипов, создателя аналитической (глубинной) психологии. То, что родилось из необычного ощущения: *«только слов и бумаги мало – необходимо найти нечто более существенное... Иными словами, я должен был закрепить мою веру в камне»*⁴.

Так возникает весьма странная Башня, в которой воплощается *«не только глубокое удовлетворение, но и некий смысл»*. Благодаря этому мир одаривается уникальными скрижалями с откровением самоищущей Самости. Посему и ныне она, как достойный философский концепт, поэтический шедевр, остается неисчерпаемым в проникновении и трактовке. А также ключ к пониманию великого мыслителя, к истолкованию его творчества и воззрений на примере его самодомостроительства, его Дома – самобытного текста, основанного на интерпретации мифологем и архетипов.

...Предшествование. К сотворению уникального артефакта подвигает эмоциональный кризис, постигший Юнга в 1912 году вслед за принципиальным разрывом с Фрейдом, отлучением от психоаналитического сообщества, провалившегося

⁴ Здесь и далее курсивом «воспоминания, сновидения, размышления» К. Г. Юнга.

его книгу, обозвавшего автора мистиком, лишившего исследовательских ориентиров, духовной почвы под ногами, оставившего без друзей... Поворотный пункт в его исследовательском творчестве. Точка невозврата...

«Одиночество заключается вовсе не в том, что никого нет рядом, суть его в невозможности донести до других то, что тебе представляется важным, или отсутствию единомышленников... Знающий больше других всегда остается одиноким».

Знающий самого себя единит в себе-собой весь жизненный опыт предков, а значит и современников, и потомков в их неслышном трансисторическом общении. Меж тем *«общение приносит плоды именно там, где каждый помнит о своей индивидуальности, не идентифицируя себя с другими».*

Можно представить, как в таком вот одиночестве он не спеша выходит на берег, что давеча, после смерти матери в 1922 году, был приобретен у Цюрихского озера в местечке Боллинген. И идет, оглядываясь по сторонам, пока магическое врожденное чувство геоманта не подсказывает: здесь! Он останавливается, невольно поворачивается живым циркулем, словно устанавливал самособой исходную точку, и радиусами взора намечает границы вожделенного жилища – примитивного круглого, которое впоследствии поименовалось Башней (нем. – Turm).

Чувство космогонии вселяет трепет и вдохновляет одолеть внутренний хаос и состояться Демиургом, преисполненным ритуалом местоутверждения. Ибо он задумал не тайник отшельника, не убежище изгоя, но спасительный чертог Самости. Посему полагается не на позитивные знания, но на чувство нереальности происходящего, смутное наитие, грезы, знакомые каждому истому Творцу.

«Я строил как бы во сне. Только потом, взглянув на то, что получилось, я увидел некий образ, преисполненный смысла: символ душевной целостности».

Сопутствует его чувствам восточная мудрость, которую он проникновенно принимает. А она ненавязчиво гласит: разве что обыкновенные люди трудятся, не покладая рук. Мудрый же поступает не умствуя, ведь для него десяток тысячелетий – мгновение. А вещи не разрознены сами по себе, вмещают друг друга (Лао-цзы].

И образы наваливаются на взволнованного Юнга стихийной толпой, не поддающейся рациональному осознанию.

«Ценой огромных усилий я старался осмыслить каждый отдельный образ, каждый устойчивый элемент бессознательного, и настолько, насколько это удавалось, упорядочить их на каком-то рациональном основании, а главное, установить их связь с реальной жизнью».

Внеясность обволакивает туманом, в котором предстояло найти верный путь-решение. И он... успокаивается, расслабляется, словно медитируя. Так что выбор снисходит озарением: Мандала!

Такому прозрению, просветлению исстари учит Восток, отказывающийся от всяческих усилий: будь легким, вот и все, делай легко, и будешь прав (Лао-цзы).

«Когда я выяснил, что выражает мандала, я достиг своего конечного знания».

Особого знания – как высвечивание в «ночной душе» (Платон), как черпание из темноты архетипического кладезя. Потому как Мандала – культурный феномен, известный еще индоевропейской архаике.

Олицетворение материнского начала, собирающее даль дальнюю и одновременно распускающее ее на все четыре стороны. Пульсация сродни вселенской, где великий взрыв фактически безразмерной «первоточки» породил все разлетающееся безграничье, предполагающая столь же великий схлоп. Притом что и тот, и другой различает разве что темпоральная продолжительность, а она относительна, чувственна, духовна.

«Наша психическая структура повторяет структуру Вселенной и все происходящее в космосе, повторяет себя в бесконечно малом и единственном пространстве человеческой души».

Так что исходно-приходный мирозданческий Центр может быть везде-всегда по велению Демиурга, которое априори предопределено бессознательной образностью и потаенной универсальностью первоточки, магического семени бытия, мистического репера превращений.

«Когда Сокрытое Сокрытого пожелало раскрыть Себя, оно, прежде всего, создало первую точку для того, чтобы

она в бесконечности совершенно неизвестной прорвалась в состояние проявленного» (Каббала).

Искони формальная геометрия-идея мандалы – последовательно вписанные друг в друга круги и квадраты от исходной точки-центра – конгениально выражает наше концентрическое миропредставление. Круги символизируют естественную предустановленность события Места. Квадрат же несет печать рукотворной, волевой организации. Это и есть перманентная пульсация центробежного и центростремительного, экстравертивного и интровертивного движения-развития...

...1923 год. Рукотворная Мандала Юнга находит свою первоточку словно самоцель. С нее проходящий самобытную инициацию Демиург *«собирался строить не дом, а лишь какую-нибудь одноэтажную времянку, круглую, с очагом посередине»*. Ему виделось подобие африканской хижины, центр которой – обложенный камнями огонь, знаменующий средоточие всего, что происходит в доме.

В итоге – маленькая круглая «материнская башня», почти полностью сделанная из камня, с шестиугольной конической крышей. Она сосредоточена на себе самой и держит круговую оборону в невнятном хаосе окружения. Доступ туда один – через похожую на расщелину дверь, как у первобытной пещеры, утробы божественной Геи.

1927 год. От материнской точки Дом раздается в окружность с прибавкой двухэтажного крыла. Появляется больше окон на первом этаже, а также еще один более широкий вход. Открывается вовне и жилое пространство, обретя фойе, нижний кабинет и гостевую. Дом теперь обращается к озеру, приветливо вторя его лукоморью.

1931 год. *«Со временем чувство беспокойства вновь овладело мной. В таком виде постройка по-прежнему казалась мне слишком примитивной»*. На самом деле Мандала уже заразилась центростремительной, интровертивной интенцией. До того прямолинейное завершение крыла Дома округлилось, образовав полузамкнутый внутренний двор. Из башенки выросла Башня.

«В ней я хотел иметь некое пространство, принадлежащее только мне».

Дабы иметь возможность остаться наедине с собой и углубиться в медитацию, занятие йогой. Дом вновь сжимается до самостной комнаты-точки.

«В моей комнате я был один».

Ключ от «святая святых», словно нательный крест, всегда при нем.

«И никто не смел входить туда без моего разрешения».

Так потаенный закуток Дома оказывается «частью личности», его «я». Углубление в этот феномен позволяет ему прийти к центральному понятию его учения: к процессу индивидуации.

Несколько лет он, уподобившись пещерному архехудожнику, расписывает стены, изображая все, что уводило-возносило от обыденности и нынешности, уносило в безвременье. И так он отвоевал «волю своему воображению» в этом храме «духовного сосредоточения».

Выдающееся же место в заведомо камерной фресковой экспозиции занимают цветные фамильные гербы предков. Первоначально герб Юнгов возглавлял феникс – символ молодости и возрождения. Но затем дед домоврожденного автора Башни внес существенное изменение, отдавая предпочтение своим масонским святыням, будучи Великим мастером Швейцарской ложи «вольных каменщиков».

«Я привожу этот факт потому, что он исторически связан с моей жизнью и моими размышлениями».

1935 год. Увлекаемый желанием «заиметь клочок собственной земли, обладать каким-то естественным пространством под открытым небом», Юнг вновь придает Мандале центробежное движение. Башня уверенно направляется в округу двором и лоджией на берегу озера.

Во внутренний плотно прикрытый стенами двор ведут две большие двери на тяжелых петлях. Теперь, прежде чем попасть в Дом, нужно войти во двор, что создает атмосферу защищенности и приватности. А лоджия, четвертая пристройка, прикрывает обзор озера изнутри двора.

Может показаться, что перед нами затворнический изолятор. Но Мандала продолжает дышать теперь уже небесным простором, поскольку лоджия вбирает в себя небольшую гостиную с внушительным очагом и маленькими окнами.

ми, устремленными поверх стен на озеро и далее, далее... А попасть на это «небо» в сферу открытого уединения можно лишь по специальной приставной почти мифической ветхозаветной лестнице, что уперлась в «камень Иакова»...

...И только значительно позже Юнг обращает внимание на четырехлетний цикл пульсации его Мандалы. И, очевидно, весьма удовлетворяется этим знамением как подтверждением архетипического символизма числа «4», имманентно выказывая и круг, и квадрат с их незыблемой верностью Центру. Мистическая квадратура круга и круготура квадрата...

Проходит еще пять раз по четыре года. Дом-Мандала находит новый, точнее повторно-изначальный печальный импульс к развитию.

«После того как в 1955 году умерла моя жена, я ощутил некую внутреннюю потребность сделаться тем, кто я есть, стать самим собой».

А она вновь заставляет обратиться к переустройству Дома-Мандалы.

«Если перевести это на язык домостроительства – я неожиданно осознал, что срединная часть, такая маленькая и незаметная между двумя башнями, выражает меня самого, мое “я”».

И Мандала своеобразно отрывается от этой знаменательной временной точки и распускается многоцветьем ростков-побегов. Так пристраивается-вырастает еще один этаж. Прежде Юнг не решался на такое – *«это казалось мне непозволительной самонадеянностью»*. Но в подобном акте на самом деле *«проявилось превосходящее сознание своего эго, достигаемое лишь с возрастом»*.

С помощью своего сына Франца, архитектора, Дом удаляется весьма значимой-обширной верхней комнаты в три больших окна с панорамным обзором гор за озером. По земельной горизонтали Мандала пустилась в плавание по озеру причалом для лодок.

...Итак, Мандала, следуя за своим творцом, достигает своей зрелости. Из опасавшегося влияния извне затворника Дом со своими квазикрепостными башнями, brutальными грубыми стенами, дверями, окнами в решетках-ставнях,

внутренним и внешним двором со рвом приподнимает свое забрало. И предстает вполне эмпатично-приветливым, оптимистично-жизнеутверждающим, напоминая собрание близких-сродственных людей, дружную семью, мирное поселение.

Предтечей же тому, по обыкновению Юнга, становится сон.

«А вот мой сон о мандале... Поднявшись, мы увидели перед собой широкую слабо освещенную площадь, с множеством выходящих на нее улиц. Город имел радиальную структуру, с площадью в центре. Посреди площади находился круглый пруд, а в центре пруда – маленький остров. На нем росло единственное дерево...».

Ощущение от того благодатное – «некой окончательности, завершенности... Сон объяснил мне, что самодостаточность, самость – архетипический смысл и принцип определения себя в этом мире».

Мандала обнаруживается «символом душевной целостности», источником «целительной силы» еще и потому, что обладает анимирующей магией гармонии человека с природными стихиями.

«Порой я ощущаю, будто вбираю в себя пространство и окружающие меня предметы. Я живу в каждом дереве, в плеске волн, в облаках, в животных, которые приходят и уходят, – в каждом существе».

Вот почему в Башне нет ничего, что не увлекалось бы током изменений-произрастаний, с чем бы не чувствовались живительная связь и всевовлеченность в общее бытие-событийность.

«По сути это целостность самости..., а с мифологической точки зрения – возникновение в человеке божественного начала...».

Поэтому Башня не столбит, но выказывается порогом в безмежный мир бессознательного. А в нем царствует-волит сопричастность с естеством и простотой в «in modest harmony with nature» (с англ. – в хрупкой гармонии с природой). Так и в Башне исходно правит благодатный отказ от электричества во имя естественного огня-тепла печи и старинных свечных ламп, от водопровода в пользу колодезной

«живой воды», от телефона, наглого убийцы тишины, от асфальта, вытравляющего землю.

Земля. Камень. Естественные горы-скалы и восставшие по воле человека камни-мегалиты, башни, выдающиеся в ландшафте, – архаические ориентиры, местоуказующие доминанты, точки отсчета-схода всех возможных движений в экзистенциальном пространстве и «оси мира». Они Центры собирания вокруг себя бытия племени-общины, целой культуры подобно античному «пупу» – Омфалу.

Так и Башня, выросшая из Земли и корни пустившая в глубь космогонического мифа, сразу обрела неписанный статус «материнского лона», места зрелости, где даровалась способность обратиться одновременно в то, чем был-есть-будет ее Демиург. Она преисполняет магическим ощущением перерождения, питая предчувствие индивидуации, утверждения в самом себе. И это свербило уже в детских воспоминаниях-порталах бессознательного. А памяти вновь ярко представал вросший в землю большой камень.

«Мой камень... Я сижу на этом камне, я на нем, а он подо мною».

Отсюда и вопрошание о сути «я» с невозможностью дать ясный ответ: «я – сидящий на камне или я – камень, на котором некто сидит?».

Волнует «ощущение странной и чарующей темноты, возникающей в сознании», и свободы от сомнений: «этот камень тайным образом связан со мной». Интимное, доверительное, вдохновляющее общение с Камнем служит страждущему «каменщику» лечебным отдохновением, для Камня же – преобразующим одушевлением. Эта взаимная увлеченность сохраняется навсегда.

«В 1950 году я решил запечатлеть в каком-нибудь памятнике из камня все, что значила для меня Башня».

И непредсказуемая судьба награждает его сим Камнем. Когда ему потребовались камни для постройки стены вокруг сада, он заказывает их на каменоломне, четко расписав их очертания и размеры. Однако по ошибке камнетесов ему доставляют внушительный монолитный куб.

Что это не ошибка и даже не случайность, но дар, предтеча новой стадии идентификации, Юнг прочувствует сразу, отказавшись возвращать его.

«Нет, этот камень – мой, пусть он останется у меня!».

Вскоре его же рукой оставляется надпись со словами одного из средневековых алхимиков:

Вот лежит камень, он невзрачен,
Цена его до смешного мала.
Но мудрый ценит то,
Чем пренебрегают глупцы.

Отринутое влечет-пленяет, удивляет-покоряет именно своей неприспособляемостью к типовому-типичному, обычно-доступному, и зарядом уникальной энигматичной экзегетики.

«Камень, который отвергли строители, сделался главою угла: это – от Господа, и есть дивно в очах наших» (Псалом 118:22).

Так Юнг *«позволил камню говорить самому за себя»*. И его не в забор преткновения, но спудом сомнений на разум-сердце свое. На стороне, обращенной к озеру, камень *«признается»* на опять-таки алхимической латыни:

Одинок я в сиротстве своем,
но найти меня можно всюду.
Я един, но сам себе противопоставлен.
По горам и лесам странствую я,
но скрыт я во человеках.
Для каждого я смертен,
но не подвластен времени, переменам.

Некогда петроглифы, концентрирующие в себе-собой изначально вполне прагматические знания-опыт фиксации маршрутов и знаменательных мест, стали символом не только нахождения нужного Пути, но и духовного сродства людей в пространственно-временном континууме. Именно в этом смысле Камень – «праматерь мира». Поэтому самое раннее, самое элементарное из всех искусств обращается к нему (О. Шпенглер). Из этой же доисторической штольни и философский Камень, *lapis philosophorum*, ставший признаком-символом Самости человека-человечества.

...Последний Каменный ритуал Юнг совершает с тремя плитами, установленными во дворе Башни и запечатлевшими имена его предков.

«Высекая имена на каменных плитах, я чувствовал, что между мной и моими предками существует какая-то роковая связь».

И это всегдашнее ощущение зависимости от них, *«от того, что они не дорешили, от вопросов, на которые они не ответили».* И в том была ответственная убежденность в необходимости *«продолжить то, что они не исполнили»...*

Огонь. Его символическая дуалистичность общеизвестна, поскольку архетипична и обнаруживает противоположную семантику – Добро-Зло.

«Огонь – это сияние Рая и пекло Преисподней, ласка и пытка. Это кухонный очаг и апокалипсис. Он фиксирует Место доверительного откровения, когда душа страждущая поделится и своими воспоминаниями, и своими горестями. Огонь, заключенный в очаг, впервые побудил человека к мечте, стал символом покоя...»⁵.

Посему с раннего детства завораживает, приглашая к трепетной игре воображения и полету мечтаний.

«...Я любил играть с огнем».

А затем память неотменно отсылает Юнга в первовремя, к Дому родителей, к каменной стене его сада. В ней между камнями мальчишка Карл Густав некогда облюбовал стихийное углубление, где вместе с другими сверстниками часто разводил маленький костер, уподобляясь языческим устроителям капищ.

«Однако никто, кроме меня, не имел права поддерживать этот огонь... Только мой огонь был живым и священным».

Отсюда исходная мысль соорудить не дом, соответствующий его достатку, возможностям и представлениям об уюте-комфорте, но некую круглую времянку. Ему *«видалось что-то вроде африканской хижины, в центре которой, обложенный камнями, горит огонь, и это – семейный очаг, средоточие всего, что происходит в доме»...*

Вода. *«С самого начала я мечтал иметь дом, построенный у воды».*

⁵ Здесь и далее жирным мнения Г. Башляра.

Вода удивляет воистину волшебными качествами-способностями. Про-из-водный от нее – неисчерпаемый кладезь образов, также предельно разнозначных. Она одаривает и губит. Орошает и топит. Крестит и омывает...

Ныне доказывают, что Вода помнит, разборчиво реагирует на доброту-ненависть, на наши чувства-переживания, способствуя гармонии и успокоению. Словом, живет как органическая экзистенция – «живая» и «мертвая». Как естественно-метафизический канал пространственно-временных сообщений. В том числе и с потусторонним миром, куда переправлялись умершие стараниями Харона.

«Капли могущественной воды достаточно и для того, чтобы сотворить мир... Для грез о могуществе нужно не более капли, воображаемой вглубь».

Именно в сей глубине-омуте и обитает тайна бездонная. И нет лучшего средства защитить свое хрупкое и столь зыбкое ощущение индивидуальности, чем обладание некой тайной, которую желательно-необходимо сохранить.

«Человек должен осознавать, что живет в мире, полном тайн, что всегда остаются вещи, которые не поддаются объяснению, что его еще ждут неожиданности... Жизнь без них была бы неполной, скудной».

Воздух. Он вольготен, независим от Места и неуловим-виртуален. Ему подвластны любые воплощения: дуновение, ветерок, ветер, буря, ураган, шторм и полный штиль. Динамичные-импульсивные. Ветер – неумная импровизация, поиск, наполняющий паруса творчества и порыв, раздувающий Огонь страстей.

«Ветер возбуждается и впадает в уныние. Он то кричит, то сетует. От неистовства он переходит к подавленности...».

Он предначален и всегда как бы везде-ни-где, между-посреди, как ветхозаветный Дух Святой, что вольготно носился между Небом и Землей до Творения. И после тоже, обдувая-обветривая всякую Башню, увлекая ее в круговращения бытия, в трепет и спокойствие безпотолочной выси.

С виду неподвижная Башня в мистике воздухотока подтверждает, что все течет-протекает, все веет-дышит, изме-

няясь. Почему и нет там истины в конечной инстанции, брутальной каменной стены для воображения и поиска. Но есть без-предельный взлет сомнений-откровений.

«Я ни в чем не уверен. У меня нет определенных убеждений в отношении чего бы то ни было, нет и абсолютной уверенности. Я знаю только, что я родился и что существую, что меня несет этот поток...».

«Во мне нет ничего определенного, как в младенце, еще не достигшем детства. Я как будто несусь, но не знаю, куда и где останавлиюсь» («Дао дэ Цзин»).

Старо и одновременно ново-свежо, как мир. Ведь *«личность – это дао».*

Живительный поток времени есть поток мыслей-образов... и наоборот. В протоках человеческого бытия-сознания и образовался неисчерпаемо плодородный «осадок коллективного бессознательного», с незабываемыми всплесками-озарениями.

«Никогда не забуду это мгновение – будто короткая вспышка необыкновенно ярко высветила особое свойство времени, некую “вечность”, возможную лишь в детстве».

Водоворот времен. Детство в предках и предки в детстве. Мандала времен с неизъяснимым психолептическим действием.

«Мысли увлекают меня далеко назад, в глубь веков, или наоборот – в столь же отдаленное будущее».

И, принимая в себе магию ограниченной бесконечности, мы обретаем дар обнаружения и обретения бесконечности.

«И только так!».

И только так стихийность Самости становится ее же стихией.

...И все стихии

Так в нем соединились, что

Могли б сказать: «Он человеком был!».

У. Шекспир «Юлий Цезарь»

«В моей Башне в Боллингене я чувствую себя так, словно живу одновременно во множестве столетий. Башня переживает меня, хотя все в ней указывает на времена давно прошедшие».

В этом исполнилось имманентное одоление боязни проникновения Вечности в обыденную жизнь и признание ее блаженным ощущением собственного вневременного исполнения, *«когда настоящее, прошлое и будущее сливаются воедино»*. Дабы проникнуться созидательной любовью к пращурам, будучи их наследниками и преумножателями их миропреобразующего опыта-достояния.

«В Башне нет ничего, что могло бы не понравиться душам предков». Ведь это нужно не столько им, сколько еще живущим и неудовлетворенным состоянием Самости, скудостью воображения и палитры образов.

«Наши души, как и тела, состоят из тех же элементов, что тела и души наших предков. Чем менее мы понимаем смысл существования наших отцов и прадедов, тем менее мы понимаем самих себя».

Последствие. Ныне боллингенское владение Юнга принадлежит его потомкам и закрыто для доступа сторонних посетителей.

Окончательный схлоп юнгианской Мандалы?

Напротив, она дала-пускает побеги в еще более обширную ойкумену-времена.

Могильный камень творца Дома-Мандалы на фамильном кладбище в Кюснахте отмечен тем же признанием, что Юнг впервые выбил на камне, нашедшем свое место непосредственно внутри входа в первоначальную Башню: *«VOCATOS ATQUE NON VOCATUS DEUS ADERIT»* (Зван или нет, Бог является).

И можно сказать: Бог возвращается. (Такое может звучать вполне оптимистично после знаменитого ницшеанского: «Бог умер!».) Чем не признание мгновечной мандальной индивидуации?..

Нынешняя реабилитация мифа – его отзыв-зов. То есть усмотрение того, что наша повседневность обусловлена не только сознанием, что *«без нашего ведома в нас живет бессознательное»*. И юнгианский Дом споспешествует, чтобы это происходило все-таки с нашего ведома и иррациональный, наитивный, интуитивный путь миропознания не изго-

нялся как еретик отшлифованным доказательствами разумом.

«Абсолютная власть разума то же самое, что политический абсолютизм: она уничтожает личность».

Это есть наиболее яркая «критика чистого разума» (И. Кант). Упование не столько на «здравый смысл», сколько на воображение. А оно **«без конца возвращается к исходным темам, неустанно воспроизводит работу примитивной души, вопреки достижениям высокоразвитой мысли и выводам научных экспериментов».**

«Жаль, но мифологическая сторона человеческой природы сегодня изрядно упростилась. Человек более не порождает сюжеты...».

Реабилитируются даже сновидения.

«Отсюда очень важно, обращаясь к снам, освободиться от предвзятых, доктринерских установок».

При этом бессмысленна, бесплодна, вредна «одинаковость» их толкований, свидетельствующая, что в них *«есть некоторая предубежденность».*

Отрываясь духовными корнями от сбывшегося, от естества, мы убиваем его в нас. Рвем живительную нить преемственности.

«Но именно утрата этой преемственности, этой опоры, эта неукорененность нашей культуры и есть ее так называемая “болезнь”».

Критическая болезнь модернистской массовой культуры.

«Рационализм и доктринерство – это болезни нашего времени, предполагается, что им известны ответы на все вопросы».

Поступательное, прогрессирующее, развивающее без душевного переживания – абстрактные понятия. Как и возможности, которые проявляются из наличности к вероятному. То есть они отвечают-следуют синергетическому принципу синтеза бытия-становления. По сути единой Мандалы, вбирающей все Мандалы Самостей, объясняя состояние-порывы душ человековечества.

«В них я видел себя, то есть все мое существо в его становлении».

Так в физически безопорном потоке сна-яви, несмотря на всю неуверенность, удастся чувствовать *«некую прочность и последовательность»* в своем самостоянии и житии-бытии.

Самый что ни на есть алхимический и восточный мистицизм, из-за которого Юнг некогда был изгнан из психоаналитического сообщества, а ныне его берет на вооружение самая точная наука.

Последний прижизненный сон восьмидесятишестилетнего Юнга – большой белый камень с ясно-явной надписью: *«Это будет знак тебе о целостности и единственности»*.

Бытие-время объемно, импульсивно, как голографическая Мандала. Мандала в метаисторическом контексте после сжатия сциентистскими парадигмами прогресса и линейного времени распускается концепциями чувственности, переживания, «вечного возвращения» (Ф. Ницше) в истый Дом человековеческого преисполнения. Всякая периодичность, всякий ритм, всякий метр предполагают возвращение. Что отнюдь не означает калечного повторения – презумпция жизнотворного и культуротворческого разнообразия, приращения Вселенского смысла.

Следовательно, Самость Юнга не простилась с Домом, который был-будет восстоять-жить, причем, не сторожем архивных экспонатов – *«руками не трогать!»*, но ориентиром будущего, виртуальным музеем предвидимых невоплощенностей – *«ищите и найдете!»*. Ведь с гносеологической высоты этой «вневременной» Башни наяву виден человек существом не одномерным, но двойственным – «человеком дня» или (научного) разума и человеком «ночи» или (не научного) воображения. Иначе говоря, современный человек науки – существо испытывшее, «ставший человек», хотя одновременно это и человек «становящийся», человек становления.

В свою очередь это означает непременную пульсацию воображения: удивляться не привыкая, разочаровываться без отчаяния. И тем весьма довольствоваться собой, исполнением индивидуации, вовлеченной в небессмысленный поток вечного «воплощенья к перевоплощенью».

...«Я удивлен, я разочарован и я доволен собой»...

Между Небом и Землей в мире живых превращений, или Сквозь-вместе с Цветами Сливы

Осенний сверчок
живет уже в доме.
Видимо, год
кончается скоро...

«Песни царства Тан»

Паломник в современном Китае может чуть ли не повсеместно повстречать жилище тысячелетней давности. Речь идет не столько о предельно ветхих сооружениях, сколько о традиции домостроения, которая пережила, а точнее, соединила многие века-поколения. Традиционный китайский Дом со всеми его региональными разновидностями имеет историю, соизмеримую с возрастом первых держав-империй Поднебесной и преисполненную в этой связи уникального смысла-символа. Он становится самобытной национальной идеей, закреплённой в духовной культуре, выдающихся учениях.

Поскольку феодальные распри, угроза развала огромного-влиятельного Дома-империи подвигли-дождались-таки Учителя, проповедника-поборника соблюдения общепринятых норм, следования великому-незыблемому Ли, только и способного-призванного привести сообщество в гармонию, а человека – к Человеку.

Его нестаряющее имя – Конфуций (кит. – Кун-цзы), или просто Цзы – «Учитель». А житие-бытие сродни красивому мифу-легенде.

Предание гласит, что он родился в 551 г. до рождения Христова от весьма престарелого отца, в третьем браке с совсем молодой девушкой, согласившейся на то по непреклонности воли отца своего. Ибо до того не было у старца наследника – беда-горе для тогдашнего мужа неутешное.

Видения, которые посещали невесту после свадьбы, предвещали появление великого человека. Да и само явление миру необычного и долгожданного младенца окутано чудесными обстоятельствами. Ведь родился он ненароком, в пещере глинистого холма, который по верованиям местных жителей обладал магической силой. Кстати, Вифлеемская пещера не отличалась ничем подобным.

После скорой смерти отца, молодая мать посвятила всю себя воспитанию-привитию любимого сына, словно сливового черенка, к чистоте-благородству личной жизни. А он с раннего детства вызревал в Учителя, блистая выдающимися способностями предсказателя: «Он не имел учителей, но лишь учеников»...

Его Житие-Учительство напоминает и новозаветный сюжет, и перекликается с темой былинных «каликов переходящих», пророков, домолишенных в «своем отечестве». Ибо исполнял он свою бессмертную миссию, будучи одиноким странником, переходящим-несущим свое Слово с места на место.

«Не беспокойся о том, что не занимаешь высокого поста. Беспокойся о том, хорошо ли служишь на том месте, где находишься»⁶.

А где проходил он, там оставался невидимый след Учения, «Домашних поучений Конфуция» («Кун-цзы цзяюй»). Поэтому вовсе не парадоксально, что сам Учитель-странник считал свою привязанность к домашнему очагу и семейному уюту недостойным настоящего мудреца и благородного мужа (цзюнь цзы).

Хотя «Почтения», напротив, «привязывали» человека к Дому, будь то односемейный, общинный или всенародный Дом. В поисках путей к восстановлению и упрочению политической стабильности и социального порядка в стране Конфуций приходит к убежденности, что только возрождение старинного уклада домостроения будет благом и успехом.

«Я люблю старину».

Так воцаряется учение о сяо – сыновней почтительности на основе древнего культа предков, обязывающего всячески

⁶ Здесь и далее жирным изречения Конфуция.

служить родителям-пращурам, что и нашло отражение в конфуцианском каноне.

«Среди трех тысяч преступлений, подлежащих разным видам [смертной] казни, нет большего, чем непочитание родителей».

Исключительным благом же, подлежащим всяческому поощрению навсегда есть любовь-добродетель благородного человека – *Жэнь*, что обыкновенно переводится как «гуманность», или «человеколюбие». А по сути, «любовь к людям», которая заслуживает своей сакральной ритуалики.

«Янь Юань спросил о том, что такое человечность. Учитель ответил: “Быть человеческим – значит победить себя и обратиться к ритуалу. Если однажды победишь себя и обратишься к ритуалу, все в Поднебесной признают, что ты человек”. “– Не смотри на то, что чуждо ритуалу... Не делай ничего, что чуждо ритуалу”» («Луньюй»).

Таким только путем-образом реально-символически Человек соединяет Землю-Небо, ведь в конфуцианском мироздании человек исполняется живя между ними и составляя вместе с ними божественную триаду. Посему человеческий Дом-житие в ней имеет статус духовной скрепы.

Дом – дослуживается до воплощения ритуала, ритуал – до основания бытия Дома. И самого бедного-неказистого и роскошного-императорского. В силу этого и государственная деспотия принималась как должная, ведь император – отец-предок всея Поднебесной и исключительно он олицетворяет покой-порядок в общеитайском Доме. Во благо его воля столичного властелина, подобно мистическому злему дракону, поглощала крепких мужчин безнасытно и несчетным числом собирала их куда ей было угодно. Но прежде, понятно, на военные походы и на стройку Великой стены, откуда возвращались домой далеко не все и спустя мучительно долгий непредсказуемый срок.

«С самых древних времен мы вздыхаем о посланных в путь...» (Тао Юаньмин).

...С родимым расставшись домом,
Душа моя содрогнулась,
перед путем безвестным.

Цюй Юань

Так что родной Дом служил неким «порталом» судьбы разобщенных семей и источником горестной тоски. Наконец, символом роковой разлуки-несчастья и уже нечаянного счастья встречи-возвращения.

Не случайно поэтому издревле эти события означали для китайца слишком много, чтобы не стать сокровенным ритуалом. Причем более значимым, эмоционально ярким, глубоко переживаемым, нежели календарные обряды-праздники. В силу своей непредсказуемости, судьбоносной значимости, да и просто редкости, поскольку разлуку-встречу могли разделять годы-десятилетия.

Милый супруг мой, прошу об одном:
О, возвратись же скорей в наш дом!
Мы думу о них лишь, мы думу о них бережем!
В какую луну мы вернемся в родимый наш дом?

«Ши цзин»

Ну когда же смогу я
Снова в дом мой вернуться!

.....

И ни днем и ни ночью
Не забыть мне об этом!

Тао Юаньмин

Правда, доходило до того, что мужчина, купец-воин, вынужденно находящийся в частой-длительной отлучке-разлуке, мог иметь второй-отдаленный Дом, а с ним и вторую жену. Не законную, скажем по-нашему, гражданскую, не скрываемую. Интересно, отличались ли встречи-проводы «двоеженца»?..

Как бы там ни было, всякое отлучение от Дома, в конце концов, воспринимается как печальная ошибка, заблуждение на путях судьбы, подвигающее к итоговому прозрению.

«Я вижу ясно, что дорога заблуждений зашла еще недалеко, и, наконец, прозрел, что я сегодня прав и был не прав вчера...

... И вот я завижу родной мой кров. Как рад я!.. Бегом бы бежать! Служанки и слуги с приветом встречают, а милые детки ждут у дверей» (Тао Юаньмин).

Наконец, весьма естественно, что при разлуке-встрече Дом озаряется весьма буйно-продолжительной, хотя и не прописанной в канонах, но вполне ритуальной «дружеской попойкой».

Стоит на столе вино, моя чарка уже полна.
Тянусь за кувшином и чаркой и снова себе наливаю.
Смотрю пред собою на ветви деревьев,
Что там во дворе, и довольством полно лицо.

Тао Юаньмин

Вино если и не сакрализуется, то принимается за элекси́р-амброзию вдохновения для поэтической преемственности воспевания Дома.

Настоянным вином вернусь я в этот дом,
Откормленным гусем, жирующим в полях!
А ну-ка, все за стол! Где курица с вином?
Все бросятся ко мне, и радость в их речах,
Не только пьем, поем, услада для души,
Наш танец горячей лучей в закатный час...

Ли Бо

Ведь было такое: уйдя в добровольное отшельничество, соорудил себе Ли Бо на склоне горы среди даоских монастырей хижину, назвав ее «Кабинет в персиковых цветах». В ней дружеское винопитие он чередовал с погружением в мудрость Лао-цзы. А на возмущение сановитого тестя: почему не Конфуций, он промолчал. Ведь всякий родственник ему по духу поэт носил в себе неразъемную и весьма эмпатичную «Святую троицу» Китая – даосизм, конфуцианство, чан-буддизм.

«Я полагаю, что Будда – это сила, на которую можно положиться... Отдаю пыль суеты мирской Небу и Земле и, конечно же, сначала все для государства, а потом лишь для дома» (Ван Вэй).

Так что поэт носил в себе-собой, можно сказать, всю жизнь без остатка, что подтверждает и родная ему поговорка: «Китаец рождается как даос, живет как конфуцианец, а умирает как буддист».

А еще создается впечатление что святая китайская «Троица» – Лао-цзы Конфуций-Будда – самобытное воплощение индуистского «Тримурти» – Шива (низвергатель-переменщик), Вишну (создатель-утвердитель), – Брахма, под всепримирающим началом-принципом которого Вселенский Дом был-есть-будет.

Посему интерес случайного простачка, отчего поэт ведет такую празднохмельную жизнь, Ли Бо с серьезной улыбкой прояснил, что лишь в естественности чистой природы способен в полной мере раскрыть себя и исполнить свое предназначение. В том числе и на поле, что он вспахал и заботливо культивировал рядом со своим «Кабинетом», словно придомовой привольный двор.

Сообща они видятся «телом» не столько настоящей наличности, сколько видимо-осязаемой памятью о почтенных предках, расставание с которыми мучило душу тягостно-нещадно и требовало «вечного возвращения».

Вернись, душа, к родимому порогу!
.....
Вернись, душа, под сень родной дубравы.
.....
К источнику родному возвратись.
.....
В родимых струях охладись!
.....
Вернись, душа, к цветам родной земли.
Душа, вернись, к полям, в родной покой!
.....
Душа, приди, приди обратно
В жилище прежнее свое...

Цюй Юань

Ведь в нем, родном ДOME-покое все знакомо-радостно с детства, ласкает глаз-душу всякая, на чужой взгляд, мелочь.

...Просторны залы и покои,
Балконы пестрые в тени.
И в девять ярусов беседки
На горы дальние глядят.
Резных дверей золотые сетки
Распахнутыми ждут тебя.
Сад обежав, поток вернулся, –
Тебе не страшен летний зной.

Нарцисс под ветром востепенулся.
Благоуханною волной
Сквозь залы ветер пролетает,
Где ярко-красны потолки,
Где стены солнце отражают,
И золотые мотыльки
Вкруг над циновками порхают.
Где многоцветная одежда
Висит на яшмовых крюках,
И жемчуга росой нежной
Горят, как звезды в небесах.
За стенкой – из циновок ложе,
Шелк полога – прозрачней струй.
В хитросплетеньях всевозможных
Шнуры на нем.
Как поцелуй
Любимых губ, ласкает тело
Благоуханный жар свечей.
О, сколько ж редкостных вещей
Вновь обрести тебя хотели б!

Цюй Юань

В таком Доме все живет-дышит, движется-изменяется, не сходя с места, не теряя покоя.

«Покой в покое не есть истинный покой, только тогда, когда покой в движении, только тогда и может появиться духовный ритм, который наполняет собой небеса и землю» (Хун Цзычен).

На этом настаивает уже даосская традиция, которая исходит не из внешне-материального богатства, но из трепетности души-духа, чтобы Дом даровал благодать общения-единения с Естественным.

...И чтобы дом твой дарил тебе мир и покой,
а самые обыденные дела приносили радость.
Чтобы соседние земли были обращены
лицом друг к другу,
и можно бы было слушать друг у друга
лай собак и пение петухов.
Чтобы люди умирали, дожив до преклонных лет,
и уходили отсюда с тем, чтобы уже не возвратиться.

Цюй Юань

...Вскоре заболел Цзы-Лай и смерть подступила к нему. Его жена и дети стояли вокруг него и громко рыдали. Цзы-

Ли отправился проститься с ним и, войдя в его Дом, крикнул тем, кто оплакивал умирающего: «Эй вы, прочь с дороги! Не мешайте свершаться переменам!»...

Отсюда столь поэтична китайская культура и символичен Дом, поскольку они зиждутся на непрестанной изменчивости-текучести.

Поэтика переходов априори преисполнена эмоциональной перманентностью, многолико-неуловимой трансцендентностью. Потому как в ней всегда есть некая доза неизвестности, всегда предсказано-и-вдруг. А с ним изобилие вариаций-возможностей творения-интерпретации, пульсация смыслов-образов. В итоге – радость-удовлетворение верой-убежденностью, что мир-бытие – безначальноконечный Путь-Дао, само движение-изменение по которому есть высшее благо-наслаждение. Нет ничего сугубо нового, а старое не стареет.

Есть исчезновение, но во имя возникновения. Все видится естественно-закономерным, но не перестает удивлять. Причем повсеместно-временно, и нет нужды искать новых впечатлений в неведомом «далеке».

«Чтобы познать мир, не обязательно далеко ходить от Дома» (Лао-цзы).

В постоянном непостоянстве, изменение-процесс, происходящий каждое мгновение, везде-всегда, что дискредитирует всякое препятствие-ограничение, разрывает всякую привязанность. Поэтому даосский Дом-мыслитель ищет не богатства-торжества идей, не блеска-яркости претворения мысли-замысла, не строгости их логики-аргументации, но «простого-спокойного» довольства, что и они есть, не мешая мистическому созерцанию великой простоты Природы.

Истинная реальность, чистота природы и есть истинный Будда.

Ложные взгляды и три зла и есть истинный демон.

Для людей ложных взглядов – демон и есть их дом.

Для людей правильных взглядов – Будду можно назвать домом.

Ван Вэй

Творец такого Дома – скорее, садовник: не возводит, но растит, обильно орошая утонченное произрастание живой влагой немеркнущих традиций, вольготно пропи-

тывающих века-поколения как устои всевременного Дома. Для него Природа-родительница, Традиции-родоначальницы. И, кажется, с этим ничего не поспоришь-поделаешь.

«Ничего нельзя сделать в мире, но самое важное, все можно сделать с собой» (Лао-цзы).

«Поэтому если обрел себя, то и под высоким деревом, и внутри пустой пещеры сумеешь покоить свое природное чувство. Если же не обрел себя, то будь хоть вся Поднебесная твоим домом, а тьма народа слугами и прислужницами, все будет недостаточно» («Хуайнаньцзы»).

Это – Самадхи, буддийский сверхъестественный покой в движении, не сходя с места, то есть обретенный не в борьбе с внешними преградами, а исключительно внутренними изменениями. А они входят в живительный резонанс с непрерывными изменениями в Природе. В текучести всего-вся, формы-смысла, пространства-времени...

...Знаменательная экзотика – стены китайского Дома. Создается впечатление, что все их предназначение – образовывать-создать, иметь-содержать в благопристойности обилие разнообразных окон-проемов. Их неповторимая ажурность, пластическая причудливость никак не выдает в них признаки рационального разума, но исключительно тонкого чувствования, прямо-таки природной импровизации Перетекания извне-внутри-изнутри-вовне.

...У друга в доме
Ширма слюдяная
Обращена к цветам,
К деревьям сада –
В нее вошла природа,
Как живая.
И оттого
Рисунка ей не надо.

Цюй Юань

На северо-западе
высится дом большой.
Он кровлей своей
с проплывающим облаком вровень.
Цветами узоров
в нем окна оплетены...

«Девятнадцать древних стихотворений»

«Цветастые узоры» исконно-самозабвенно воспеваются китайской поэзией.

Кивают мне цветы со склонов горных –
Настало время чаше быть полней.
Так выпью у окна в закатном свете,
Ко мне заглянет иволга опять.
Хмельной гуляка и весенний ветер –
Друг другу мы окажемся под стать.

Ли Бо

«Умело я буду смотреть на природу в ее мириадах форм, как каждая тварь там найдет себе время и место, а чувством, всем сердцем своим пойму, где мой жизненный путь и как он прервется в конце» (Тао Юаньмин).

*Хоть тесновато в хижине убогой,
Но там вдали, за крошечным окном
Мне холмик кажется уже горой высокой
И морем – обмелевший водоем.
Прислушаюсь – какая тишина!
Прохлада,
Тучи
И луна⁷.*

И крошечно-пронзительное окно, подобно зеркалу, возвращает взор-мысль из блуждания-разлуки к родному порогу.

Где в Поднебесной нет травы душистой?
Зачем же думать о родных местах?
Увы! Печаль все омрачает в мире,
Кто может чувства наши объяснить?

Цюй Юань

Родные Дом-места олицетворяют и великие горы-скалы, и могучие деревья-леса, и глубокие моря-водоемы, и... еле приметный сверчок.

Так неприметен он и мал,
Почти невидимый сверчок,
Но трогает сердца людей
Его печальный голосок.

⁷ Здесь и далее курсивом избранное из классического сборника старинной китайской поэзии.

Сверчок звенит среди травы,
А ночью, забираясь в дом,
Он заползает под кровать,
Чтоб человеку петь тайком.

Ван Вэй

Но вполне доходчиво, ибо песнь та о родных краях-семье,
родителях-детях – жизни-смерти Дома в целом.

Думаю о природе,
Жизни и человеке.
Если опять придется
Мне уходить отсюда –
Лучше уйду в могилу,
Сгину в земле навеки.

Ван Вэй

Однако прежде не отказать себе в удовольствии созерцать Цветы Сливы в Золотой Вазе бытия.

«Дай воспользуюсь я этим миром живых превращений, чтоб уйти мне затем в ничто! Зову неба я буду рад; колебаниям откуда явиться?».

Тао Юаньмин

Отсюда явные успехи китайских домоустроителей. И основателей традиции, и ее верных последователей.

«...И успехи достигнуты потому, что архитектор вдохновлялся веточкой дикой сливы, которая сначала превратилась в динамичную черту иероглифа, а потом преобразилась в линии и формы архитектуры» (Линь Юйтан «Китайцы: моя страна и мой народ»).

Дом китайца действительно сродни древнейшему иероглифу, «священному начертанию», обладающему выразительным созерцаемым смыслом.

Китайский иероглиф «цзя» (дом, семья) напоминает некое экзотическое растение и одновременно выразительно обнаруживает многоликую жизнь под неким общим кровом: многоликая семья дружно встречает-заключает в объятия долгожданного возвращенца. Или столь же страстно провожает.

Или «пиньинь» (жилище, дом). В нем словно прорисована священная триада – единство Неба-Земли и между ними уверенно восстающего Человека, расправившего руки по краям света. И еще в нем обнаруживается традиционный дворик при Доме, где исполняются всяческие встречи-разлуки. Конечно же, от первого лица.

Обыкновенно квадратно-прямоугольный он, будто собирает в себе-собой все четыре части мира Поднебесной. И само название его, веками проверенного на верность китайскому менталитету-традиции, озвучивает его сущность-предназначение – Сыхэюань (сы – четыре; хэ – объединить; юань – двор).

В развитых вариантах Дома-двора найдется фонтан, беседка, сад, живописные камни...

«Гляжу на деревья во дворе и радую свой взор. Усаживаюсь у окна на юг и отдаюсь покою» (Тао Юаньмин).

*...Деревья и цветы, посаженные мною, –
Дань благодарности природы чудесам.
Она меня вознаградит весной,
Ведь я по веснам счет веду годам.
Так я обрел бессмертие в тиши:
Довольство,
Негу
И покой души.*

Столь поэтичное мировосприятие и умозрение несет в себе чувственную нежность искони женского начала, которое конфуцианский патриархатизм всячески обходит. Умышленно или нет противореча древнейшим мифическим сюжетам. А они сохранили память о Прародительнице рода человеческого – Нюйве. В ее бытность Земля уже отделилась от неба. Высь одолели священные горы. Потекли к морям реки, полные рыб. Всяческие животные наполняли леса и степи, над которыми парили всевозможные птицы. И увидела она, что это не есть хорошо – явно чего-то не хватает, и она создает-опекает людей, вылепливая их из глины. Причем по своему образу и подобию, глядя в воду-зеркало пруда. Затем еще несколько оживающих фигурок. Когда богиня поняла,

что на должно-желаемое количество людей, которые притом со временем умирали, ей не хватит сил, она, соединив мужчин и женщин, заставила их самих продолжать свой род. Правда, возникает вопрос: с кого она лепила мужчин? Кстати, как и загадка: по чьему образу-подобию ветхозаветный Творец лепил-создавал Еву?..

Китайского Адама – полубожественного Фуси, после фактически «беспорочного зачатия» также родила дева из мистической Страны рода Хуасюй, что, согласно легенде, находилась в сотнях тысяч ли к северо-западу от Китая. Почему и звали ту женщину Хуасюй-ши, или урожденной этой благостной страны, где не было ни правителей, ни вождей, люди не были подвержены страстям, живя потому долго, красиво и весело...

Как знать, не является ли Хуасюй той же великолепной страной-эпохой прекрасных женщин, куда в итоге всех злоключений посчастливилось добраться Каину?..

...Как бы то ни было, и поныне Богиня Нюйва и ее брат-супруг, Фуси, подобно египетским Изиде-Осирису, считаются первой божественной супружеской парой, а в честь Нюйвы исстари возводились храмы и устраивались праздники, прославляющие как богиню любви и бракосочетаний.

Вначале же было устройство Дома-жилища. По «неопровержимым» данным архаических текстов – главы «Обозрение сокровенного» заповедного писания «Хуайнаньцзы» – именно Нюйва спасла Землю от гибели, когда небесный огонь и потоп могли уничтожить все живое. Богиня собрала разноцветные камни, расплавил их и залепила небесные дыры, через которые изливались вода-огонь. Затем она обрубил ноги гигантской черепахе и этими четырьмя ногами-столбами укрепила небосвод. Золой тростника Нюйва отгородила воды потопа. Если это «приземлить» до уровня человека, получается вполне надежный и типичный китайский Дом. Всем на радость-торжество, включая, понятно, и саму домохозяйку.

Недаром, по некоторым свидетельствам, в окрестностях горы Лишань 20-го числа первого лунного месяца исстари отмечались праздники починки неба и земли – Нюйван-цзе (Праздник правительницы), Нюйхуан-цзе (Праздник госуда-

рыни), или Нюйва шэн-жи (День рождения Нюйвы). Праздновали по-домашнему: пекли блины и клали их на крышу дома, что называлось бутянь – «починка неба». Затем блины бросали в погреб, творя бу ди – «починку земли».

Блины пекли, видимо, в домашнем очаге. Ибо помнили-знали, что Нюйва, прочно связанная с культом земли, одновременно представляет и огненную стихию. Один из немногих сохранившихся о ней мифов говорит, что она разожгла мировой костер, чтобы починить обрушившийся небосвод, а золой этого фантастического костра преградила путь всемирному потопу. Знаменательная ассоциация спасительного от внешних напастей одомашненного Огня.

На него же намекает и культовая мифологема пяти богов «первопредков» (у ди), которая образно-символически выражает четыре конца света и «сдерживающий» их центр. Уже знакомый нам путесобирающий крест-свастика, в центре которого возвышается, упираясь в Землю, подпирая Небо, ЧеловекоДом.

Не так давно найденное китайскими археологами десяти-тысячелетнее изображение пышногрудой женщины с вознесенными вверх руками почли за «икону» божественной матроны. И без детального сравнения в ней видится-узнается наша бережливая Мать-Хозяйка, изначальная всеименная домоустроительница.

Китайское ее воплощение Нюйва также приобщила-подвигла к этому космогоническому деянию мужчин, оставив за собой миссию учреждения-вдохновения. Так и изображаются в китайской иконографии Нюйва и Фуси – одна с циркулем (по иной версии – с компасом), другой – с плотничьим угольником.

Извечная мифологема круга-квадрата, Инь-Ян, которая восславляется и в традиционном дворике. Так что размеры внутридомового дворика никогда не смущали, ибо ему удастся собрать в себе-собой у священного костра-очага всю Природу-Мать.

Здесь же деревья различных пород. Пусть карликовые, зато преимущественно обильноцветущие, жизнерадующие и видимые, словно с небес Поднебесной. Обычно они выращиваются в керамических горшках, дабы легко переме-

щаться по воле-желанию домочадцев, воспитанных в духе смены-подвижности вида-пейзажа. А еще идей «Великого в Малом», исповедующих гармонию Естества, по определению, отвергающего роскошь-избыток.

*...О, сколь роскошны парки у дворцов.
Но мне милее сень лачуги тесной
И скромная краса лесных цветов.
Ах, что за радость здесь и наслажденье
Весной
И летом
И порой осенней.
Вино согрелось, дышит ароматом.*

...И обилие стен-стенок... Одни вполне убедительно защищают Дом-двор от внешних влияний. Но в большинстве они – все та же ажурность, искусно сплетенная неповторимыми проходами: овальными, круглыми... но обязательно плавно-обтекаемые сродни ветви дикой сливы или каллиграфической черте-ростку иероглифа.

Они приглашают-взывают к переходу-изменению, продолжаясь в открытых произвольно извивающихся галереях, уводящих, кажется, в бесконечность, словно мистическое Дао.

Днем в них встречается естественный свет и рукотворная тьма Дома-двора. Ночью же нежное освещение Дома привлекает тьму внешнюю. Ибо нет антагонизма между естественным Светом и Тьмой. Как и между Инь (Женское-Тьма) и Янь (Мужское-Свет), что гармонично слились в круговращении символического Тайцзиту, «Великого предела». А, по сути, вечный просвет. Если надо, он действует от лица Света – отсвечивает-высвечивает. Или выступает за Тьму – затеняет-затемняет. Без восприятия этого неперемного просветления не быть и просветлению сознания. И только тот, кто постиг и постоянно живет в совершенной гармонии с природой, и есть Будда, или просветленный...

«То, что позволяет явиться то мраку, то свету, есть Дао... Дао туманно и неопределенно. Однако в его туманности и

неопределенности содержатся образы... в его глубине и темноте скрыты тончайшие частицы» («Дао дэ цзин»).

Посему китайский Дом-Дао так привержен природному движению-текучести, прославленному принципу-духу фэншуй (Ветер и Вода). Он задает должное местонахождение Дома и всего в нем благодаря благодатному Ци, потоку животельной энергии, пронизывающей природу-человека-вещи. Не зависит она ни от человека, ни от времени, почему и называется Небесной Судьбой-Счастьем.

Подойду к чистым струйкам воды
и сложу там свои стихи.

Тао Юаньмин

Им в Доме вторят «струи» искусной резьбы, оживляя светотенью камень, кирпич, дерево, уподобляя их лианам, извивающимся на ветру и оплетающим Сянси, «висячие башни», Дома на «ногах», деревянных сваях-колоннах. Благодаря им Дом легко вписывается-усаживается в сложный горный ландшафт, воплощая местную философию: «земля не плоская».

Будто некая грациозная птица угнездилась на уступах-склонах скал. Причем, птица весьма ярко-красочная, впечатляющая своим выразительным всякий раз оригинальным декором – резьбой «свай-ног», окнами с гравировками и причудливыми посланцами реально-воображаемой флоры-фауны...

...Может, это мифический Феникс-Фэнхуан? Его присутствие-соучастие считается верным признаком процветания Дома – семьи-страны-народа. Его явление – великое знамение, свидетельство могущества императора. И горе-беда, тревога за будущее, если эта судьбоносная птица не находит себе гнезда.

...гляжу на мир кругом:
На нем лежит дневная благодать,
Но заросли скрывают дивный холм,
Душистых трав в ущелье не видать.
В краях закатных Феникс вопиет
Нет древа для достойного гнезда...

Ли Бо

А в Доме здесь – изобилие. Исключительно местная пихта, что сполна делится своими лучшими способностями-качествами – легкости в обработке, отсутствием трещин, высокой стойкостью к гниению-насекомым. А ее стойкий ароматический запах!.. С ним веет-укрепляется чувство Единства, где трепетно высиживает благое потомство эта чудо-птица. Она спокойна, поскольку споспешествует «Великому пределу», семейно-единому Инь-Ян, незыблемому в своих превращениях.

«Сжатое – способно расправляться, темное – способно быть светлым, слабое – способно быть сильным, мягкое – способно быть твердым. Натягивает четыре шнура, таит в себе Инь-Ян. Связует пространство и время... Горы благодаря ему высоки, пучины благодаря ему глубоки, звери благодаря ему бегают, птицы благодаря ему летают, солнце и луна благодаря ему светят, звездный хоровод благодаря ему движется... Феникс благодаря ему парит...» («Хуайнаньцзы»).

Как «парят» кровельные: не то пока расправляющиеся, не то уже складывающиеся в своих плавных изгибах. Грациозно загнутые углы крыши окрыляют Дом, создавая при виде связь между Землей-Небом, и тем обретают очень важное обрядовое значение отпугивания-изгнания злых духов.

Традиционная иссиня-черная черепица – небесная мантия-оперение символической птицы-наседки, мистического Черного Феникса, олицетворяющего таинственность Неба, его непредсказуемую волю.

Зачастую рукотворные крылья обретали изумрудный цвет, подобно зеленой яшме – самому драгоценному для китайцев камню. И теплится в таком домашнем крове покров плодородной Земли, вечно молодой, никогда не жухлой жизни.

Или это величественные ветви-листья деревьев прогибаются, как бы подлаживаясь под Воздух-Воду, и одинаково приветливо принимают дуновение-порыв и капель-ливень небесный, чтобы не рассекать-расплескать и нежно-бережно предать-даровать их Земле. И так слить-согласовать в Воды верхне-нижние.

Прагматик скажет и иную правду: такая кровля чрезвычайно практична, ибо дождевая вода не попадает на фундамент, а материал помогает удерживать тепло. В жару она собирает тепло наверху, как за пазухой, а в холод заботливо отдает ее своим домочадцам...

Наконец (в равной мере, к началу), – пурпурные ворота – признак достаточно богато-уважаемого Дома. Кроме пурпура-киновари, олицетворения счастья-почета на этом пламенеющем «насесте» ритуально привечают-проводжают домочадцев-гостей иероглифы, также желающие достатка-удачи.

Так что и в ритуальной стабильности канона, и в вольном токе Дао, и в неге Просветления-дзен чувствуется-мерцает Дом, куда-откуда следует все остальное, как из мифического первоначального Яйца. И как же ни ликовать при виде его?!

...«Вот вижу – ворота и кровля. Ликую... Спешу... Слуги радостно встречают меня. Дети ждут в воротах. Дорожки в саду уже совсем заросли, но сосны и кусты хризантем еще целы. Беру детей на руки, вхожу в дом. Вино уже стоит... Бочонок полон... Тянусь за кувшином и чаркой. Наливаю... Пью...» (Тао Юаньмин).

И не увидеть их, что запали в самую глубь душевную, нет никакой возможности. Особенно сквозь-вместе с Цветами Сливы.

Манифест Доммашины, или Блеск-нищета «Великой эпохи»

Вместе с массовым производством автомобиля с витиеватых переулков Модерна архитектурная идея и практика также вырывается на Магистраль, Она уверенно, безоглядно следует прямым курсом – к полной победе «здорового смысла» – культа «рацио», бесспорной целесообразности, открытого прагматизма. Всякое сомнение в его истинности – глупость.

«Прямая улица – дорога людей. Кривая улица – дорога ослов»⁸.

Так, коротко и ясно, французский архитектор Шарль Эдуар Жаннере, взявший себе лаконичный псевдоним Ле Корбюзье отвечает на вызов «машинного века». Более того, талантливо подвигает его.

Молодой и амбициозный он становится в авангарде, своеобразным регулировщиком и ускорителем «современного движения» в архитектуре, преисполненного радужными посулами индустриального общества. Его концепция «серийного домостроения» сопровождается прямо-таки мессианскими откровениями:

«Начинается великая эпоха. Возникают новые веяния. Индустрия, нахлынувшая, словно бурный поток, принесла с собой новые орудия, приспособленные к этой новой эпохе... Глубоко потрясенная общественная машина нуждается в переделке поистине исторической, иначе ее ждет гибель» (1923).

Его искренне волнует судьба человека, обездомленного и мировыми войнами, и неповоротливой отсталостью инженерно-строительного дела.

⁸ Здесь и далее жирным манифестирующие соображения Ле Корбюзье.

«Проблема жилища – первая из всех проблем... Жилище – это ключ ко всему».

А ключ к жилищу – ключ от зажигания опять-таки механизации, безупречной рационализации всей архитектуры как целенаправленного и бесперебойного механизма с ориентацией на анонимного, обезличенного, статистически усредненного, «одномерного человека» (Г. Маркузе).

Сия модернистская парадигма упрощала теоретические поиски архитектора, всецело выводя их в сферу функционально-типичного.

«Создать дом для обыкновенного, “нормального” человека – это значит определить характер его потребностей..., найдя типичные для всех людей потребности, функции и эмоции».

Остальное представляется еще более очевидным.

«Типовые потребности, типовые функции – следовательно, типовые предметы».

Многозначительным символом этой уплощенности **«современной архитектуры»** становится «Модуль», демонстративно опечатавший плоскую и серо-бесцветную стену «Марсельской жилой единицы». Он легко укладывается в прокрустово ложе функционально-конструктивной «правдивости» и примата ортогонального пространства над формой. Такого, как и на пуристических полотнах-манифестах Корбюзье, идейного борца с «украшательским лицемерием формы» – упрощенные, экономичные силуэты вещей повседневного быта. Такова и мебель-манифест – также предельно рационально-серийная. Наконец, и Дома становятся анонимными, буквально лишенными почвы под ногами и проникают куда угодно, как распространенные ныне серийные внедорожники.

Ибо **«дом – машина для жилья»**, причем **«машина быстрая, способная удовлетворить наши потребности в комфорте»**. И будучи подобной кибернетическому аппарату, эта машина призывается моделировать повседневную жизнь по универсальному алгоритму, в соответствии с удовлетворением нескольких биовитальных потребностей.

А для этого она должна пренебрегать привязанностью к месту и, не смущаясь, подмять под себя Природу.

«Нас стесняет природная среда, с которой мы боролись и боремся всякий день».

Отсюда деятельность архитектора-авангардиста обретает агрессивно наступательный характер, ибо осуществляется в **«сфере враждебной нам природы», «в желании овладеть ею»** (1926). И только потом уже, как бы между прочим, Дом – **«место, пригодное для размышлений, и, наконец, красивое место, где нашему уму создается столь необходимый ему покой».** Покой для ума-рацио, дабы, как надо понимать, отдохнув, вновь ринуться на завоевания. Тогда зачем Машине Искусство, Красота?

«Я не утверждаю, что искусство насытит весь мир, я говорю только, что в некоторых умах дом должен вызывать чувство красоты».

Лишь в «некоторых»! Притом, что и красота предполагается новая, машинизированная – четко геометризованная. Посему в пиетете Эвклид, его геометрия.

«Она является материальным воплощением символов, выражающих все современное, возвышенное... Машина идет от геометрии. Следовательно, человек нашей эпохи своими художественными впечатлениями обязан в первую очередь геометрии».

Значит, и архитектор обречен на ортодоксальность исканий.

«Прямой угол есть необходимый и достаточный инструмент для работы...».

Отсюда неотступно прямой, как и хотелось, путь к массовому строительству и фактически массовой архитектуре. Предтеча ее, первенец – проект «Дома Ино» (1914), вся структура которого – опоры и три железобетонных плиты – открыли перспективы индустриально-типового жилища. С него и началась революция, означавшая необходимость **«вырвать из своего сердца и разума застывшее понятие дома» – «прийти к дому-машине».** Ей служили **«домаманифесты», «жилые единицы»,** штампуемые, сходящие с конвейера подобно машинам. Так типодом провозгласил закат Дома и дал взамен безликий вольтер квартирам в многоярусных клетках, пронумерованных вдоль транспортных магистралей...

Справедливости ради отметим, что это были не машины-монстры для мировых войн, а для мирной, следовательно, уже вполне счастливой жизни. Уже только это выказывает, что Корбюзье не был ослепленным пленником прагматичных потребностей и «прозы жизни», бытовой, серой повседневности.

«Не одна только практическая польза, но духовное богатство, улыбка и красота – вот что поможет архитектуре принести радость человеку новой машинной цивилизации» (1936).

Для этого надо быть художником-поэтом.

«Мои искания, так же как и мои чувства, сводятся к одному, к главному в жизни – к поэзии» (1959).

Он и вправду был поэтом, конечно, футуристическим, новаторским, ибо такова была поэзия машинной цивилизации, вознамерившейся «загнать клячу истории» (В. Маяковский).

По-своему, он был верующим – в созидательный, инженерный гений человека, в чудотворность научно-технического прогресса. Так и стал идейным вдохновителем-миссионером новой эпохи в архитектуре, неся благовест, «евангелие от Корбюзье» – «Афинскую хартию», самобытное «священное писание» для зодчих во всем мире. Оно преисполнено послевоенным оптимизмом и, как ни судить, верой в гуманистическую панацею серийного домостроения.

Поэтому понятна та веселость, что связывалась с его или Корбю произведениями. На открытии музея, сооруженного в Швейцарии по его проекту (1967), родной брат композитор Альбер Жаннере произнес своеобразную эпитафию: «От Лозанны до Цюриха попадалось мне множество выросших из земли Корбю – гармоничных, подтверждающих успех его принципа сочетаний горизонтали и вертикали... Они действительно – молодость, веселая и улыбающаяся...».

Не удивительно, что эта идеология была с восторгом воспринята в СССР, когда послесталинская социально-культурная перестройка проходила, можно сказать, под знаком массового жилищного строительства. Как Корбюзье изживал утяжеляющий «машину» декор, так и в советских умах-рядах архитекторов, вся общественности началось «гоне-

ние на ведьм» – «борьба с излишествами», ставшая фактически партийной программой, то есть общегосударственным законом. Была еще такая партия...

Тогда портрет Корбюзье можно было встретить не только в архитектурных мастерских, но и во многих коммунальках-общежитиях, где обреченно не решался пресловутый «квартирный вопрос», где вообще мечтали о свободе духовного пространства. При этом, видимо, вспоминали, что Корбюзье еще до войны демонстративно порвал активное сотрудничество с советскими властями как раз по причине несовместимости его воззрений с идеологией-практикой тоталитаризма.

Впрочем, и этот порыв, как и многое тогда, довели до абсурда. Успели, как потом горько иронизировали, совместить ванную-туалет; не успели разве что соединить потолок-пол. Правда, для очень многих эта неказистая, примитивная, паллиативная, но своя крыша над головой стала удовлетворением острейшей потребности. Следовательно, «хрущёвки» становились зримо-осязаемым воплощением ускоренно-бесповоротного продвижения к коммунизму, реализации его столь заманчивого, а, по сути, деградирующего принципа: «...каждому – по потребностям».

Более того, у большевистского режима после краха всеобщего страха серийное домостроение стало новым, а главное, вынужденным идеологическим оружием. Ведь оно стало реально массовым средством психологического воздействия, управления людом-народом, превратив его в толчею лояльных очередников. Попутно запрещались загородные Дома на свои средства и вкус, разве что садовые домики для инвентаря – дабы и духа не было «собственника», а значит самостоятельно мыслящей личности.

Меж тем была еще одна глубинная, возможно, не осознаваемая в полной мере даже вдохновителями и проводниками совмассарха «бомба» замедленного действия. Унылые пятиэтажки, «счастье» по распределению, плодили в людях такую же унылость, безразличие, подспудное отчаяние навсегда остаться на этой зияющей «вершине мечтаний». Не отсюда ли губительный «застой» и всеобщее лицемерие? Доброта, гуманизм и задушевность «шестидесятников» была,

между прочим, воспитана в Домах, возможно менее комфортных, но самобытных, обжитых, по-своему неповторимых. Следующее, более индифферентное к разнообразию серийно-серийное поколение так и не дало подобного взлета духовности, разве что надрыв, взалкавший перемен. Унылая пора – очей разочарование...

Выходит, многие наши нынешние социальные пороки, невиданные ранее деструктивные явления, жестокость-озлобленность, безразличие-отчужденность, апатия-ксенофобия родом из детства-акселерации индустриального домостроения? Хотя нет, по многим причинам просто не может быть убедительных исследований, обнаруживающих эту зависимость, но, значит, и опровергающих ее тоже нет. По крайней мере там, где не прокатилась серийная, серая и холодная ж/б-машина – городках-селениях – люди сохранили былую доброту-приветливость.

Изменяют ли мир художники, исправляет ли мир Красота – также можно бесконечно дискутировать. Но архитекторы просто призваны его изменять – и буквально, и формированием представлений о судьбе, должном порядке, а также попыткой-действием обострить чувство-образ Дома во всей его феноменально-духовной полноте... Правда, далеко не все во власти зодчих, особенно при культе усредняющей серийности, вериги которого им выпадало тащить-смазывать...

Ныне Корбю первого советского образца – самые, мягко говоря, невзрачно популярные постройки в наших городах. Где-то их уже без сожаления сносят. И в голову не приходит наградить их охранительной шильдой: «Памятник жилищного строительства второй половины XX века». Они выхолостили, издеваются над **«отправными точками новой архитектуры»**, с помощью которых Корбюзье вознамерился перевернуть вес мир: здание на столбах-опорах, плоская крыша-сад, свободная внутренняя планировка, вовлекающие их обладателей в **«искусство организовывать пространство»**.

Но и это не самое важное, ведь в глубине своей сущность корбюзьеанства сводилась не к чистоте форм, не к механическому высвобождению пространства, но к чистоте взаи-

моотношений людей, к их социально-творческому высвобождению. Именно эта демократичность на первых порах негласно вдохновляла наших архитекторов, доверившихся убеждениям в «гуманизм советской архитектуры». Вот только на практике их быстро урезонивали «актуальные задачи строительства коммунизма» и опасливое молчание лояльного очередничества.

...У советских архитекторов (в том числе и у меня), которые еще не знали даже «евроремонт», истый шок вызвали видеоролики на Софийском архитектурном бьеннале «Интерарх – 85»: в полной тишине новые, с иголки, созданные отточенным евростроительством дома, один за другим... взрывались. Причем самими же создателями. Не менее ошеломили комментарии к этой загадочной экзекуции. Оказывается, забывшие послевоенные очереди европейцы... отказывались в них вселяться. Не помогали кредиты-рассрочки, прочие преференции. Нет – и все тут. Априори было ясно Дому здесь не бывать... Лучше мы подождем, признавались отказники, поднакопим, но будем жить не в типовой этажерке, «корбюзьевке». Ибо мы уважаем себя, мы – не машины, машины – не мы, и нам нужны не боксы, многоячейстые **«жилые единицы»**. Мы хотим жить в Доме, конечно, удобном, биологически комфортном, хорошо бы экономически доступном, но обязательно в красивом, неповторимом, да еще в понравившемся месте. Каждый из нас живая и уникально-неповторимая Единица.

Фактически это был окончательный приговор ортодоксальному корбюзьеанству. Поскольку действительно типичная и притом сугубо человеческая потребность – в счастье. А оно у всех разное, как и душевный комфорт, удовлетворенное чувство Дома, до неузнаваемости обогащенное вызревшим восстанием против однотипного «воспроизводства того же самого в бесконечном процессе отождествления» (Ж. Бодрийяр).

А что мы имеем, думая, что благостно потчуем себя?

«Наш дом состоит теперь из кнопок, выключателей, платяных шкафов, резиновых ковриков, скважин для ключей, отверстий для проводов и звонков охраны. Нет чердаков, нет пыли и нет пауков. Мы в значительной степени искази-

ли понятие дома. Европейцы даже гордятся тем, что спят на кровати, которая днем называется диваном» (Линь Ютань).

...Новые миллионы квадратных метров – показатель для жилья, конечно, очевидный-впечатляющий, сопоставимый-сравнимый, но уже и для нас, казалось бы, навсегда притерпевшихся к «квартирному вопросу», отнюдь не убедительно-абсолютный.

То есть, проблема Дома – культурно-экзистенциальная проблема. Почему и требует она особой мудрости, семиразовой взвешенности, дабы не скупиться, чтобы не платить дважды. А то и трижды – за духовное возрождение, и тем более процветание. Так что сегодня наша перспективная дорога должна быть по-человечески прямой – от униженности «доступного жилья» к гордости жилья «достойного»...

И подвижки в этом направлении уже можно проследить – первые конструкции и образцы вполне обширных квартир со свободной планировкой, способной удовлетворить многие домоустроительные запросы и чутко подстраиваться под вкусовые и демографические изменения. Не про то ли «свободная внутренняя планировка» Корбюзье?

...Корбюзье доставало ума-прозорливости, самокритики-понимания «сверхутопичности» голого строительного прагматизма, примитивно понимаемой **«пользы вместо красоты»**, доводящей прямехонькой дорогой до абсурда тотальной механизации. И на этом пути неминуемо подводит-возникает-озадачивает проблема иерархической первичности в тандеме машина-жилье, а точнее, Человек-Машина. Тут же теснит надобность уточнить «сущностную разницу между средством, орудием и машиной... Мы уже можем задать более ясный вопрос: можно ли сказать, что организм – машина? Даже если первое верно, второе из него не следует...». Структурированные определенным образом подвижности «вступают в характерную для них взаимосвязь, единство которой предписано тем, что призвано совершить “машинное” средство...» (М. Хайдеггер).

Но о Доме ли мы говорим?

«Мы говорим о машиностроении. Но не все, что можно и нужно построить, есть машина. Потому, когда нам предла-

гают дом как машину для проживания, а стул как машину для сидения, это еще раз свидетельствует о том, что сегодняшнее мышление и понимание совершенно лишено почвы. Есть люди, которые в таком безумии даже усматривают некое великое открытие и предвестие новой культуры» (М. Хайдеггер).

...И отец-проповедник корбюзьянства по сроку становится самоотступником-еретиком. Тем, кто приписывал ему «собственный стиль», он решительно «угрожал»:

«Вот я им покажу нечто новое: торжество наклонной линии, которая то победно и легко взмывает вверх, то как бы с улыбкой свергается вниз в легком слаломе».

Получается, сворачивает на атипичную «дорогу ослов», где и находит экспрессию-драматизм, нетипичную жизненность, не изменяя, однако, и функциональной продуманности.

Капелла в Роншане (1953) – уже не индустриально-сборочный Корбю, а своеобразный машинный антиманифест. Пусть не жилье человека, а Дом Бога, но ее уже никто не назовет машиной. В тени ее мистического света бывший мессия машинной цивилизации наверняка вспоминал свои ранние размышления, где источался не собственно прагматизм, а забота о Человеке, его Месте в Бытии. И – как покаяние-завещание:

«Рождение новой цивилизации отмечается одной основной задачей: созданием жилищ, соответствующих важнейшему явлению в жизни Вселенной – взаимосвязи человека с природой» (1964).

Осенью следующего года, оставив на Лазурном берегу свои, повывавшие виды очки-колеса, он заплыл, как обычно, очень далеко в море и не вернулся – сдало сердце. Вот только не сдался дух романтика, персонифицированного манифеста машинной эпохи, предопределившего, конечно же, кривой, поэтому и человеческий вектор развития архитектуры. Своим последним, возможно, символично самым дальним заплывом он, конечно же, раздосадованный профанацией, извращениями своих идей, словно высвободил творческое пространство для реализации новых исканий в домостроении. Ведь феномен Дома не закостеневаает. **«Про-**

блема дома – это проблема эпохи». А она, даже машинная, не вечна, ее идеалы так же, как и металл, стареют. Следовательно, и миссия Архитектора подлежит периодическому пересмотру. Его Дом должен не только перекрашиваться-ремонтроваться, но и весьма радикально реконструироваться. И не вослед, а в маячномпереди духу-зову Времени.

«Первая задача архитектуры в эпоху обновления – произвести переоценку ценностей, переоценку составных элементов дома» (1923).

Очередной эпохе обновления, которую еще называют постмодернизмом, естественно, потребовался собственный – постманифест и... Он не заставил себя ждать. Ибо призрак демашинизации уже все уверенней бродил-шествовал по Европе...

Панегирик Жизни, или Изобличенная линейка

Можно говорить об архитектуре,
если архитектор, каменщик и жилец едины,
то есть являются одной личностью

Ф. Хундертвассер

Окончание Второй мировой войны, «войны моторов» предрешило психологическую победу машин-машинизации в жизни-сознании некогда принявшей как безупречную аксиому-канон: «кривая дорога – дорога ослов» (Ле Корбюзье). Но... вдруг:

«Прямая линия безбожна и аморальна. Прямая линия не художественна, но репродуктивна. В ней живет мало Бога и человеческого духа, но больше ленивого и безмозглого стадного муравья»⁹.

Кто, однако, посмел встать посреди Магистрали мировой архитектуры поперек ее генеральной, то есть прямой, значит, единственно достойной уважения линии?

Так бунтует тридцатилетний выскочка, всего-то с... трех-месячным образованием в Венской академии художеств. Для него, видать, нет никаких авторитетов, а самые прогрессивные идеи он без обиняков относит к деструктивной злобе.

«Безответственная разрушительная злоба у многих функциональных архитекторов известна... их место пустые конструкции. Я говорю о Ле Корбюзье, который хотел сравнить Париж с грунтом для того, чтобы построить прямолинейные конструкции-монстры».

И здесь же, явно в пик его индустриальной схеме дает свою «конструктивную» модель Дома, предлагает свой неисчисляемый Модульор. Столь еретический вызов, казалось бы,

⁹ Здесь и далее выдержки из Манифестов Ф. Хундертвассера.

неоспоримому корбюзьеанству сопровождался эпатажными, на грани хулиганства выходками-скандалами.

Как-то в Венском университете он представил действие по созданию бесконечной линии: сам художник и двое его сподвижников по очереди тянули одну бесконечную линию по стенам, подоконникам, дверям, полу, над головами, между ногами сидящей и недоумевающей публики. Стоило одному из рисовальщиков устать, как его сменял второй, третий. И так – более суток. Сотрудники университета в полной растерянности, ректор, находившийся в Риме, срочно вылетел в Австрию, прочитав о «безобразиях» в газете, но криминала не обнаружил. Словно сама непрерывная жизнь вьется, струится и не может вырваться из ограниченного прямоугольного пространства.

Перформансы с линией – прелюдия архитектурных перформансов, где он сам себе сценарист-режиссер-актер, да и зритель-обитатель тоже. Они столь же пластичные, гибкие, жизнестойкие и жизнеутверждающие.

«Не зря же прямой не существует в природе. Она – это абсолютная тирания, именно поэтому всякая живая растительность неспешно, но успешно извивается, преодолевая любые препятствия».

На это способна разве что ее Высочество Жизнь.

«Истинная архитектура рождается в процессе органического роста, который можно сравнить с ростом ребенка».

Такое неспешное, гармоничное произрастание позволяет выйти из одномерности плоскотиновой повседневности и **«заглянуть в другие измерения»**, что, к сожалению, **«не соответствует нашему общественному порядку, где правит “абсолютный тахометрический автоматизм” («absolute tachistische Automatismus»), требующий немедленного результата»** при минимуме затрат, максимальной скорости. Отсюда типовые дома похожи на казармы-тюрьмы и, главное, далеко не только внешне – вредят человеческой психике и разрушают живую природу.

«Мы живем в хаосе прямых линий, в джунглях прямых линий. Эта пуца прямых линий, которая нас окружает как заключенных в тюрьме, должна быть

выкорчевана» («Манифест Плесени». «Verschimmelungs-Manifest», 1958).

Сей манифестант, обличитель-корчеватель каменных джунглей-тюрем – архитектор-самоучка Стовассер, взявший себе также эпатажный, но главное, многозначительный псевдоним – Фриденсрайх Регентаг Дункельбунт Хундертвассер, что дословно означает: «Царство мира», «Дождливый день», «Темно-красочный», «Сто вод». Кратко, отвечая сущности воззрениям его носителя, можно и так: «Поток живой воды».

Фактически это кредо романтика-фантазера и одновременно убежденного в своей правоте не мироустроителя, а миролюбя, ибо Хундертвассер не инженер-строитель, не «машинист», но «садовод», выхаживающий целебные «растения». Он – доктор архитектуры, но не дипломированный ученый, а лекарь, оказывающий неотложную помощь. Поскольку не может смириться с насилием, которое творят над нашими чувствами те, кто возводит скучные, маловыразительные жилища: это противоречит самому естеству человека, излучает агрессию, атрофирует чувство единения с природой, оскорбительно и унижительно для Человека. И человеку надо помочь, «излечив» каменные сооружения от всего того, чем они наносят вред, уничтожают Дом. И не наказывать глухими застенками, лишением свободы, а даровать оную.

В плане театрального эпатажа Хундертвассер – достойный последователь Сальвадора Дали, которого он, пожалуй, даже превзошел. В том числе и в продвижении идей «живой», «экологической архитектуры», органо-растительной. Ведь Дали упивался ею фактически в одиночестве, выращивая свой Дом в отшельнической бухте. Хундертвассер, напротив, разверзает для реализации своего манифеста самый центр официально консервативно-чопорной Вены. Однако не рациональной безупречностью типовых серых параллелепипедов, а буйством «биоморфных» вспышек.

Они ворвались в городскую среду как вызов-насмешка над ее окаменелой завершенностью. Как молодые цветущие побеги на старом замшелом стволе: яркие краски суперграфического одеяния пластичных фасадов с бутфорскими

гипсовыми фигурами, разновеликими и непохожими друг на друга окнами-балконами, с членением на белые, синие, желтые, красные, естественно, кривобокие прямоугольники, захватывающие по несколько окон. Неравномерно оштукатуренные и окрашенные стены походят на живописные полотна занавесок-граффити. Все пространство закруглено, даже произвольно расположенные окна прячут острые углы рам под карнизами-нишами. Не ожили ли это живописные полотна самого Мастера?

«В природе нет ничего параллельно-перпендикулярного. Вот и я строю так же».

И это отнюдь не подражание Природе, но всякий раз непредсказуемое сотворчество с ней, погружение в многомерный мир Естества, в среду-пространство более чем трехмерное. Если и геометрия, то только неевклидова, хундерт-вассерова.

Тут же готические шпили и особо любимые золотые купола-луковицы как набухшие бутоны новых целебных для глаз-души растений, как фирменный знак Мастера, символ свободолюбия обитателей Дома, их жизнерастущая устремленность ввысь.

«Башня с золотым куполом-луковкой на чьем-либо доме поднимает статус его жильца до королевского уровня».

Эта восточно-православная тема звучит в унисон духу внутренней гармонии и свободного самовыражения человека.

«Даже в арендованном доме должен иметь возможность высунуться из окна и обцарапать стены так далеко, насколько позволяют руки... Чтобы издали с улицы было видно: там живет человек, который себя от своих соседей отличает, от подобного ему животного!»

Словно стоишь на нашей старинной улице и любишь неповторимыми резно-расписными наличниками окон, «царапали» которые наши предки, не искушенные в эстетических теориях, и также насколько хватало рук, не лишённые умения-воображения. Так их, прочно укорененный в родную землю Дом, распускался индивидуальной жизнью. Так что и речи не может быть об имитации-дублировании, по-

вторении-клонировании. Хотя бы потому, что руки у всех, как листва на деревьях, разные.

...Исключительно живые-натуральные растения у Хундертвассера – деревья, кустарники, цветы и просто трава – также везде, где это возможно. На всех горизонтальных плоскостях – крыше, балконах, террасах – для этого покрыты плодородной землей. Их соединяют неровные полы и лестничные марши, точнее, извивы, как горные тропы, кривые, и продолжают живое волнение рельефа вокруг Дома, где вольно произрастает мощение, повторяя формы небольших холмиков, похожих на любимые им кротовины: все оставлено в первозданном виде.

Природные мотивы-образы (деревья, бабочки, лебеди, совы и утки) органично и вольготно проникают и внутрь, усеивая аппликациями из осколков керамической плитки полы, потолки, стены. Причем умудрившись совместить-таки теоретически абсолютно не совмещаемые цвета.

Творения эти декоративно изобразительны, музыкальны, полифоничны, жизнерадостны подобно Кришнаитским храмам. А главное, они вневременны, словно искривляют время в общем художественном ансамбле-гимне, и замыкают его в единый голографический континуум прошлобудущего. Откровения не то непосредственного ребенка, не то вдохновленного обывателя-дилетанта, не то умудренного Мастера. Так что и взрослый окунается в детскую добрую сказку, и дети мечтают о большом творчестве. И о столь же добром, гармоничном, многоплановом мире...

Хундертвассерхаус – одна из самых популярных достопримечательностей Вены. В этой связи не принят был его проект по преобразению еще одного района города – испугались чрезмерного наплыва туристов. (Нам бы их проблемы!)

Его детища, «биосооружения» – симбиоз органической практичности, символ космической истины, экологической справедливости, воссоединяющей человека с естеством. А в конечном счете с духовным абсолютом, или Богом с его неоднозначным, гибким, криволинейным порядком. А его мы начинаем понимать (или вспоминать) только сегодня вместе с нелинейной Вселенной Эйнштейна, таким же не-

линейным сознанием Фрейда и даже с законами «безбожника» Дарвина, гласящими, что выживают высшие, можно сказать, творчески одухотворенные биосистемы. То есть она априори открыта личности, подвигая ее на самореализацию, нахождение своего уникального места в мире.

Поэтому в отличие от индустриального жилья, требующего выученного-расчетливого профессионала и развитой технологии, Дом Хундертвассера обращается к сокровенным потребностям-чувствам домоустроителей – к свободе-заботе-ответственности.

«Нельзя ограничивать желания отдельного человека в строительстве. Каждый должен уметь строить и нести реальную ответственность за те четыре стены, в которых он живет».

Следовательно?

«Человеку следует вернуть свою критично-творческую функцию, которую он потерял и без которой человек вообще перестанет существовать!».

Пока такой жизнестроительной свободы-обязанности не существует-имеется, нельзя считать архитектуру искусством. Значит, пусть жилец-творец не стесняется распиливать стены, перестраивать и переоборудовать квартиру. Дабы всем своим видом Дом возвещал: здесь живет Человек, отличный от всех. А с себе подобными он не преминет восстать.

«Ибо только до поры до времени люди не протестуют, что их помещают в коробочные конструкции подобно курицам и зайцам в клеточных конструкциях, которые им чужды...».

Наконец, принципиальное откровение:

«Материальная неблагоустроенность трущоб предпочтительнее моральной неблагоустроенности функциональной полезной архитектуры. В так называемых трущобах только человеческое тело может погибнуть, в то время как в специально спроектированной для человека архитектуре гибнет его душа».

Словом, «Манифест Плесени» и его зодческая интерпретация – ода во славу раскрепощенного творчества, инвестиций в духовность. Панегирик Жизни, только которой и можно радоваться, только у которой и следует учиться.

«Когда на комнатном потолке растет мох и закругляет геометрический угол, то этому следует радоваться, что вместе с микробами и грибами в доме появляется жизнь, и мы, как никогда осознаннее становимся свидетелями архитектонических преобразований, от которых нам многому следует поучиться».

Реально, конечно же, это аллегорическое истолкование-воплощение философии жизни, доказывающая зависимость целесообразности от красоты, свободной и неистоимой в своем разнообразии и не терпящей экспансию интеллектуально-физического напряжения, которое у нас в своем большинстве ассоциируется с Архитектурой. Экстремальные показания-значения, технические ускорения, идеологическая перегрузка здесь теряют гегемонический смысл-значимость.

Впрочем, даже художественно-эстетические критерии-оценки приходят в замешательство. Ведь Природа во всех ее проявлениях, можно сказать, творение Божье, критике не поддается. У нее нет плохой погоды. Дождливый день нередко также долгожданен и разнообразно прекрасен, а солнечный день не упрекнешь в гламуре, как и любой макияж несравним с естественной красотой. Плесень, всякий раз неповторимая и напористая, всем своим живым существом проявляет-доказывает, что не может быть устоявшихся канонов-эталонов. Рано или поздно они морально ветшают, плесневеют, сдабривая новые идеи-образы. Как и «научные выводы» традиционной теории, которая самозабвенно плодит «практические рекомендации» и гордится обилием «актов внедрения»...

«Нужно время для того, чтобы индустрия поняла ее фундаментальную функцию: заниматься творческим заплесневением!».

Конечно, обостряется и проблема осуществления заветов Плесени. Чей это должен быть удел – гениев-одинок или всякого, почувствовавшего вкус к творческой жизни. Видимо, потребуется непредвзятое, внеэкспертное доверие художникам, а они должны осознавать свою ответственность, чтобы не плодить «сорняки». Чтобы жизнеутверждающее разнообразие не превратилось в мертвую какофонию.

«Я прикрываю глаза... И я вижу разноцветные дома вместо уродливого кремового цвета и зеленые луга на всех крышах вместо бетона».

Кстати, с 1972 года Строительный устав Вены предусматривает охранные зоны, а инвентаризацию десятков тысяч строений обязал их владельцев изменять уличные фасады, надстраивать мансарды, перестраивать нижние этажи только с разрешения охранного департамента. Так что необходимы будут компромиссные подходы и средства. Пригласил же сам Хундертвассер на совместное «выращивание» своего Дома профессионального архитектора. То есть согласился на принцип коллегиального соучастия – партиципации. Более того...

«Всякая строительная деятельность прекращается после въезда человека в квартиру, в то время как она в это время должна только начинаться»...

Серийная антисерийность, типичная атипичность Хундертвассера чувствительно ударила (пусть далеко не все в этом признаются) по ортодоксальному корбюзьеанству, по консервативному технократизму проектировщиков-преподавателей: может, архитекторов учим не тому и требуем от них не то.

«Только те технократы и ученые, кто в состоянии жить в плесени и плесень творчески возвращать, смогут стать властелинами завтрашнего дня... Нужно практиковать творческое заплесневение. Лишь только после творческого заплесневения, у которого нам следовало бы поучиться, появится новая и чудесная архитектура».

Вот только уже без «Дождливого дня», знаменательно ушедшего от нас на переломе тысячелетий. Тем не менее, нет и не может быть скончания гибкой линии Жизни? Так и «Поток живой воды» не иссякает, но просачивается по самым разным направлениям. Нередко самовольно и где придется, как ростки из-под толщи асфальта. А как ни тужится-крепится, вспучивается, будто ожив, самыми разными изгибами. Может и он проникся неистовым проклятием линейке.

«Линейка – символ новой безграмотности. Линейка – симптом новой болезни распада».

В определенном смысле и смерти. Не зря же о ней нам сообщает именно прямая линия на экране кардиографа. Почему бессмертна Природа, Творчество? Потому что в них нет ничего параллельно-перпендикулярного. Совсем как в произведениях Хундертвассера. Мир живых, бесконечно неповторимых линий – и стены, и потолок, и окна, и ступени, и даже пол. Аршином общим такой Дом не измеришь, обыкновенной линейкой не вычертишь. Под ней надо понимать шаблонность-ортодоксальность узконаправленных и прямолинейных планов-решений, поэтому недолгих-разрушительных. Эта линейка – «холодное оружие» против ЧеловекаДома. Отсюда и подобающее изобличение-вердикт:

«Преступным является использование линейки в архитектуре».

...Многие жильцы поначалу не могли нарадоваться таким «пряничным домикам», а позднее сбегали оттуда в более привычные для них дома. Потому как в них трагически умерли дети-художники, хотя они этого в своем большинстве и не заметили. Но дети...

«Каждый ребенок – художник. Трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста» (П. Пикассо).

Дети творят непосредственно, архетипическим естеством и поэтому гениально. А от гениальности до безумия, как известно, один шаг. Значит, Хундертвассера действительно по заслугам называли «городским сумасшедшим». «У него крыша поехала и на все дома».

А еще можно сказать: впавшим в детство. Точнее, никогда не порывавшим с ним. Иначе как можно было додуматься до «оконного права», чтобы каждый домочадец, высунувшись из своего окна, «распускал» руки и мог расписать вокруг него стену сочно-яркими красками.

«Ребячество» да и только! Ну прямо как в сказке. Когда Алисе в Стране Чудес стало невмоготу тесно, она попробовала последнее средство: «руку высунула в окно, а одну ногу поместила в камин».

Следовательно, и Ф. Л. Райт, отец всех скрупулезно высчитанных небоскребов в конце концов «впал в детство» и дошел неким замысловатым маршрутом до «Дома над водопадом», до языческой магии камина в нем.

Антонио Гауди, кажется, вообще ничего не знал о линейке, но стал Домовым-волшебником, превращавшим пляжные песочные детскости и растительные хитросплетения в величественные Дома «Изумрудного города»... И каждый из них уверенно вещает: Я – Дом отличный от других и вырос там, где захотел, обретя свое Место.

...Неизвестно, был ли знаком Корбюзье с вызовом Плесени, избличающим его в насилии, но взывал он в том же духе:

«Рождение новой цивилизации отмечается одной основной задачей: созданием жилищ, соответствующих важнейшему явлению в жизни Вселенной – взаимосвязи человека с природой» (1964).

А Хундертвассер, в свою очередь, согласился бы с идеологом дома-машины:

«Глубоко *потрясенная* общественная машина нуждается в переделке поистине исторической, иначе ее ждет гибель» (1923).

То есть мы говорим не столько о новой Цивилизации, сколько о новой Культуре. Вернее, об их мирном, творческом, жизнеутверждающем симбиозе – «Машине с Плесенью».

...Примечательно, что и оставил этот мир Хундертвассер, словно символически соревнуясь с Корбюзье – также – сердце, и также – заплыв, пусть и на фешенебельном круизном лайнере. Между нашей мечущейся засмогованной реальностью и его новозеландским поместьем с Садам Счастливых Мертвецов, где он, по завещанию, исполнив замысловатую линию жизни, остался навсегда в гармонии с Природой.

«Свободная природа – это наша свобода».

Потомственная первоначальная свежесть, или Потомство Мастера мысли

Дом стал пустым с той поры как мой солнечный луч.
Канул в море

Г. Аполлинер

Профессиональные династии, скажем, пекарей, шахтеров, врачей и даже артистов-лицедеев вполне привычное явление, ведь передается в поколениях некий навык. А вот у потомственных служителей Архитекторы – они достаточно большая редкость. Потому как, если уж не дано от Бога, то уж ничем не восполнишь. И по наследству этот дар не передается.

Впрочем, есть и впечатляющие исключения...

Вальтер Адольф Георг Гропиус родился с майской свежестью в 1883 году в семье потомственных зодчих, чья родословная растянулась на века. Как минимум с позапрошлого века, ибо его прадед, Мартин Гропиус – известный-модный архитектор эпохи классицизма. Так что Архитектура ему была как родовая отметина-заповедь и скорее не он выбрал ее, а она наставила его на свой путь, и будущий Мастер безоглядно-вдохновенно вступает на него, пойдя учиться архитектурному искусству в Высшую техническую школу в Мюнхене.

Именно здесь он сполна проникся той эпохой перемен, в которую ему довелось жить-творить. Выдающиеся-судьбные открытия в физике, радикальные концепции в психологии, небывалые технические достижения сопровождалась столь же бурными переоценками ценностей в художественной сфере. Словом, мир был заряжен и взрывался всяческими инновациями, подтверждающими и подвигающими новое динамичное общество.

Поборники-подвижники сих умонастроений невольно находили друг друга и группировались для совместной реа-

лизации своих идей. Поэтому профессиональное обучение Гропиус прерывал образовательными поездками по многим странам Европы, где еще больше удостоверился в насущности новизны, «современности», направленной без колебаний в будущее.

Одержимость по-доброму переиначить мир выказалась уже в первой самостоятельной работе – проекте фабрики сапожных колодок, отстроенной уже к 1911 году и показавшей неожиданное утверждение нового языка архитектурной формы.

Прямо скажем, тема символичная, завлекающая в дальний поход отказа от классической позиции своих учителей к новым целям архитектуры, которая уже жаждала вдохнуть воздух свободы от столетних стереотипов и закоренелой техники, и уже созрела для нового раскрепощенного языка. Словом, ждала своего художественного гения.

«Объемное тело можно составить из любых материалов, а художественный гений находит средства и пути, чтобы с помощью таких материалов, как стекло и металл, устроить закрытые пространства и непроницаемую телесность. Нельзя не заметить, что этого рода стремление к формотворчеству в наши дни началось с первоначальной свежестью, началось как раз при развитии индустриальных форм...»¹⁰.

Революционная свежесть, как в технике, так и умонастроениях, подхватила-понесла молодого Гропиуса, безапелляционно заявившего своим предкам по архитектурной линии: мы пойдем другим, нетореным путем! Это коснулось не только, и даже не столько активного и новаторского использования стекла, металла, железобетона, что само по себе дало уникальные и яркие плоды. Принципиально важным было продвижение нового-насущного мировоззрения, пробуждение и реализация актуальных социальных запросов-перемен. Одному на таком фронте не устоять, нужны идейные последователи-потомки, коих учить-воспитывать. Отсюда главное, пожалуй, детище-форпост начинаний Гропиуса – прославленный «Баухауз» (Bauhaus или «строитель-

¹⁰ Здесь и далее курсивом мысли В. Гропиуса.

ство дома», Государственный дом строительства) – своеобразная колыбель-символ модернизма.

...Сразу же после небывало ужасной войны Гропиус назначается директором школы изящных искусств в тихом-консервативном поместно-бюргерском Веймаре, который, может, именно поэтому и стал Домом Гёте и Шиллера, одноименном с революционной республикой (1918).

Где, как не здесь совершить столь же революционный отказ-отрыв от всего чахлодряхлого и по форме-содержанию и по плодам военно-жертвенным.

**...Незнакомец помедлил перед заброшенным домом
Дом продавался наверно
Разбитые окна чернели
Построен в шестнадцатом веке
Во дворе стояли телеги
И музыкант вошел в этот дом...¹¹**

И за ним потянулись-хлынули и амбициозная свежемыслящая молодежь, и знаменитые Мастера из самых разных стран-народов.

**Все все до одной вошли нестройной толпой
Все до единой вошли в эту дверь
Не оглянувшись назад не пожалев о том
Что они бросили за спиной оставили за собой...**

В их новом Доме жить-пребывать, преподавать-учиться было интересно-забавно, легко-непринужденно. Подобно детской игре, ибо и исходным замыслом было возвращение к детскому творческому гению.

Так что вместо первоочередного изучения изучать великих художников прошлого – «вдох» в будущее, своеобразный исходный ритуал-посвящение в вещественную форму-текстуру-цвет посредством медитативных дыхательных упражнений. И не как-нибудь, а под руководством Гуру Дома, Йоханнеса Иттена, который с уверенностью знал о магии своей теории, исходящей из эзотерической персидской

¹¹ Здесь и далее жирным образы Г. Аполлинера.

религии Маздазан (Мастер мысли), из веры, что Земля должна быть восстановлена в саду, где человечество может сотрудничать, общаясь с Богом.

Домочадцы весьма обширного комплекса не чувствовали казенных барьеров-изоляции, поскольку все гармонично уживалось под одним «кровом» – три больших основных объема соединены мостами-переходами. Учебные корпуса-классы, жилье для студентов-преподавателей, мастерские-офисы. И полная свобода достойного самовыражения. Чувство, которое не забывается, не остается без благодарности.

Как и в человеческом общении бесчопорности-снобизма.

**...Будь на то моя власть я скупил бы всех птиц
Посаженных в клетку я бы выпустил их на свободу
И радуясь стал бы смотреть как они улетают
Не имея при этом никакого понятия
О добродетели именуемой благодарностью
Если только она не от сердца.**

В такой творческой ауре исполнялась любовь-уважение Гропиуса не только к новациям в искусстве, но прежде всего к творцам, всегда молодоновым. Так и стремился он, манифестируя *«создать новую гильдию мастеров, свободную от разделяющих классовых претензий, которые пытались воздвигнуть гордый барьер между мастерами и художниками!»*.

Сродни средневековым гильдиям мастеров-каменщиков, витражистов, что по традиции сакрально хранили-передавали свое мастерство. Именно поэтому следует вернуться в «отчий Дом» зодчества, **«необходимо снова вернуться в мастерскую»**, в некогда дружное семейство мастеров Дома-ремесла. Вернуться для радикального переустройства-обновления.

«Давайте придумаем и построим новое здание будущего, где в едином облике выступит все – архитектура, ваяние и живопись».

Этот призыв означал отказ от Украшательства-выпячивания к Красоте-гармонии.

«Украшение здания было некогда самой благородной задачей изобразительных искусств. Они были неотъемлемыми составными частями великого зодчества. Ныне они оказались в плену самодовольной обособленности, и спасти их может лишь сотрудничество и взаимовлияние всех мастеров».

Собрать их всех в едином Доме-мире и вознамерился стремящийся к открытости-единению «Баухауз».

«Мир рисовальщиков, чертежников, ремесленников должен, наконец, снова стать миром зодчих».

Таковым, чтобы все художники-мастеровые не просто мирно уживались, но благосожитийствовали. Посему Дом-мир зодчих избавлялся от формализма и продвигал то, что ныне называется синтезом искусств. А точнее, обще-единого сотворчества в общем пути-движении, в единстве веры в Мастера мысли, что звала-торопила.

**Не медли и овладевай своими землями
Решай свою судьбу свободно как и мы...**

«Давайте объединимся и вместе построим новое здание будущего, которое объединит архитектуру, скульптуру и живопись в единое целое, и которое достанет до неба благодаря миллионам рук ремесленников. Это здание станет чистым символом новой веры».

Веры отнюдь не догматичной, но демократичной, даже вольной, что касалось Творчества. Ибо не то, что запрещались, а наоборот поощрялись любые неожиданные, эксцентричные, оригинальные идеи, позволяющие взглянуть на проблемы по-новому и найти новые пути-направления в их разрешении. Только бы это служило повышению экологических, экономических, функциональных и психологических, эстетических качеств Дома-мира.

И это касалось не только теоретических выкладок, но и практических занятий. Потому-то интерьер, настенная живопись, светильники «Баухауза» – все это рук студентов. Не случайно поэтому «Баухауз» обрел репутацию экспериментальной лаборатории, школы-цеха, привлекавшей государственные и коммерческие заказы на проекты.

Такое было возможно исключительно благодаря творческому водительству самого Директора-мастера, мысли которого подкреплялись выдающимися произведениями Домов, плодящихся во многих городах-странах.

Залог успеха – новаторский по тем временам, привлекательный для динамично развивающейся индустрии принцип: «что хорошо выглядит, – хорошо функционирует». Принцип, который напишет на своих знаменах последовательный функционализм и который подвигал к сотрудничеству всех, кто придерживался подобных убеждений. И, конечно же, из России, где дух революционных преобразований еще не был омрачен-искоренен тоталитаризмом. Известный русский художник-универсал Василий Кандинский всецело присоединился в 1922 году к «Баухаузу»...

Итак, если отец Мастера, также Вальтер Гропиус в свое время был тайным советником по вопросам строительства в Германской империи, Вальтер Гропиус младший стал явным советником еще большей империи – Мира Зодчества, уповающий на исключительно творческий поиск в разрешении самых закостенелых и сложных проблем. Следовательно, пропагандирующий не форму-вещь, но метод-мысль.

«В архитектурном образовании обучение методу важнее, нежели чисто профессиональные навыки... Такой педагогический подход вызывает в студентах творческий импульс к соединению в одной задаче архитектурного замысла проекта, конструкции и экономики с учетом предполагаемых социальных результатов».

Словом, задействовать всю выразительно организующую мощь, весь их эмоциональный арсенал архитектуры-дизайна для радикального изменения образа жизни. Определенный романтизм-утопизм таких устремлений не смущает Мастера. Он сохраняет верность рожденной еще в молодости концепции о миропреобразующих возможностях и предназначении архитектуры. Но, конечно же, с позиций гуманизма и социальной справедливости. Эту убежденность он пронес через две мировые войны, которые ему как немцу психологически дались совсем непросто. Да и время между

войнами-бойнями было озарено вовсе не праздничной лучезарностью и далеко не одними только творческими муками...

Первую мировую войну Вальтер Гропиус реально познает уже в 1914 году, будучи призванным на военную службу. За проявленное мужество он удостоивается железным крестом, но остается совершенно раздавленным и обесчещенным поражением своей страны на полях ристалищ и последующими всяческими ее унижениями. Но она же, война, оказалась плодотворным полем для глубокого осмысления своего предыдущего творчества и выстраивания планов на мирное будущее. Так что понятна его решительность возглавить «Баухауз» и тем последовать в общем русле творцов-интеллигентов, вдохновленных экспрессионизмом с его злободневным сопереживанием динамичной действительности.

Однако авангардистские устремления Гропиуса сначала пришлось не по вкусу консервативному обществу, а затем вошли в опасный конфликт с идеологией реваншизма-нацизма. В итоге «Баухауз» покидает свою родину – Веймар – и направляется в вынужденную эмиграцию, в небольшой город Дессау. Однако и там он недолго остается без гонений, ибо *«тотальное произведение искусства»*, ориентированное на свободного и самостоятельного человека не могло ужиться с тоталитарной идеей установившегося режима, тоталитаризмом, основанным на культе вождя-фюрера.

Под его натиском, на глазах Мастера рушится гордое здание-событие «Баухауз». Уже в конце 1932 года Совет самоуправления принимает решение прекратить преподавание в Школе и распустить преподавательский состав. А вскоре, как только к власти приходят национал-социалисты, она категорически закрывается как «заговор», «рассадник гнусного интернационализма», а многие преподаватели жестоко репрессированы.

**Я выстроил свой дом в открытом океане
В нем окна реки что текут из глаз моих
И у подножья стен кишат повсюду спруты
Тройные бьются их сердца и рты стучат в стекло...**

И все это признание серьезного воздействия художеств, а особенно архитектуры на умы-помыслы людей. Это понимали нацисты, отчего сам Гитлер, не лишенный художественных способностей-амбиций, призывает Архитектуру в армию в качестве сподвижника своих имперских амбиций. Неспроста и фаворитом у фюрера становится не военный-идеолог, но архитектор, кстати, также потомственный – Альберт Шпеер. Ему, назначенному главным архитектором Германии, идея установления Третьего рейха и его мирового господства пришла по душе-запросам:

«В то время я ничего не попросил лучше. Это было главным содержанием моих зданий. Они выглядели бы гротескными, если бы Гитлер сидел, не двигаясь, в Германии. Все, что я хотел, было для этого великого человека, чтобы доминировать над земным шаром».

«Его здания» источают надменную несокрушимую статичность, невозмутимость перед временем, безразличие к отдельному человеку и его повседневным нуждам-мечтаниям. Неимоверно огромные, лапидарные, brutальные, «неподъемные» размеры-формы, напоминающие, а главное – явно превосходящие свои древнеримские прототипы. Минимум стекла и света – больше гранита-мрамора, монолитного железобетона и мистического сумрака, настраивающего на аскетическое благоговение-трепет, на хмурую беспощадность к врагам Рейха.

«Легенды новых времен выквакивают пулеметы».

Огромные всепоглощающие и возвышающиеся над городами каски-блиндажи куполов. Застегнутые по самое горло в плотно облегающий солдатский мундир-китель предельно упрощенных стоек-балок. Несоразмерно малые проемы-бойницы «дотов». Грубая каменная кладка с низко нависающими балками дубовых потолков. Такова же и мебель, вся другая аксессуарика подземных бункеров, как бы вывернутых наизнанку и начиненных смертоносной взрывчаткой. Вот оно – воплощение непобедимого «немецкого духа» и величие арийско-нордического характера, тотально презирающего всякое личностное проявление и любые сантименты. Тотаклассицизм, созданный подавлять-угнетать, утверждать-заставлять.

Так что с исповеданием творческой свободы, непринужденного и благонамеренного, всегда с *первоначальной свежестью* поиска, уважительного к повседневным нуждам и мечтанием каждого человека, приветливой открытостью всему миру у Гропиуса не было никаких шансов не только оставить достойное потомство, но даже попросту уцелеть самому.

1934 год. Он обреченно эмигрирует в неизменно консервативный Лондон, который также не горел его начинаниями.

Был еще один вариант – присоединиться к советским единомышленникам. Он даже участвовал в знаменательном конкурсе проектов Дворца Советов в Москве. Однако по его итогам, по судьбе архитекторов – носителей жизнеутверждающих и свободолобивых идей понял, что и на «восточном фронте» идут неприемлемые для него перемены. И он выбирает в конце концов самый дальний западный архитектурный «фронт» – Америку. И там полная-безоговорочная победа.

...В знак того, что он и заокеанская страна сразу нашли общий язык и приняли друг друга, вдохновленный эмигрант строит свой собственный Дом. В данном случае Мастер не прибегал к глубокой мысли – просто строил Дом для свободолобивого человека, реализуя-воплощая свою концепцию-натуру.

«Что касается моей практики, то я построил свой первый дом в США, который был моим собственным домом, исходя из собственной концепции... Я сохранил в здании те черты местной архитектурной традиции, которые я считал еще живыми и адекватными. Этот дом – слияние регионального духа и современного подхода к проектированию...».

Гропиус-Дом удивительно скромного, человеческого масштаба. Он построен из обычного кирпича и деревянных досок местного производства, и... произвел восторг-ажиотаж среди архитектурного сообщества Америки, что в дальнейшем привело к постройке оригинальных авторских Домов сначала в его окружении, а затем и по всей стране. Секрет успеха-фурора был прост – автор, отстаивая свою концепцию жилья, вполне ответил на чаяния самодостаточного человека.

Посмотреть Дом-диковинку собиралась публика уже во время строительства. На сотни километров не было ничего подобного. Значит, не опустел-ничтожился его Дом, ибо не угас солнечный луч, не канул ни в Атлантический океан эмиграции, ни в море переживаний-надежд.

...Неизвестно, навещала ли Мастера в его Доме бывшая в Америке Альма, урожденная Шиндлер. Список ее весьма многочисленных поклонников-любовников-супругов некогда изобиловал известнейшими творянами. Вышла замуж за композитора-дирижера Густава Малера, который был старше ее на 19 лет.

Однако она «не нуждалась в деньгах... Среди знакомых ее мужа попадались интересные люди... не знала ужасов жизни в совместной квартире. Словом... С тех пор, как девятнадцатилетней она вышла замуж и попала в особняк, она не знала счастья... Что нужно было этой женщине, в глазах которой всегда горел какой-то непонятный огонечек... ей нужен был он, мастер, а вовсе не готический особняк, и не отдельный сад, и не деньги» («Мастер и Маргарита»).

Еще при жизни мужа она встретила-увлеклась с юным-будущим Мастером мысли. Было то как раз в том 1910 году, когда Вальтер закончил обстоятельное обучение и приступил исполнять самостоятельную жизнь-поиск. Одно дело управлять оркестром, другое – Домом-Миром, которому хоть на первых порах необходима была Хозяйка. И она стала таковой после кончины Малера. Впрочем, также ненадолго, видимо, убедившись, что Мастер состоялся и сам себе уже хозяин.

Дом-откровение стал визитной карточкой и наглядным учебным пособием новоиспеченного профессора архитектуры Гарвардского университета. В этой ипостаси Гропиус за пятнадцать лет оставляет, пожалуй, самое значимое потомство – целую плеяду-поколение плодovито-домовитых зодчих.

**Мы здесь с тобой без страха и отчаянья в груди
И если нас окопы и эскарпы не спасут и гибель
впереди**

**Мы знаем что другие сменят нас
И наша армия несметная бессмертна.**

Лауреат многочисленных премий, Почетный доктор несметного числа университетов. Его имя связывают с революцией в архитектуре начала XX века. Это также его потомство. Как и творение, наследственно получившее имя – Гропиусштадт, один из районов, выстроенный в 60-х годах по проекту Мастера в родном ему Берлине. В том самом Берлине, где в мрачной тюрьме, похожей на свои же неосуществленные, беспотомственные прожектеты отбывал, можно сказать, пожизненный срок Альберт Шпеер. Ведь он уже окончательно казнен-отправлен в неповторимо-мрачное вчера...

**А завтра все опять повторится
Там на горе опускается вечер
На заколдованный замок
Мы устали сегодня
Но дома
Ужин дымится
А завтра с утра
Мы снова
Займемся своим трудом.**

Пророчество не только в своем отечестве, но и по всему миру. Ибо Время, преисполненное свежестью *перемен*, не стоит на месте. Значит, надо отступать, дабы идти вперед. Так что мы не вправе упрекать Мастера, автора индустриального домостроения, функционально продуманного и экономичного жилья, плоских эксплуатируемых кровель, обильно застекленных фасадов, «строчной застройки», что рьяные эпигоны скомпрометируют и доведут до абсурда его стратегические замыслы перманентного обновления. Так что всяческие суррогаты – отнюдь не его потомство. Ибо так свежо-молодо выглядят-живут даже самые «древние» Дома из немеркнущей блестящего потомства-пророчества многоликой Гропиусиады, источающей первоначальную свежесть живой мысли Мастера.

Дом, который взрастил «просто гений», или Реалии сюрреалиста

На пороге нашего дома
На привычном обличье вещей
На священной волне огня.
Имя твое пишу

П. Элюар

...Он весьма выделялся в бурных творческих вспышках-протуберанцах прошлого столетия. Трудно найти фигуру, столь противоречиво-последовательную, эпатажно-серьезную, чем Сальвадор Дали, художник-гражданин мира. Сам себя он называл «просто гением», хотя многие видели в нем сумасшедшего.

«Разница между мной и сумасшедшим в том, что я не сумасшедший»¹².

И он не родился, а, можно сказать, ворвался в мир, уже подростком познав большой успех своей первой выставки и заявив претензии на выдающееся место под солнцем славы.

«Миру придется немного потесниться, и еще вопрос, вместит ли он гения!».

Однако и мир теснил его суетой, меркантилизмом, почти неменяемой прагмарасчетливостью. Здесь и возник его принципиальный конфликт с противным ему «здравым смыслом» индустриального общества, плодившего безлико-серые толпы-массы. Под фанфары рванувшему в будущее модернизму с его рационалистической одержимостью Дали исповедует вызывающие художественные принципы и ставит несуразные, как могло показаться, задачи.

«Что касается живописи, цель у меня одна: как можно точнее запечатлеть конкретные образы Иррационального».

¹² Здесь и далее курсивом в кавычках откровения Сальвадора Дали из «Дневника гения».

Понимая, что живопись, по определению, полна не сбываемых грез, Дали последовательно и демонстративно зодчествует и здесь выражает образы конкретно иррационально, в пике «современной архитектуре» с ее Домом-машиной.

«Механизм изначально был моим личным врагом».

Дом должен быть уникальным, своим, раскрывающим сущность его хозяина, а не запрограммированным, выстроенным формально-содержательно по «объективно закономерному» алгоритму. Ему подобает, как самой жизни, преисполниться чарующим, удивляющим, а то и шокирующим случаем.

«Я анатомирую случай».

Дали вдохновляла импровизация, буйство воображения и фантазии. Инсценировка с непредсказуемой фабулой и фантазмагорией тем и сюжетов. Это явно видно уже в Пуболе, где он купил старинный заброшенный замок, впоследствии ставший театром. Такая романтично-символичная родословная сооружения изначально привлекла Дали. Импонировала также его отгороженность от мира высокой стеной и решеткой...

Через два года на этом своеобразном острове был создан, точнее, возвращен оазис творческого свободомыслия. Теперь музей-театр – внушительный комплекс с многочисленными переходами и внутренними двориками, галереями, которые сходятся под лучезарным куполом. Сам же музей – вполне живожилой Дом-лабиринт затемненных, разных по размеру комнат, по которым можно кружить до бесконечности, словно погружаясь в зазеркалье полотен Дали. Здесь необычно и сюрреалистично все – домашняя утварь, мебель, зеркала, ваннные комнаты, отделанные золотом, и даже водопроводные краны.

Впрочем, впечатление, что здесь царит сюррохаос обманчиво. Все нашло свое единственное Место и во всем чувствуется-таки безудержная, бунтарская фантазия властного хозяина, умеющего обуздать любую случайность. Все разворачивается по тщательно продуманному сценарию, ибо деталям Дали всегда придавал особое значение. Низенький стеклянный стол на индюшачьих лапах в большой гостиной стоит точно над окном, прорубленным в полу, и сквозь него

просматриваются бывшие конюшни, ныне вместившие художественную галерею. Некий эдем с непуганными слонами и жирафами, изваянными Дали в натуральную величину. У оригинального бассейна – вереница бюстов Вагнера, неслышно, но выразительно исполняют его любимую мифоматическую музыку.

Сюрреалистичный Дом-замок стал сакраментальным подарком для обожаемой им Галы и вскорости вполне заслуженно окрещен был «Дворцом любви». Гала и стала фактически единственной Хозяйкой фантасмагорического сюрробала, Муза театра, в который ее Воланд-Мастер мировой культуры небезуспешно пытался превратить всю свою эксцентричную жизнь.

Ведь было и предчувствие гражданской войны, и была его реальная война с родными, не одобрявшими многие его выходки-поступки, с недоброжелателями и завистниками, личностными драмами, комплексами, амбициями и сомнениями... От этого тягостного спектакля хотелось убежать, в нем требовались спасительные творческие паузы-антракты, покой-уют. И он, мятежный, вместе с вдохновительницей находят успокоение в тихой и укромной бухте Порт-Льигат (PORT LLIGAT). И как знать, не эти ли сдвоенные LL и анаграмма этого названия подсознательно привлекли и навсегда связали два исторических слова DALI и GALA?..

Он нарекал ее «Победоносной богиней», «Еленой Троянской», «Святой Еленой», «Галатеей безмятежной». И в каждом из этих титулов сквозит намек-упоминание на ее исконную магию «одомашнения» мужей с одновременным наставлением на путь Мастера. Некогда перед ее чарами не устоял молодой Поль Элюар.

Муж возвращается с солнца –

Весь он пронизан теплом.

«Здравствуй», – он говорит, и чудо свое обнимает,

И смеется, и входит в дом¹³.

...И вот – Сальвадор. Видимо, она поняла-прочувствовала, что теперь уже именно она нужна ему, ибо Поль уже состо-

¹³ Здесь и далее жирным мнения Поля Элюара.

ялся Поэтом и должная толика страданий-отчаяний ему более необходима.

«После долгой дороги я, может быть, не приду больше к двери, которую оба мы знали так хорошо, я, может быть, не войду больше в комнату, куда столько раз меня завлекало отчаянье и надежда покончить с отчаяньем».

Ведь оно разверзает Пустоту, которую – таково уж призвание Мастера – приходится заполнять всем своим вскрытым талантом-воображением.

«Я упрямо мешаю свой вымысел с грозной реальностью. Пустые дома, я вас заселил идеальными женщинами, ни худыми ни полными, ни блондинками ни брюнетками, ни вздорными ни рассудительными, все это неважно, просто какой-то пустяк делает каждую пленительней всех на земле».

...Она же весьма обрадовалась новому «пустырю». И он был вожделенно найден вместе с Сальвадором – забытый людом песчаный берег, как новоготовое к шедевру полотно, где разве что раскиданные рыбацкие сети свидетельствовали об его относительной обитаемости. Да еще дощатая хижинка, где эти снасти зимовали.

По приезду из Парижа весной 1930 года одержимые домоустройством супруги сразу вселились в эту неказистую лачугу.

«Через две недели я возвращаюсь в Порт-Льигат, где я построил крошечный домик из никеля, стекла и клеенки и в котором собираюсь долго и упорно работать».

Хижина долгие годы перестраивалась по собственному замыслу-проекту художника. Точнее, она росла, распускаясь все новыми непредсказуемыми побегамипристройками.

«Наш дом рос как некая биологическая структура, размножаясь клеточным почкованием. Каждая новая ячейка – это новое помещение, соответствующее очередному подъему нашего жизненного пути».

Со временем – это своеобразное зодческое произрастание, живой организм, состоящий из многочисленных комнат на разных уровнях, соединенных между собой узкими капил-

лярами лестниц-коридоров... В итоге Дом уподобился столь любимому Дали замысловатому лабиринту.

В отличие от роскошного Пуболя, здесь все просто-спокойно, но и добротно-основательно.

Внешне Дом аскетичен, прост, естественен – скромный, почти без проемов белый фасад, как побеленный древесный ствол, в окружении благоухающего сада. Замечательна крыша из красной черепицы, уступами сходящая к морю, и ослепительной белизны ступени лестницы, повторяющие контур крыши. Своей пространственной структурой и оформлением дом постепенно не только сам рос, но и врал в окружающий пейзаж.

Внутри – то же состояние. Стены, беленные известью, терракотовые плиточные полы. Из мебели выделяются деревянные стулья, старый сундук в прихожей. Прямоугольный дубовый стол с двумя железными светильниками в столовой. Две белые гостиные вообще почти без мебели. Несколько ступенек вверх, пара поворотов и предстает уникальная яйцеподобная комната, окрещенная «Яйцом Галы». Единственное ее достояние – огромный круглый белый камин с зеркалом на фронтоне.

Между одиночеством человека и пустыней города было теперь только зеркало.

В нем сюрреалистическое отражение овального пространства, как бы вывороченного наизнанку вместе с пространством мировым. Это впечатление усиливают заморские интерьерные креатуры Галы: подушки сидений из индийского шелка и русский самовар как визитная карточка российской уроженки. И здесь неизбежно видимо-виртуально Она – «Обнаженная Гала смотрит в невидимое зеркало»...

Далее – библиотека Дали, авторская картинная галерея и коллекция удивительно уместных, хотя и парадоксально различно симпатичных безделушек. Это все Она, считающая, что Женщине претит быть обыкновенной домохозяйкой. «Победоносная богиня» много читала-работала на имидж Мастера, блюдя женскую привлекательность до по-

следнего «безделушного» мизинца, инкрустированного достойным маникюром.

Однако в непростые времена – бывали у прославленной четы и такие – они замыкались в спасительном Доме.

«Мы выкручивались благодаря стратегической ловкости Галы. Мы никуда не ходили. Гала сама шила себе платья, а я работал в сто раз больше, чем любой посредственный художник».

...На вершине как психологический апофеоз – спальня. Выдвинутая антресолю в сторону моря, она походит на капитанскую рубку корабля, смотрящую в водные просторы. Видимо, поэтому она явно выделяется изяществом – две огромные, «плывущие» рядом кровати под голубым шелковым небом-балдахином, с солнечно-золотой отделкой и расцветно-закатной розовой вышивкой.

Из коридора налево можно пройти в летнюю столовую – небольшой зал, строгостью отделки напоминающий монастырское помещение. Хотя и здесь не обходится без контрастов импровизации: обеденный стол в форме подковы с керамическим покрытием, подсвечником и бараньими рогами, а на стене голова носорога, украшенная перьями-цветами...

Дом прекрасно гармонирует-сросся с природной средой, несмотря на необычность форм. Он кажется естественным порождением самой земли. В любом другом месте побережья он выглядел бы, пожалуй, нелепо-неуместно. Фактически языческая тема, квазиантичная приверженность Месту, что в ту пору воспринималось анахронизмом.

«Я – последний отголосок античности – стою на самой грани».

И одновременно исполняется тема другая.

На протяжении последующих сорока лет Дом вырос в затайливый лабиринт комнат, лестниц и коридоров, сродни готическому храму, преисполненному мистики. Средневековое зодчество явно интересовало Дали своей неумной подвижностью, динамизмом, непредсказуемостью, как и возвышенностью, символичностью, а также *«морфологической эстетикой твердого и мягкого»*, которая побудила живописца обратиться к опыту своего выдающегося земляка.

«У Гауди эта эстетика обрела архитектурную форму средиземноморской готики».

Содержательность этого замысловатого лабиринта обогащает огромное количество всяких предметов, придающих дому волшебство-очарование переходов и яркую индивидуальность.

Завершение лабиринта – пробитый в скальной породе оштукатуренный коридор, ведущий наверх. Он петляет и поднимается зигзагами. По всей его длине – сетчатые клетки со сверчками. Только так можно войти во внутренний дворик, словно передаточный шлюз перед открытым морем. Укрытый от ветра и сохранявший тепло и после захода солнца он становится любимым местом времяпрепровождения и общения с гостями.

Довольные, что среди ветра и дождя

Нашелся теплый дом, где можно отдохнуть и выпить.

Отсюда, следуя дальше по весьма загадочному лабиринту, понятно, благодаря Нити Галы-Ариадны, достигается выход к оливковой роще-эдему с голубятней Дали-дизайна. Рядом круглая постройка – сцена для разного рода представлений. При помощи специального механизма можно надувать воздушные шары на потолке. Во внешней стене – замурованные глиняные горшки с отверстиями, резонирующие шум ветра-моря. Почти восточная тема единения ветра-воды, фэншуй.

Следуя своему принципу добавления новых деталей, а не отсечения лишних, Дали приживил самые экстравагантные, казалось бы, несовместимые образы. Так, у небольшого храма возле бассейна расположены две фигуры: загадочного вида средневековый алхимик с философским камнем в руке, а у его ног рекламное изображение эмблемы современной фирмы. Именно в этой части дворика чувствуется сильное влияние американского поп-арта на творчество Дали. Здесь же можно видеть один из вариантов дивана в форме женских губ...

На протяжении практически всей жизни Дали Дом не только трансформировался, разрастался, подобно клеточной

структуре, но изменялся соответственно биодуховному ритму его обитателей, оберегая их жизненную энергию-талант. Здесь Дали жил и черпал вдохновение. Ведь Дали как зодчий не повторялся, он просто гениально интерпретировал одну и ту же тему – Жизни, постоянной в своей изменчивости.

«Все у меня переменчиво и все неизменно».

Неизменным осталось разве что яйцо как символ самобытного творческого насеста, начала чего-то непредсказуемого и зачатка нескончаемой жизни.

«Я до неприличия люблю жизнь».

Поэтому он и жил, возвращая свой Дом сразу многими жизнями-умами.

«Особенность моей гениальности состоит в том, что она проистекает от ума. Именно от ума».

Ума тонкого, наблюдательного, позволяющего увидеть весь трагизм настоящей эпохи. Время выбрало его.

Он – Сократ Новейшего времени, без смущения пьющий убийственную цикуту отторжения, ибо его нестерпимо мучила боль непонимания не столько его творчества, сколько существа и последствий насилия над Человеком.

«Всю жизнь моей навязчивой идеей была боль...».

Он – средневековый мистик,

«Я – высшее воплощение сюрреализма – следую традиции испанских мистиков».

И алхимик, нашедший таки «камень мудрости». Поскольку за всеми его сюрреальностями стоят-исполняются глубокие размышления автора о мироздании, в том числе о природе стрекотания сверчков.

Поэтому-то ему оказалось мало быть живописцем, как это считали и возрожденцы, понимающие, что преобразование мира реально подвластно, предназначено зодчеству. И таким образом, прервав средневековую традицию авторской анонимности, они стали титанами, Творцами.

«Думаю, что сейчас у нас Средневековье, но когда-нибудь настанет Возрождение».

Отсюда его Дом – своеобразная ренессансная вилла достойного гражданина, – единственное место, где он, ново-возрожденческий Титан, оставил яркий отпечаток своей жизни и творческого взлета.

...Большое действительно видится на расстоянии, «просто гениальное» – вообще далеко не каждому, но реально умному, чувственному и дальновидному. Дабы понять существо и предназначение, бросившему донкихотский вызов тотальным догматике и консерватизму, лицемерию и безразличию.

«Меня зовут Сальвадором – Спасителем – в знак того, что во времена угрожающей техники и процветания посредственности, которые нам выпала честь претерпевать, я призван спасти искусство от пустоты».

Так что наиболее опасным в итоге выдвинулось ему механо-сборочность мира и Человека.

«Искусством я выправляю себя и заражаю нормальных людей».

Когда функция предопределяла форму, он и форму сделал функциональной, но в том смысле, что она стала служить созданию яркого-сильного, а то и шокирующего впечатления. Однако при всей экстравагантности всяческих деталей, его Дома не снобы – приветливы, сомасштабны, рады человеку.

Они стали предтечей постмодернистского духа, охочего до всяческих исторических реминисценций и эклектики. Хотя никто так, пожалуй, и не превзошел Дали в фантазматичности домостроя. Ведь постмодернизм – также исторический реализм, отчего ему не подняться до истого сюрреализма.

Дали с артистичной легкостью обращается к архаике, Античности, Средневековью, Возрождению – за вечными темами. Так Дали становится культурным явлением, эпохой внутри эпохи.

«Я не сюрреалист, я – сюрреализм».

А его Дом – самым ярким, если не единственным образцом сюрреалистичной архитектуры.

Впрочем, «просто гению» тесны и эти эпохальные рамки.

«Бежать впереди Истории гораздо интереснее, чем описывать ее».

Фактически своим Домом он предрекал и проблемы глобализации, с ее покушением на экологию души-тела, на личностную и национальную культуру. И прекрасно пони-

мал, что человек на Земле конечен, таким же конечным, то есть определенным, конкретным, самостоятельным подобает быть и его Дому.

«Ну, выйдет человечество в космос – и что? На что ему космос, когда не дано вечности?».

Ну что человеку всяческие технические изыски-механизмы, только притупляющие чувство естества Жизни, которую необходимо пройти как уникальный лабиринт, рациональная иррациональность которого состоит в перманентном выборе дальнейшего пути следования. Его важно самому сложить и прочить как увлекательный текст, как дневник гения, уникальность, увлекательность которого невозможно сымитировать безжизненными и, следовательно, безвечными приспособлениями.

С утратой Галы его Дом-мир катастрофически осиротел. Творец забыл свое предназначение, утратил аппетит даже к жизни, а также дар членораздельной речи, стал агрессивным. Окружающие согласились, что гений сошел с ума. Видимо, это был единственный выход.

**Больше выхода нет
Между домами мрак
В каждом окне таракан
Вывеской счастья смерть.**

Посреди зимы 1989 года не стало и Мастера. Некоторые считают, что погиб-сгорел в пожаре своего Дома, не желая покинуть его. Пусть это только легенда, но она знаменательна-символична, ибо акцентирует домоустроительное существо художника. Свидетельствует, что Дали остался жить своим Домом.

«Смерть завораживает меня вечностью».

Дом есть язык Жития, или Проселок поэтических вопрошаний

...Он, изгнанный судьбой и людским варварством из родного дома, вынужденный скитаться по чужим краям, смолоду узнавший горечь отчуждения, но вопреки этому таивший в сердце жажду любви, жажду пробиться из жесткой, сковывающей его оболочки в дружественную стихию...

Гельдерлин «Гиперион»

Отчаянная тревога за судьбу человеческого в человеке послужила появлению и становлению «философии жизни», экзистенциализма, феноменологии. Они – безусловный ответ на вызов индустриально-потребительского общества с его догматом гуманитарного безразличия к миру, с отчуждением человека от его же самости. На это О. Шпенглер среагировал «Закатом Европы», обозначившим антагонизмом Цивилизации и Культуры, приведшим к оскудению картины мира, деградации языка, или, по сути, бытия человеческого. Потому как «лучший способ отобразить крушение общества в кризисную эпоху – это наблюдать за изменениями языка...» (Г.-Г. Гадамер). Признание сего факта не могло не вызвать обильные волны тревожных вопрошаний мировоззренческого, парадигматического характера.

...У Мартина Хайдеггера вопрошание было страстью с детства, а найденные ответы лишь поднимали вопрошания на новую ступень познания Бытия, миропонимания. И умысел этого восхождения все более высвечивался желанием вернуть Жизни ее Тайну, которая на глазах нескольких поколений оказалась на грани исчезновения, словно разгаданная загадка, после чего удручает ощущение лишения сопричастности к волнующим секретам человеческого существования.

Проникновение в кладезь этих секретов стало возможным с реабилитацией уважения к языку. Поскольку всякое по-

нимание, осмысленная ориентация в пространственно-временном континууме, согласно А. Шлееймахеру, должны браться из языка. Так что без языка невозможны ни жизнь, ни сознание, ни мышление, ни чувства – осуществление самого человека-миротворца. Отсюда красноречивое откровение: «Язык есть дом бытия»¹⁴.

Бытие – этот феномен стал для мыслителя сутью его мыслительно-поэтического существа себя-в-мире. Посему-то Бытие, *Dasein*, им трактуется не как сумма-собрание отдельныхностей, «не как бытие-вообще» – но свое собственное.

«Самым чудесным и вечным феноменом является наше собственное бытие. Величайшей тайной для человека является он сам» (Новалис).

Уникальное Бытие человеческое Хайдеггер называл экзистенцией (от лат. *exsistentia* – существование), которая, тем не менее, выявляется не в нигилизме отшельничества, но в фактической жизни, посредством бытия-в-мире, в ситуативности «раскрытия в мире». Тогда-то и дают о себе знать «бытийные черты» – экзистенциалы, которые «надо четко отделять от бытийных определений», именуемых «категориями». Ведь эти, до конца неизъяснимые черты-смыслы врожденны, сродни «априорному знанию» И. Канта, – архетипичны. И только обладая этим уникально-универсальным качеством, «бытийные черты» способны и призваны выказать, предъявить чувству-пониманию все, на что мощны они. А способны они на многое.

«Тот, кто говорит архетипами, глаголет как бы тысячей голосов... он подымает изображаемое им из мира единократного и преходящего в сферу вечного; притом и свою личную судьбу он возвышает до всечеловеческой судьбы...» (К. Г. Юнг).

По заслугам, значит, соответствующие эпитеты-синонимы архетипов: «коллективный осадок исторического прошлого», «коллективное бессознательное», и что особенно важно – «моменты самой жизни», «типичный способ понимания»...

¹⁴ Здесь и далее курсивом выражения, суждения, поэзия М. Хайдеггера.

Так и у Хайдеггера «*бытийные черты*» априорные, конститутивные характеристики конкретного существования человека, среди которых выделяются: бытие-в-мире (In-der-Welt-Sein), бытие-с-другими (Mit-Sein), открытость (Offenheit), расположенность (Befindlichkeit), понимание (Verstehen), речь (Rade).

Речь при этом преподносится вполне традиционно – предполагает произнесение членораздельных звуков, будь то в совершении говорения или временном не совершении – в молчании, или при неспособности к тому – в немоте. И она отождествляется с языком, ибо «язык – это “язык”, исходящее из уст». *«Язык не может реализовать себя иначе, чем через говорящего языком человека».*

Откуда тогда столь, казалось бы, странная метафора, наложенная на язык, ведь «в отличие от обычного дома, язык не воспринимается в самой его сути»? Потому как «язык – это не только совокупность лексики и грамматики, это живая речь», преисполненная богатством интонаций, вариациями и звука-тишины. А Дом как достояние зодчества зримо-осязаемое строение никак не заставить за голошением, не заподозрить в вербальном смысло-воле-изъявлении...

Не является ли это противоречие должным, насущным, выстраданным?..

...Мир детства Мартина Хайдеггера – это маленький покосившийся дом причетника на Церковной площади патриархального католического городка Мескирх. Здесь-тогда отроку завещалось идти-следовать по стопам отца и быть-остаться католическим священником, обитая среди молитв и исповеданий, гласно-негласных нравочений-наставлений из кроткой доверчивости изрекаемого Слова...

Не отходя от Дома, где «*глаза и руки матери были всему границей и пределом*», открывался вид на старинный замок. А от него – на поля, отороченные Проселком, умиротворенным своим извечным странствием по родной близости и вторением натуре местных жителей – алеманам и швабам – с гармоничным сочетанием медлительности, практичности, рассудительности и жизнерадостности, открытости, мечтательности.

Незадолго до переезда в Марбург Хайдеггер приобрел в Тодтнауберге небольшой участок земли, на котором построил весьма скромную «хижину» и так нашел-доверился второй Дом, благоденствующий возможностью уединения, бегства-затаивания от взбалмошного мирского преследования. По времени-сроку «хижина» стала «роддомом» достойного детища – «Бытия и времени».

Узкий круг студентов-адептов «тайного короля философии» допускался в «хижину». Тогда ее, нарочито тесную, как мог, выручал скромный двор. На праздник солнцестояния в долину скатывали огненные колеса, и Хайдеггер напутствовал их крепким словцом. Иногда на лугу выше хижины разжигали огромный костер и молодой профессор, заповедный католик погружал всех в речь, словно жрец-шаман при капище, зачастую отсылая разговор к своим любимым грекам-язычникам, к языку человеколюбивой мудрости...

Поэтому-то так болезненно было в итоге воспринято подавляюще-агрессивные зазывы пылких демагогов, неистовых трибунов, речевателей-глашатаев, наставляющих на единственно правильное магистральное направление в якобы благодатно-светлое будущее с культом машин-автобанов. Явно высвечивались пророческие предупреждения об **«уни-зительном действии машин»**¹⁵.

«Машина безлична; она отнимает у предмета труда его гордость, его индивидуальные достоинства и недостатки... и таким образом как бы лишает его немножко человечности». Прежде всякая вещь **«служила отличием для людей,.. домашняя утварь и одежда были, таким образом, символом взаимной оценки и личных отношений; тогда как в настоящее время мы, по-видимому, живем в анонимном и безличном рабстве».**

В итоге – максимально радикальное заключение: **«Бог убит!.. И мы его убили!».** Это преступление против человечности, провоцирующее равнодушную отчужденность, духовную немощь и потому не имеющее срока давности. *«Убивать – этим подразумевается здесь устранение людьми сущего само по себе сверхчувственного мира».*

¹⁵ Здесь и далее жирным откровения-исповедания Ф. Ницше.

Отклик этому чувству-убеждению Хайдеггер находит в поэтике Гельдерлина, дабы понять сущность «божественного», уже не присутствующего в современной ему жизни-языке, и той «политике», которая надменно возвышается над делами повседневности. В многолетнем страждущем вопрошании к такому Бытию «заброшенности» неминуемо открытие: *«Все временные и пространственные дали сжимаются... Человек преодолевает длиннейшие дистанции за кратчайшее время... Но спешное устранение всех расстояний не приносит с собой никакой близости; ибо близость заключается не в уменьшении отдаленности».* Обнаруживается, казалось бы, парадоксальное: *«из-за устранения больших расстояний все встает в одинаковой дали и одинаковой близости».*

В итоге устраивается «единообразие, где все ни близко, ни далеко, словно лишилось дистанции». При этом близость феноменальна, ибо ее «невозможно непосредственно обнаружить». И только посредством ее возвещения она становится фактической и постигаемой. Поэтому «близко к нам то, что мы обычно называем вещами».

И дабы развить эту мысль до должной увещательности, Хайдеггер не находит ничего более близкого из вещьющего, нежели чаша. И обнаруживает в ней гораздо большее нежели «вещь в качестве емкости», в чем мы убеждаемся всякий раз, когда наполняем чашу, выявляя ее вместительность. Ведь «вещественность емкости покоится вовсе не в материале, из которого она состоит, а во вмещающей пустоте». А она не однозначна, ибо вмещает двояким образом: «примля и содержит». «Поднести чашу – значит одарить кого-то ее содержимым... В подношении полной чаши одновременно пребывают земля и небо, божества и смертные».

Вот только при «научном рассмотрении» наполнение чаши означает смену одного наполнения на другое. Так вещь-чаша делается «чем-то ничтожным, не допуская вещи самой по себе существовать в качестве определяющей действительности».

Научное знание невольно приговаривается как «убийца» слова-языка: оно «уничтожило вещи как таковые... Вещественность вещи остается потаенной, забытой. Существо

вещи никогда не дает о себе знать, т. е. ему не дают слова». И это притом, что замысловатой игре мира «само веществование ладно, и всякая присутствующая вещь легка, неприметно льнет к своему существу. Ладна вещь: чаша и стол, мост и плуг. Но по-своему тоже вещи – ель и пруд, ключ и холм...».

И в этой безмежной череде вещей-вещевателей не назван Дом?! Хотя все бытийственные экзистенциалы присущи ему. Так, искони Дом выдает то, что человек укоренился в Бытии и гордо возвещает о том как о событии бытия-в-мире (In-der-Welt-Sein), бытия-с-другими (Mit-Sein), не смешиваясь и сохраняя свою уникальную вещевательность.

Дом – «глас вопиющего в пустыне», в безмолвии ничейного пространства-времени возвещающий: « Я-семья-род есть-сущий!».

Отсюда «открытость» (Offenheit) Дома как привечание миру и пониманию. Ее экзистенциальный смысл выражен в трех основных экзистенциалах: «расположенность», «понимание», «речь».

«Расположенность» (Befindlichkeit) Дома – обязательность находимости (die Befindlichkeit), пребывания в определенной фактической небесмысленной, следовательно, понимаемой и доступной артикуляции ситуации.

Правда, для выражения всего ситуативно-вещательного содержания Дома априори не хватает слов. Поскольку Дом одновременно про-воз-глашает при-бытие и у-бытие, вы-бытие и за-бытие, не-бытие и со-бытие... И несравненно богаче в выражениях, нежели чаша, ибо бытийствует приемля и содержа, отпуская и сохраняя, провожая и ожидая, надеясь и отчаиваясь, любя и веруя...

В этом и есть феноменальная языковая предрасположенность Дома к неуловимой вибрации воображения и душевных фибр.

«Если мы принимаем развитие языка как факт, то нетрудно будет сказать, что человеческие души – это дар языка человечеству».

Вещающее исполнение Дома есть источник-плод настроения его творца-обитателя, для которого находимость Дома означает сущностно большее, нежели определенность про-

странственно-топографического местоположения. Она отмечается на виртуально-ментальных, образно-символических картах, недоступных близорукой «прозе бытия».

*Но есть поэзия, что мыслит – это
истинная топология у Бытия.
И топология подскажет Бытию,
где его истинное место.*

Или благое Место Дома, вытаскивающее его у-местость не только здесь-и-сейчас, но и где-либо и когда-либо с обозначением себя на хронографических картах как присутствие в разной степени свое-временное и со-временное.

Так Дом подвигает к вопрошанию, никогда не запирая дверь всевозможностям, просвету мысли для своего изменения согласно актуальной воле-промыслу, «*бытийному пониманию*», означающему, что человек «*стоит в открытом проекте бытия... и испытывает такого рода понимание*». Оно же ответно испытывает на способность предвидеть, промыслить, предчувствовать... Дабы принимать решение, которое однонаправлено в «затем», «потом», «тогда», «когда»... – в не заземленное насущным опытом будущее. Распусканием возможностей оно отваживается на темпоральную пролонгацию, на сугубо свой «проект», нежизнеспособный без о-веществления свободы (Freiheit), фундаментального экзистенциала.

Высвобождение будущего подвигается заботой, которая удовлетворительным образом осмысливается только в ее «*экстатическом существе*». В начинании, пред-полагающем некий желанный результат-итог. Движимость озабоченностью – опережение самого себя, в имени чего-либо «*перед собой*» как предполагаемое осуществление. То есть и как оставление-сохранение «*с собой*» некой вещественности, и как покидание-избавление. Забота есть особая требовательность к будущему – чтобы ничто из достойного наличного существа не оказалось на обочине-отбросе в непристойном беспорядке забытья... «*Тогда не хлопотами ли о человеке движима эта наша требовательность к человеческому существу, эта попытка подготовить человека к требованиям бытия?*».

«Уже Сократ всеми своими силами восставал против надменного презрения к человеческому ради человека и любил напоминать людям о настоящем круге их забот и попечении, вспоминая стих Гомера: важно то, и только то, говорил он, “что хорошо и что плохо у меня в доме”».

Дом вызывает к преобразующей активности, будит провидчество-воображение по зову из-будущего-бытия. По требованию «подлинного бытия», которое свершается не по внешнему принуждению, но по внутреннему высвобождению. Иначе говоря, «созданием самого себя» в противостоянии спуду тотальности бытия, одичалости в «общежитии», агрессии «неподлинного бытия», дабы чувства-мысли не зашоривались стереотипами-догматами, непрерывно обогащая самую себя жизнеутверждающим процветанием.

*Как только вещь возникнет
перед нами, и мы в сердцах
услышим мир, мысль расцветет.*

Мысль расцветает, имея пред тем осеменение, произрастание, а после созревания и увядание... Словом, всецело отдается бытийному времени и исполняется экзистенциалом «судьба» (Schicksal), которым живет всякий Дом, надежное хранилище-оранжерея живого языка смелой мысли.

*У мысли смелость вырастет
от приглашенья Бытия. Тогда
язык судьбы поет.*

...Наконец, экзистенциал контрольный – «речь» (Rade). (Любопытно, что на санскрите «Рад» – расти, расцветать, а «Радра» – святой.) Вещевание Дома-судьбы, понятно, не есть натуральная речь как оглашение-артикуляция, обращенная-требуемая экзистенциалы «слушание» и «молчание». Как принимать тогда: «в сердцах слышать мир»?..

Видимо, понимая эту уязвимость языка-речи, Хайдеггер впоследствии выходит на полноту вещевания и смысловыражения. Поэтому жизнь языка толкуется, исходя из его предназначения – обнаруживать (zeigen) себя, приводить к

видимости, показывать, что исходит от старогерманского Sagan – «говорить» (sagen).

В таком контексте Дом говорит себе-собой «полной грудью», «в сердцах» – всей палитрой чувств-ощущений при слушании-молчании. Потому как всей многовещностью своего существа – скрипом крыльца, упругостью порога, тяжестью стен, подвижностью двери, жаром очага, мягкостью одра, вкусом трапезы, запахом постели, тишиной чулана, прозрачностью окна, свежестью сквозняка...

Сюда же сказывается многозначительным помалкиванием пусто-полная чаша, обретая при одомашнении особое звучание-смысл, теплоту и пристойность с экзотическими винами-благовониями и даже с предсказанным подношением цикуты... И это не может не сказаться благотворно на вещевательной жизненности чаши, которая начинает выказывать не только свою статичную пустоту-наполненность, но и поразит многообразной способностью глаголения, шептания-вопиения: опустошаться-пустеть, наполняться-полниться, сохнуть-иссыхать, лить-изливаться... Наконец, уцелевать-разбиваться...

У-вещевательный язык Дома доходчив-внятен, поскольку, как и речь, бытийствует благодаря членораздельности звуков-вещей, каждая из которых имеет свое имя-наречение. Умноженные стилем, манерой, вкусом, заботливостью, привычкой, игрой импровизаций и чудачеств домочадца они обращают Дом в уникальный сказ, художественный факт-пойэсис (греч. – творческое создание), поэтическое откровение, не переводимое ни на какой вербальный язык.

*Не сможет ни один язык
все высказать, что мысль предполагала.*

В таком таинственном ореоле поумолчания бытие и внешне неказистого Дома обретает жизнотворную красоту, уподобляемую прекрасно-загадочному звеняще-тишайшему, зримо-осязаемому сосуду и одновременно «огню, мерцающему в сосуде» (Н. Заболоцкий).

Здесь-то в полной мере и выказывается-исполняется глубинно-поэтическая языковитость молчания-умолчания, не-

договоренности-предсказания Дома. Он как исто-заправский актер умеет держать паузу, заставляя верить-надеяться, что грядет новый поворот его реально-символической судьбы. И тем возвышает таинство до-после первого крика и последнего вдоха. И все это – благодаря неподдельной поэтике Дома, как образа-воплощения изначального мышления, «Dichtung», поэзии как таковой и творчества вообще.

«В жилище языка обитает человек. Мыслители и поэты – хранители этого жилища».

«Поэт постигает природу лучше, нежели разум ученого» (Новалис).

Отсюда еще одно наше вопрошание: почему непосредственно Дом не причислен Хайдеггером к *«ладным вещам»*, подобно чаше, столу, плугу? Они же существуют при Доме, «родные», объединенные в нем-им в качестве сказа, ибо он *«способ события, его мелодия»*.

Впрочем, ее все труднее было различать-наслаждаться в какофонии косноязычных мегаполисов. Ранило это всякую поэтическую натуру, заставляя искать спасения от полного ничто-жения многоголосой *«мирности мира»*.

**Кричат вороны,
И спешно к городу летят.
Зима на троне,
И Родина зовет назад.**

.....

А где нет Родины – там ад.

...Последняя запись Хайдеггера в родном Доме все про то же: *«...необходимо вдумчивое размышление о том, может ли еще – и если да, то как – в эпоху технизированной однообразной всемирной цивилизации существовать родина»*.

Эта забота также ставит перед вопрошанием: *«Когда и каким образом придут вещи как вещи?»*. И оно же выводит на путь возвращения к утраченному Дому-истоку. На единственно-возможный путь – Проселок, неизменный сородич Дома.

Не подменное достояние Проселка – способность-призвание одаривать речью-вещеванием *«мост... ель и пруд, ключ*

и холм...». «Все, что обитает вокруг проселка, он собирает в свои закрома, уделяя всякому идущему положенное ему». Словно заботливый домочадец находит вещам-пожиткам свое место-имя и предназначение.

Зов Проселка утешительный и *«отчетливо внятен»*. *«Говорит ли то душа? Или мир? Или Бог?»*. Но если прислушаться, вдумчиво воображая, то все в-месте – на Проселке, который не ставит, но ведет-за-ставляет, вы-ставляет, на-ставляет, подобно мудрому и немногословному гуру, на путь понимания. Этот неподвластный уразумению феномен подвигает мифологизацию, обожествление чудотворного говорения-вещевания.

«Бог заставляяет нас говорить... Он есть сила, которая в нужное время заставляяет нас говорить и слушать...» (О. Розеншток-Хюсси).

Исключительно жизненная сила, не имеющая трагических разрывов в культуре языка, обращенной к истине, морали, красоте. Ведь в отличие от *«скудоумия животных»* человек богатоумием строит-имеет свой Дом-мир, согласно хрестоматийному утверждению К. Маркса, *«еще и по законам красоты»*. Правда, неведом их свод, но суть априори сводится к исканиям-проявлениям творческой жизни в ауре возвышенного над суетой-сует.

«Кто не живет в возвышенном, как дома, тот воспринимает возвышенное как нечто жуткое и фальшивое».

Проселок движим именно таковой силой, метафизически об-говаривая *«землю и небо, божества и смертных»* вокруг-в Доме, *«жилище самого человека»*, места, где *«обитает истина бытия»*. А оно исполняется наиболее сокровенным для человека, душевно-духовным восхождением жизни-жизненности не к бытию-экзистенции, но к Житию, только и способному алкать свободу, творить судьбу, провозглашая свою жизнь святостью и неизбывной тайной. В этой домовитой среде человек уже отнюдь не секуляризованный жилец, постоялец-съемщик, но путник из вольера проживания на вольность переживания по ниве *«культуро-жизни»* в духовную ойкумену Культуры. Собственно о ней, находящейся по одну сторону с добро-злом, так отчаянно, до буквально-фигурального умопомрачения увещевал мыслитель-лирик:

«Все переживания светились иначе, ибо некое Божество просвечивало из них. Мы заново окрасили вещи, мы непрестанно малюем их – но куда нам все еще до красочного великолепия того старого мастера! – я разумею древнее человечество».

То же разумение преисполняет Проселок, высветляя смысл его жданно-нежданых изворотов-инверсий.

«От распятия, стоящего в поле, она сворачивает к лесу». От культа мученичества и вытравливания права на ересь (др. греч. – выбор, направление). Ибо искони **«настоятельный зов проселка пробуждает в людях вольнолюбие – оно чтит просторы...»**, которые открываются исключительно в житии-вопрошании. Вопрошание – естество человека, его самоценность. «Человек обязан вопрошать, это принадлежит к его существу» (Э. Корет). К существу, которое вопрошает навстречу высвобождению, вольному обитанию в Языке – Доме бытия. Но...

Где найти подходящее, достойное слово, ладный язык, которым исполняется наше Житие как путь-странствие? Поэтому мы предпочитаем доподлинное изъяснение, не на языке, который есть-существует, но на живом-житейском языке. Для этого всякий раз заново бесстрашно открываем двери-ставни Домабытия.

«Человек должен, прежде чем говорить, снова открыться для требования бытия с риском того, что ему мало или редко что удастся говорить в ответ на это требование. Только так слову снова будет подарена драгоценность его существа, а человеку – кров для обитания в истине бытия».

Посему забота Проселком возвращает к житейской ДО-Минанте.

«На что же еще направлена “забота”, как не на возвращение человека его существу?».

Вот только для этого необходим отказ от всего напускного-излишнего. Всей своей житейской мудростью Проселок проникновенно возвещает об отказе, что не отнимает, но одаривает *«неисчерпаемой силой простоты»* и тем *«поселяет в длинной цепи истока»*. Подвигает свернуть с наторенных и заасфальтированных магистралей к естеству Жития, к его вопрошающему достоинству.

«Странствие по пути к достойному вопрошанию – не авантюра, а возвращение домой».

Посему Проселок и «сворачивает к лесу». По «неведомым дорожкам», по следам «невиданных» существ, к мифическим чудесам «избушек на курьих ножках» – к облюбленным смолоду сказаниям-сказкам «Хижины» – прародины мысли-поэзии.

Глухими тропами, среди густой травы,
Уйду бродить я голубыми вечерами;

.....

Мне бесконечная любовь наполнит грудь.

Но буду я молчать и все слова забуду.

Я, как цыган, уйду – все дальше, дальше в путь!

И словно с женщиной, с Природой счастлив буду.

А. Рембо «Предчувствие»

«Верных показателей культуры так мало, что человек должен радоваться, если он имеет хоть один несомненный признак, которым может руководствоваться в домашнем обиходе и при культивировании своего сада».

...Итак, язык охватывает не только то «пространство, внутри которого человек способен соответствовать бытию и его требованиям», но и время, внутри которого человек исполняется Житием, по зову его и чувствуя-ведая про то.

Дом с пожизненно сращенным Проселком вбирают экзистенциально-феноменальную событийность, привнося в мир достойное, внятное про-воз-глашение. Языком синергетики, органично вживляя друг в друга бытие-становление, существование-осуществление, наполнение-исполнение...

В грамматике всякого словесно-понятийного языка эта изродная сращенность выражена сопутствием существительного-глагола. Поэтому есть основание назвать этот фундаментальный «тандем» метаэкзистенциалом.

Тогда Бытие-Время и есть подлинное Житие. И как достояние отдельного человека-в-мире, и как его жизнеописание. Ибо только оно возвышает существование здесь-и-сейчас, и растворяется в священной, неизбывно-бессмертной тайне везде-и-всегда... Поскольку «вещи как вещи» не

приходят без «бодрствования смертных», без вовлечения «объясняющей мысли в память в память».

*Старейшие идут за нами
в наших мыслях, но первыми
их встретим на пути.
Вот почему мысль держится
за прошлое и память.*

«Светлая радость ведения цветет в воздухе проселка» потому, что искони придомашненный Проселок освобождает от угрозы «опредмечивания», отчуждения, одиночества, оторванности от божественной духовности. При нем фатально не обесцвечивается, не замолкает, не тонет в конечности, «забвении бытия» «жизненный мир» (Lebenswelt), который для Э. Гуссерля, учителя Хайдеггера, есть мир всех его и предстает не просто как здесь-сущий, но как горизонт именно моего бытия, моего исполнения-осуществления. Это, по сути, «горизонт всех горизонтов», конкретный мир-реальность всепространственно возможного.

Житие – горизонт всевременных горизонтов, ибо осуществляется не только в «стенах» Дома, что и обеспечивает его уникальность и, следовательно, неслучайность.

Если жизнь не имеет заранее данного, открытого смысла, Житие преисполнено им, правда, неизменно покрытым вуалью «**человеческой, слишком человеческой**», человеко-божественной тайны, не обремененной скудоумной видимостью-очевидностью.

Неистоцима «светлая радость ведения», навеваемая Проселком – только с ним неведом страх смерти-конечности. В его Даоподобной безначальноконечности, убегающей за горизонт ведения, смерть не противопоставляется бытию в качестве небытия. Но принимается освященной Житием его присущностью, как сугубо лично-интимное событие, как подлинное «*бытие перед лицом смерти*».

Проселок источает надежду, возвращение к сугубо своему истоку – к житию-бытию Дома, хранящего на своем пороге и последний вздох-шаг, и первый шаг-крик...

И чтобы не заблудиться на этом возобновляющем приходе, сразу за распятым, близ опушки леса Проселок «при-

вечает высокий дуб, под которым стоит грубо сколоченная скамья».

...В пути скитаний длинном,
Случайный гость чужой семьи,
Забрел он в сад. В саду пустынном,
На ветхом мраморе скамьи –
 Лежала книга. Златом схвачен
Полуистлевший переплет.
Раскрыл: душе глагол прозрачен,
И нов божественный полет.

Новалис

«Глагол прозрачный», проникающий в душу, присущ разве что книге изречений Жития, как «благая весть», Евангелие, что Творец не мертв, но ранен-приболел излечимо...

«С годами дуб... все чаще уводит к воспоминаниям детских игр и первых попыток выбора», словно некогда-давеча ветхозаветное Древо Жизни-Познания, или, одним словом, Жития... На его просторах творяне, мыслители-поэты строят свой Дом, к которому не зарастает житейская тропа.

Такова, видимо, насущная философия Жития.

...Мартин Хайдеггер кротко приклонил свое Житие у родного Дома-истока, будучи, по завещанию, похороненным между отцом-матерью. Возле, пред-за воротами вещего Проселка, в проеме Культуры с прямой речью оглашений, писаний, искусств – во всех интонациях-умолчаниях воли к жизни-власти вопрошаний...

Дом в Саду под Знаменем Мира, или Наггарный проповедник

...когда зовем изучать прошлое,
будем это делать лишь ради будущего
Н. Рерих

Крайне противоречивая «боевая и кипучая» жизнь XX в. одарила нас плеядой выдающихся гуманистов. В этом общечеловеческом сонме яркое место принадлежит уникальной семейной чете Николая и Елены Рерихов, последовательных адептов-подвижников Культуры, единомышленников всемирно значимой концепции русского космизма и всеединства.

Тысячи живописных полотен, сотни философских и поэтических страниц учения «Живая Этика» («Агни-йога»), а также уникальный Дом Рерихов – наследие, привлекающее все большее число ученых, философов-педагогов, художников...

Мемориальный Дом семьи Рерихов не музей в привычном понимании, поскольку принимает не только организованные просветительские экскурсии, но и привлекает страждущих духовной подпитки паломников. Это Храм, дорога к которому, как и полагается, не должна быть прямо-простой, как и познание, творчество, как полнокровная жизнь.

...Узкий, извилистый, сродни ползущей змее, серпантин прижимается к отвесным склонам Гималаев. Русская душа с воспетой любовью к быстрой езде по степям-равнинам здесь невольно робеет, вспоминая «Тише едешь...», рожденное в итальянских горах. Но не остановить ее, ибо восходит она к небольшому индийскому селению Наггар в долине Кулу, называемому аборигенами «русским», над которым под Знаменем Мира умиротворенно возвышается внешне скромный при своем духовном величии Дом.

...Он, будучи почти ровесником будущего друга-хозяина, ждал, пока Рерихи не найдут его, пока не завершатся их мировые турне с первоклассными гостиницами и монголо-тибетские экспедиции с неприглядными палатками, чтобы наверняка убедиться: это именно он, их Дом.

Дом до последнего прижизненного мазка, слова, вздоха оставался верен, да и поныне служит своим Гуру, Учению, Culture и всем ее пилигримам. Находясь у той же, нескончаемой в изгибах и поворотах дороги, он открывается не сразу, будто таясь в чарующем саду, корни которого, кажется, дотянулись в долину к реке и питаются холодными тальми водами чистейших снегов Гималайских гор. Они то и создают ему величественный кокошник, переливающийся в лучах незамутненного мегагородским смогом солнца.

«Парадный» вход представляет собой небольшую галерею с подлинными творениями Николая Константиновича на стенах – многозвучный иконостас безмолвной Вечности. Полотна кажутся открытыми нараспашку окнами-иллюминаторами, поскольку за ними те же чарующие красоты и «глубокий, темный смысл»:

Подобно голосам на дальнем расстоянии,
Когда их стройный хор един, как тень и свет,
Перекликаются звук, запах, форма, цвет,
Глубокий, темный смысл обретшие в слиянье.

Ш. Бодлер

И еще кажутся величественные пейзажи полотна открытыми нараспашку окнами, поскольку за ними те же чарующие красоты и тот же «глубокий, темный смысл». Он усугубляется с подъемом по внешней деревянной под стать Дому лестнице, поднимающей на круговую террасу. И не более, поскольку комнаты второго этажа недоступны сторонним, подобно храмовым «святая святых». Разве что через остекление можно созерцать не потревоженного Духа Единения, медитирующее Учение. И видится, что не мы приникаем к окнам, но сам четырехликий Авалокитешвара с невозмутимой загадочно-джокондовской квадроулыбкой озирает сквозь-поверх нас-смертных все концы-начала Света. Поумалкивая собирает здесь-сейчас все фибры Вселенской

Тишины, что заимствована у Гималаев и, овеществленная Домом, притишает паломников, а также и так отнюдь не шумливый Наггар.

...Как и индуистский Трилока, Дом объединяет три мира, три экзистенциально-символических уровня человеческого бытия.

Первый-срединный, на нем Дом зримо принадлежит и исполняет мир насущности, живого разнообразия и обыкновения повседневности. И свидетель тому автомобиль Dodge 1930 года выпуска, услугами которого по мере надобности пользовался глава семейства, а ныне красующийся слева от главного входа на застекленной веранде. Дом был уверен, что он не станет разлучником и не ревновал к нему, принимая как необходимые недолгие расставания. Поэтому этот почти столетний покоритель Гималаев и сегодня словно в салоне для продажи новых авто.

А рядом с ним многовековая старина – дружное собрание искусно резных камней, некогда служивших прославлению королей-королев, богов-мудрецов долины Кулу. Однако, оставшись не у дел и опасаясь незаслуженного унижения-забытья, они, недолго думая, перебрались наверх под бескорыстную эгиду Дома, под сени огромного Древа, к соседству со всегда заботливо ухоженным капищем, с воистину вечным огнем рукодельных керамических лампад, ненавязчиво указывая путь в нижний, подземно-временной мир-уровень владения Дома.

Узкая и, понятно, извилистая тропинка туда не дает разогнаться и осторожно ниспускает на скромный, но торжественный «палисадник» – к Камню, месту кремации Учителя. Его охраняет весьма внушительная глыба, оповещающая на хинди: «15 декабря 1947 года здесь было предано огню тело Махариши Николая Рериха – великого русского друга Индии. Ом Рам». О себе же монумент скромно, но многозначительно сообщил одной лишь строкой на обратной стороне: «Этот кусок скалы был принесен сюда издалека». И так Дом обретает вид-звучание Собора-собрания реликтов разных культур со многими неожиданными приделами.

«Строитель храма не может ограничивать себя одним камнем, он выберет лучшие из всей природы, и тогда он будет истинным художником»¹⁶.

Приобщая к истинному художеству, Дом из символического глубинного далека продолжает путь вновь ввысь по главной дороге – к калитке в мир «горний», обращенный в будущее, к институту «Урусвати», «Свет утренней звезды», основанному Еленой Рерих...

И этот же принцип Тримутри обнаруживается непосредственно и в Знамени Мира – белое полотнище с красной окружностью и вписанными в нее тремя красными кругами. Ныне уживаются две трактовки этого символа.

Одна настаивает, что это единство прошлого, настоящего и будущего в круге вечности. В ее подтверждение проповедь-напутствие строителям общечеловеческого Дома Мира как поступенного восхождения: *«Из древних чудесных камней сложите ступени грядущего».*

По другой версии – религия, искусство и наука в круге Культуры. Ибо под Знаменем Мира она утверждается в основе своей Эволюции, отрицая-отвергая которую нарушается Космический Закон и невозможно движение *«Мира через Культуру»*, которая *«покоится на Красоте и Знании».*

Так что не Красота сама по себе, но ее осознание спасет мир. Более того, не только спасет, но и придаст ему мощный творческий импульс.

Тем не менее в Знамени выказывает себя и более глубинная тема – единения трех мировых картин мира, философско-религиозных воззрений: монотеистического иудео-христиано-ислама, поли-пантеистического индуисо-язычества и «безбожного» дао-буддизма, объединенных как региональные культуры Культурой общечеловеческой, вселенским Домом бытия.

«Пусть христианин вступает в буддийский храм с трепетом и благоговением: тысячи лет народы Востока, отделенные от очагов христианства пустынями и горными громадами, постигали через мудрость своих учителей истину о других краях мира горнего».

¹⁶ Здесь и далее курсивом – слова-мысли «Агни-йоги», «Живой Этики».

Так что наггарский Дом предстает самобытным обитаемым, а главное, духовным Омфалом, некогда отмечавшим в горах античных Дельф «нулевой километр» ойкумены. И как знать, может он на самом деле отмечает центрально-средний по горизонтали и вертикали пункт могучего континента?..

Наконец, еще одна ассоциация, порождаемая Знаменем Мира – три Дома, что определили судьбу Учения и Наггарной проповеди. Один из них – непосредственно ее красноречивый гималайский глашатай. Ему предшествовал 29-этажный The Master Building – Дом Учителя, или Дом Мастера, событие не только американского, но и всемирного значения. Небоскреб приветливо вобрал в себя Музей Рериха (The Roerich Museum) и Институт объединенных искусств Мастера (The Master Institute of United Arts)... Разочарование пришло, когда они погрузились в коммерцию, априори прохладную к Культуре. И вскорости после торжественного подписания в нем знаменательного культуроохранного Пакта Рериха тогдашне-тамошний президент Ф. Рузвельт объявил приговор главному спонсору проекта: «Рерих нам больше не нужен».

Не нужен он оказался и на исконной тогдарежимной пролеткультовской родине, ибо на все запросы-просьбы дозволения вернуться получает безапелляционную Сталинскую резолюцию: «Не отвечать».

Посему не дождался его родительский Дом в Санкт-Петербурге, откуда пошли многие «молодые повесы». Как не дождался, пожалуй, наиболее памятный и благотворный Дом в провинциально-деревенском Бологом, в томном саду которого он на рубеже столетий «случайно» и навсегда встретил Елену... На рубеже тысячелетий на этом месте восстал, нет, не памятник, но гимн Любви со словами признания: *«...В Бологом, в имени князя П. А. Путятина, я встретил Ладу, спутницу и вдохновительницу. Радость!»*.

Из непроходимого пещью далека принесен сей русскоязычный камень. Из глубовыси времен-чувств, из всеобrazia мыслепереживаний, навеянных архетипическим духом Жены-Матери.

...Он ей писал, чего же более? Он ею для нее писал-жил.

«Творили вместе, и недаром сказано, что произведения должны бы носить два имени – женское и мужское».

«А если бы мы вникли в глубину творчества большинства великих художников, мы убедились бы, что духовное семя их бессмертных творений именно женщиной брошено в глубину их подсознания, в сокровенные творческие тайники» (Ф. Ницше).

Тогда Знамя Мира может знаменовать и «Розу Мира» (Д. Андреев), став ее предтечей, плодородным бутонем с набухшими уже семенами, ожидающими эпохальную «волну женственности».

«Эпоха Матери Мира основана на осознании сердца. Именно, только женщина может решить проблему двух миров. Так можно призывать женщину к пониманию сердцем». Ведь «во всех древнейших религиях женские божества почитались самыми сокровенными. Во главе всего, так сказать, за покровом находится “Вечное и Непрерывающееся Дыхание всего сущего”. Но на плане Проявленного царствует вечно-женственная Природа, или великая Мать Мира».

«Мы должны упасть ниц перед всякой женщиной, будь она в расцвете своей молодости или почтенной старости, красивой или безобразной, доброй или ворчливой» («Коулавили Тантра»).

«Существует древнейшее изречение: “Там, где женщины почитаются и охраняются, там благоденствие царит и боги радуются”».

И есть чему радоваться – богоугодным стремлением человека.

«Человек, как и каждый атом во Вселенной, стремится стать богочеловеком и затем – Богом». Это утверждает весь Восток – «Нет бога или богов, которые не были бы когда-то людьми».

Я так же велик, как Бог
Он так же мал, как и я
Не могу я быть ниже Его
Он не может быть выше меня.

А. Силезиус

«Конечно, теперь пора указать, что Мать общая Владыкам – не символ, но Великое явление Женского Начала, представляющего духовную Мать Христа и Будды. Та, которая учила и рукоположила Их на подвиг».

Об этом и толкует Наггарный проповедник, прославляющий с небесной высоты Землю, в досталь измученную, но сохранившую душецелительную силу-надежду.

«Поистине, местом выздоровления должна еще стать земля! И уже веет вокруг нее новым благоуханием, приносящим исцеление, – и новой надеждой» («Так говорил Заратустра»).

«Возвращайтесь к земле, своей Матери» («Ригведа»).

«Очи увидят вместо терний сад, возросший любовью... Люди должны понять божественность любви в ее высочайшем проявлении и также искать здесь, на Земле, ее отображения».

Поистине, местом благодатной встречи, которое изменить нельзя, ибо им должна стать Земля, верность которой упорно подтверждают все персонажи Рериховских полотен. И к ней подобает, подобно былинному богатырю, уставшему от ристалищ, припасть да набраться Сил для Работы. Преисполнится Ее Вибрациями, дабы очнуться и принять расцвет Сада Мории, Расцвет Бытия.

«Все наше человечество – это место сознательной встречи конечного и бесконечного...» (Шри Ауробиндо).

Тогда Сад Мории уже-еще есть и здесь-теперь, только надо прочувствовать это Мгновение. Тогда в благодатной Тени Сада уже-еще найдет всякий Мастер сам-в-себе-собой свою Маргариту: Тристан – Изольду, Фауст – Гретхен, Данте – Беатриче, Дон-Кихот – Дульсинею, Корчагин – Марту, Шива – Шакти, Онегин – Ларину, Иван-Царевич – Василису Премудрую, Экхарт – Катрей, Рама – Ситу, Дали – Галу... А Николай – Елену.

Ее врожденными стараниями домоправительницы Наггарный проповедник-амвон превратился в краеугольный камень для зачатия мечты и рождения города Знания, международного научно-просветительского центра, словно некой всевременной станции полета, в открытый ею же Космос.

«Мы желаем в этом Городе дать синтез достижений, поэтому все области науки должны быть впоследствии пред-

ставлены в нем. И так как Знание имеет своим источником весь Космос, то и участники станции должны принадлежать всему миру, то есть всем национальностям...».

Не наивное ли это прожектерство и романтические грезы?

«...Но наука идет такими гигантскими шагами вперед, что скоро будет осознана и следующая ступень, именно ступень сотрудничества с Космосом, и тогда космическое сознание перестанет пугать даже самых неученых, а станет явлением обычным, и никакой человек, осознавший свое место в Космосе, не сможет оставаться в своем скворешнике. Тогда наступит и духовное объединение».

И Дом под Знаменем Мира вполне согласен стать таковым «скворешником», коль в нем вызревают крылья, сам дух полета-творчества, проискивающего портал нескончаемо манящей Шамбалы. Правда, оставаясь при этом «приземленным» градом-столицей царства Культуры, чертогом Единения Николаены, панегириком ВсеЕленской Красоты-Мудрости. А также исполнением безначальноконечного пути, который есть-существует, поскольку был-будет, возвращаясь в небылое.

...Возвратный Путь с горных вершин не показался нисхождением, но ведущим по восходящей. И доносилась впереди-сверху Наггарная проповедь Дома, радующая возвращением Рерихов по кругу Знамени Мира в исходно-родной Дом – многочисленными исследовательскими центрами, галереями, музеями, изданиями, репродукциями, новыми поколениями пилигримов-почитателей...

И Путь сей настолько извивный, что движение на прагматичный Запад неминуемо поворачивает на чувственный Восток, чтобы опять-снова...

Звездные руны проснулись.

Бери свое достоянье.

Оружье с собою не нужно.

Обувь покрепче надень.

Подпояшься потуже.

Путь будет наш каменист

Светлеет восток. Нам

пора.

Н. Рерих «Пора»

Род-Дом из любого столетия, или Времяворот у Зазеркального лукоморья

Живите в доме – и не рухнет дом.
Я вызову любое из столетий,
Войду в него и дом построю в нем.
Вот почему со мною ваши дети
И жены ваши за одним столом...

Арсений Тарковский

«Дом искони не стоит-вмещает, но живет-переживается. Причем не в силу его объективных качеств, но со всей страстностью, на какую способно воображение» (Г. Башляр). Вот почему он не поддается никакой квалиметрии. Разве что магическая память да мистические грезы способны хоть как-то поладить с непредсказуемыми и неизъяснимыми откровениями Дома, ибо благодаря только им «дома прошлого бессмертны в нашей душе» (Г. Башляр).

Память-грезы же порой фантазмагорически уносят так далеко в предстоящее прошлое, что кажется, будто отчетливые воспоминания о родном Доме отдаляются от нас в незбыточность. Так что, в конце концов, мы уже сомневаемся, действительно ли мы жили там-тогда, где-когда жили.

Наше воображение вещает о каком-то другом, неведомом мире, преисполненном ирреальностью уже-пока-еще-не. Словно видится в Зеркале, не зря наделенном магическими креативными способностями в демиургических чарах-творениях божественного «театрала» Диониса и его высшей эгиды-покровителя Аполлона, предоставляющего Дом-кров искусствам, врачевателям, переселенцам. И поскольку эта отражающая-преобразующая сила априори божественна, она одаривает погружением-взвятием в нечто необъяснимое, логично-парадоксальное, посему и пожизненно бессмертное.

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,
Жизнь – чудо из чудес, и на колени чуду
Один, как сирота, я сам себя кладу,
Один, среди зеркал – в ограде отражений
Морей и городов, лучащихся в чаду.
И мать в слезах берет ребенка на колени¹⁷.

«Колени матери», ее заботливая теплота – одна из коннотаций все того же исходного, врожденного символа – Дома, который наяву не отпускает человека. Во сне же – это неизбывный персонаж, достойный самой проникновенной поэтики.

Был домик в три оконца
В такой окрашен цвет,
Что даже в спектре солнца
Такого цвета нет.
Он был еще спектральной,
Зеленый до того,
Что я в окошко спальни
Молился на него.
Я верил, что из рая,
Как самый лучший сон...

Так что не следует удивляться, что Дом-сон стал своеобразным художественно-философским генотипом Отца-Сына Тарковских, а также лейтмотивом их послания себе-миру, которое благодаря их неповторимой логосинемагии без крика-надрыва поднимает до религиозных высот тему Дома.

«Дом основополагающ в структуре мира Тарковского. Он овеществляет вечные его темы: род, семья, смена поколений. Понятие “отчий дом” для Тарковского буквально – это дом отца, и это дом, “дом окнами в поле”, а не квартира... Он – часть природной жизни так же, как жизни человеческого духа, их средостение...» (М. Туровская).

Посему всякая одомашненная живность-вещественность – лошадь, собака, яблоко как плод Древа в саду у его домашнего окна – неизменно находят себе место во всех временах-краях, куда успело дотянуться зазеркальное воображение Андрея Тарковского.

¹⁷ Здесь и далее без подписи поэзия Арсения Тарковского.

Причем не в «массовке», не «статистами», ибо одухотворяются, наделяются впечатляющим свечением-смыслом... Андрей едва ли не с буквально-пошаговой точностью повторил отцов путь домосозиденья, фактически отказавшись от дома материального, земного, пожертвовав традиционными семейными отношениями и поглотившись творением-овладением «дома культуры».

Отсюда приснопамятная проблема «отцы – дети» в данном случае не просматривается. Как и сугубо бытовая версия объяснения зеркально-судьбного феномена Тарковских, преисполненного метаниями от бездомья-к-бездомью, от дома-к-дому, в тщетных поисках окончательного духовного, прежде всего успокоения-пристанища.

У еще малолетки Андрея – через уход отца из семьи, сквозь многочисленные перипетии с собственным жильем как на родине, так и в вынужденной эмиграции... Он так и не достроил свой Дом, как мечтал, в родных деревенских краях. Только еще начиналась работа над его новым кино-откровением и легко забывался всякий бытовой домострой. И так чаянно-нечаянным образом входит, точнее, громковейно врывается свежим потоком в уже вполне отлаженный Дом советского кинематографа, где царил типичный порядок «коммуналок», и нравы их обитателей, напрочь испорченных «квартирным вопросом». Где правила исступленная идеология «общего дома», коему надлежит истопленными стараниями платоновских котлованокопателей возвыситься «над всем усадебным дворовым городом», а «малые единоличные дома» обречь на опустение, поскольку их «непроницаемо покроет растительный мир, и там постепенно остановят дыхание исчахшие люди забытого времени»...

Губастые бульдозеры,
Дрожа по-человечьи,
Асфальтовое озеро
Гребут себе под плечи.
Безбровая, безбольная,
Еще в родильной глине,
Встает прямоугольная
Бетонная богиня.

Стихийные массы простого люда, двинувшиеся в революцию, организовано уже начали «постройкой то единое здание, куда войдет на поселение весь местный класс пролетариата». Его дом-казарма – соцреализм, признававший кино «самым важным из искусств», наглядным пропагандистом, избегающим сомнений, кривотолков, домыслов, иллюзий – всех заведомо ложно-вредных воображений. Словом, не иначе как чистое зеркало исключительно великих побед в создании «нового человека». Казалось бы, разрежь-разбей его на кадры-кусочки, будто здание какое на кирпичики да гвоздики, и все станет ясно о его строении. И ясность эту обязаны доносить «рабочие чертежи», по лекалам которых справится всякий мало-мальски грамотный-сообразительный «прораб», нацеленный исключительно на «светлое будущее». Если, конечно, он бодрствует... А тут...

«Мне с удивительной постоянностью снится один и тот же сон. Будто память моя старается напомнить о самом главном и толкает меня на то, чтобы я непременно вернулся в те, до горечи дорогие мне места... И среди высоких берез я вижу двухэтажный деревянный дом. Дом, в котором я родился... И сон этот настолько убедителен и достоверен, что кажется реальнее яви»¹⁸.

Под стать этим впечатлениям-видениям разве что похождения кэрролловской Алисы – сказки-притчи о поиске «своего Дома», соразмерного и приветливого.

– Как хорошо было дома! – думала бедная Алиса. – Там я всегда была одного роста!».

Однако Дом Зазеркалья троллил ее нещадно.

«– Нечего меня заманивать! – сказала Алиса дому, в очередной раз развернувшись к порогу. – Знаю, сначала заманишь меня внутрь, потом в комнату, а там, глядишь, и вытолкнешь обратно сквозь зеркало. И конец приключениям!».

– Опять этот дом! Ну чего ты ко мне привязался? – взмолилась Алиса. – Отстань!¹⁹.

¹⁸ Здесь и далее жирным фрагменты сценарно-литературного наследия Андрея Тарковского.

¹⁹ Здесь и далее курсивом похождения сказочной Алисы, предусмотрительно записанные Льюисом Керроллом в Стране чудес и Зазеркалье.

...Всего семь полнометражных лент-приключений дарованы нам великим художником, и «Зеркало» в его эпицентре. Невольно вспоминается священный ветхозаветный семи-свечник, где отдельные лампадки по обе стороны от срединной соединены между собой явно сакральной связью и так, будто зеркально отражаются друг в друге, будучи одновременно и взаимным зазеркальем. А в нем очевидная реальность облачается в дымчатую мантию сказочной кажимости «КАК БУДТО».

«Давай КАК БУДТО мы умеем входить в зеркало! КАК БУДТО оно сделано из каминного дымка и КАК БУДТО сквозь него можно пройти. Ой, оно и вправду рассеивается, как дымок!..».

Такие сомнительные образы не вписывались в догматику «сияющих высот» и «единственно верного учения», на страже которой, как зеркальное отражение, зорко стояла цензура с ее обязательными к исполнению рекомендациями, неоспариваемыми запретами, издевательским саботажем, вконец науськанными критиками «королевства кривых зеркал».

Вот только восторг детского воображения, незамутненного стереотипами, пробивает и эту застарелую коросту, выходя в неподвластное гонению Зазеркалье.

– Никто не станет гнать меня, как это делают дома. Да и как прогонишь – ведь я ТУТ, а они ТАМ, то есть наоборот. Я ТАМ, а они ТУТ. Впрочем, неважно. Они будут перед зеркалом, а я за зеркалом. Вот удивятся-то!

И это плодотворное удивление завораживает, как необычный вещий сон, и рядового зрителя, и великих мастеров.

«Фильм, если это не документ, – это сон, греза. Поэтому Тарковский – самый великий из всех. Для него сновидения самоочевидны, он ничего не объясняет, да что, кстати сказать, ему объяснять? Он – ясновидец, сумевший воплотить свои видения...» (Ингмар Бергман).

Как истый маг он превращает киноэкран в реально-фантастическое Зазеркалье. Ведь его произведения демонстрируются-показываются не как «настенное» зрелище, но предлагаются-служат порталом в безвременье, как во вселенское безграничье, только и знающее, что расширяться

вокруг некой «домашней» точки. Отсюда обожествление не увенченного трехмерностью пространства, но всевбирающей у-вечности Времени. Посему Дом Тарковских живет не прозаическим показом очевидности, но зиждется-исполняется поэтикой символизма, испитого из первозданно-ювенильных глубин-высот памяти-грез. И, конечно же, снов, где Время и вовсе высвобождается от своей постылой прямолинейности и необратимости.

«В мире сновидений время течет в обратном направлении (из будущего в прошлое)».

Это наблюдение Павла Флоренского записал в своем «Мартирологе» Андрей Тарковский, и далее только развивал-выражал эту, явно покорившую его тему.

«Меня уже много лет мучает уверенность, что самые невероятные открытия ждут человека в сфере Времени. Мы меньше всего знаем о времени».

Но этот «печальный» факт только радует и возбуждает воображение, окуная в неподвластную логике и «здравому смыслу» сказку с ее прямоотой-обратностями.

– Жить обратно! – воскликнула Алиса. – Я не сумею!

– Зато, – продолжала Королева, – всегда помнишь, что будет ПОТОМ... Просто мы с тобой живем в РАЗНЫЕ стороны. Ты – туда, а я – обратно... Это все потому, что ЗДЕСЬ тебе приходится жить не туда, а обратно.

– У меня в голове от всего этого ужасная путаница! – пожаловалась Алиса. Поначалу у всех голова идет кругом, – утешила ее Королева.

Именно сей головокружительный эффект зазывает в виртуальную, никак не материализуемую пучину-водопад Времени. В кино собственно и идут за временем: за потерянным ли или за упущенным, или за необретенным доселе (А. Базен «Что такое кино?»).

Иными словами, за его всякий раз неповторимыми, великими образами-смыслами, имеющими темпоральную смычку предыстории-последствия, воспоминания-мечты. Ведь наше переживание образа никогда не является первым, и каждый великий образ имеет неизмеримую онирическую глубину, и наше личное прошлое накладывает особые краски на этот ирреальный фон. Поэтому-то подлинное благого-

вление перед образом приходит лишь с открытием его корней за пределами запечатлевшейся в памяти истории (Г. Башляр).

Онирический фон, навеваемый сновидениями, напрямую отсылает к психоаналитике, архетипическому миру человека. А там он сначала обязательно отыщет естественный водоток – наиболее выразительный символ тока Времени-Жизни.

В Доме Тарковских Время вливается со строк-кадров многоликими и многозначительными, но вполне одомашненными проистечениями. То внезапными, просветленными ливнями, то загадочной капелью.

Как в детском сне Ивана, омывая грузовик с яблоками, среди которых упивались безоблачным детством мальчуган с девчушкой, чем-то похожей на сказочную Алису.

Как в «Андрее Рублеве», загоня прославленного богомаза в деревенский сарай, ставший надежным кровом для размышлений.

Как в «Солярисе», беззаботно изливаясь прямо с потолка на спину воспроизведенного из памяти отца-звездолетчика.

Как в «Сталкере», став охлаждающим пыл-страсти занавесом и непреодолимым Рубиконом у комнаты Счастья явно нежилого Дома. А сначала-затем пополняя природночистый ток, что пропитывает, наверное, всю мистическую всевременную Зону, консервирует в себе наносы-подношения всяческой домашней утвари, противясь превращаться в Лету. Так что по нему бесстрастно бегают невесты откуда-куда явно неприкаянно обездомашненный пес, не обращая внимания на не столь бездомных в своих исканиях пришельцев.

Как в «Ностальгии», тоскливо и предупредительно заливая гостиничный номер Горчакова, выгоняя его из чуждого зарубежья восвояси родного Дома.

Как в «Жертвоприношении», затапливая тревожно укрытие Доменико, намекая на грядущий, неминуемый и неукротимый пожар вожделенного Дома.

Наконец, как в центральном сюжете киносемиричности – «Зеркале», настойчивым дождем подгоняя мать на возвратной дороге к Дому...

И всем этим небесным водам предшествовала вода, прямотекущая из безоблачного детства, – придомоколодезная. И образовала при этом метафизическое зеркало-телескоп, отображая голографический образ временной глубины-выси в детстве Ивана.

– **Глубоко!**

– **Конечно.**

– **Если колодец очень глубокий, даже в самый солнечный день в нем можно видеть звезду.**

– **Какую звезду?**

– **Любую.**

– **Вижу, мама, вижу!**

– **Да, да, вон она.**

– **А почему она?**

– **Потому что для нее сейчас ночь.**

...Так же ночью ушел Иван-мальчишка в последнюю разведку по безжизненно застойным и посмертнотопким водам...

А я лежу на дне речном
И вижу из воды
Далекий свет, высокий дом,
Зеленый луч звезды.

Смотреть-видеть «как в воду» – дар-призвание истого поэта-режиссера, который, еще не умея плавать, уже бесстрашно нырял в благолонные воды матери-природы, в купель сновидений. Подобно всем нормальным детям и, конечно же, впечатлительной Алисе.

«Алиса не успела опомниться, как полетела куда-то вниз, точно в глубокий колодец... Внизу ей разглядеть ничего не удалось: сплошная чернота – тогда она стала рассматривать стены колодца. Ее взору предстали шкафы с книгами и полки с посудой и, что уже совсем удивительно, – географические карты и картины».

Простые вещи – таз, кувшин, – когда
Стояла между нами, как на страже,
Слоистая и твердая вода.
Нас повело неведомо куда.

А нас – к существованию Дома Тарковских, чужающегося не только снобистской роскоши, но и вполне безобидной модности, изысканности, профессиональной дизайнерской продуманности. Вещное наполнение его интерьеров действительно просто-естественно, с нескрываемой долей беспорядка, стихийности-жизненности, которые предстают таковыми лишь со стороны. На самом деле «предметы переглядываются между собой, сковывают друг друга, образуя скорее моральное, чем пространственное единство». Или «особый организм, построенный на патриархальных отношениях традиции и авторитета». Поэтому его «специфическое пространство мало зависит от объективной расстановки вещей», ибо каждая из них и все вместе исполняют «отношения между людьми» – потребность-способность «заселять пространство, где они живут» и претворять его «одушевленным» (Ж. Бодрийяр). Именно через «простые вещи», «регулярную последовательность поступков» (О. Больнов) каждый Дом Тарковских провозглашает свою неизбывную темпоральную сущность.

Так, в обыкновенное ведро с колодезной водой Иван будет беспечно смотреться, как в волшебное зеркало, радостно заигрывая с солнечными бликами-зайчиками. А Малыш в завершение киносептемологии, в итоге огненного «Жертвоприношения» несет в нем «живую воду» для сухого Древа.

Зловещий образ мертвого дерева присутствует в первом-последнем Доме. Метафора «Иванова детства» – черный, скрюченный ствол-обрубок, словно насмерть опаленная душа, и трагично-мрачная кончина изначально цветущего яблоневого сада с кукушкой.

И он же – ориентир-судьба для юного разведчика, отважно преодолевающего водораздел между жизнью-смертью: **«...у сухого дерева к берегу подойти не мог. Говорит, немцев там полно».**

«Жизнь заключает в себя смерть. Образ же жизни или исключает ее, или рассматривает ее как единственную возможность для утверждения жизни».

Так и потерявший рассудок старик на пепелище деревни отчаянно алчет перед также весьма «обожженным» Иваном

возрождения Дома – без устали ищет выдержавшие пожара
рище гвозди.

**«...И где он делся? Был только что. Длинный такой...
И только почерневшие от копоти-горя трубы печные
траурно окружают его, взлохмаченного, словно пламе-
нем подхваченного. (В бронзе, видится, он запечатлен в
«Хатыни».) А печь завсегда остается. Ее огонь не берет.
Вот, нашел, прямой... У меня старуху тоже немец рас-
стрелял... Пелагея, значит, вернется... Так мою старуху
звали. А я избу подготавливаю»...**

...Финал «Жертвоприношения». Маленький сын Алек-
сандра пытается вернуть к жизни Древо, которое в ипоста-
си Дома, по обету своему сакрально-отчаянному сжег его
отец. Не отсюда ли Дом «Зеркала» живет-произрастает в
окружении высоченных сосен, что шумят-качаются, пред-
ставляя собой какую-то загадочную первозданную ипо-
стась-материю жизни?

Привет тебе, высокий ствол и ветви
Упругие, с листвой зелено-ржавой,
Таинственное дерево, откуда
Ко мне слетает птица первой ноты.

Да и сам Дом – добротный бревенчатый сруб, источаю-
щий нерушимую гармонию в родном ему мире-среде. Он
вневременной, ибо живет естеством своим искони бес-
смертным. Тем и вдохновляет поэтическую душу на созид-
дение арт-образов.

**«Художественный образ – это образ, обеспечиваю-
щий ему развитие самого себя, его исторической пер-
спективы. Следственно, образ – это зерно, это само-
развивающийся организм с обратной связью. Это сим-
вол самой жизни, в отличие от самой жизни».**

Тогда он – живой символ вечный, насколько вечна сама
жизнь-киносага. Пусть и вялотекущая она кажется, скучно-
ватой даже, зато приглашает подняться над суетой и не-
спешно осмотреться по сторонам, проникнуться всякой ве-
щью вещной, окунуться во времяворот фантазий-открове-
ний. Чтобы снова взобраться-взмыть по безначальноконеч-

ному древу-лестнице и смочь-успеть повсмотреться в бездну самого себя.

Древо-лестница – одна из универсальных мифологем, отсылающая к образу Мирового Древа, – оси мира, соединяющей миры-времена, и далее по руслу коннотаций к феномену принципиального места-события, духовного восхождения. Вот и ветхозаветный Иаков «увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней...» (Быт. 28:12).

«...Тут еще столько надо успеть. Обежать все комнаты. Заглянуть в сад! Алиса опрометью бросилась из Зазеркальной комнаты, вылетела на лестницу и... полетела! Да-да, самым настоящим образом!... Она парила над перилами, едва касаясь их пальцами».

«Мне никто не верит, когда я говорю, что помню себя в полтора года. А я действительно помню лестницу с террасы, сиреневый куст... и такой солнечный, солнечный день...».

В черный день является она же – лестница теней с последней прижизненной ступенью.

...больше нет ступени
И тени спрячут нас.
Еще ребенком я оплакал эту
Высокую, мне родственную тень,
Чтоб, вслед за ней пройдя по белу свету,
Благословить последнюю ступень.

Она как обрыв, полет в пропасть, или, как у Ивана, в черное жерло неудержимо затмевающего весь экран выжженного Древа, что как будто дожидалось его на самом краю судьбного лукоморья. Как безвозвратная утрата Дома-Жизни. Но и преодоления Смерти тоже. Видимо, и поэтому все Дома Тарковских исключительно из тепложивого Древа, искони готового к огненному самопожертвованию во благо Жизни.

...«Жертвоприношение» зачинается с притчи о монахе, что посадил сухое дерево на горе.

«...А своему послушнику Иоанну велел поливать его каждый день до тех пор, пока оно не оживет. И вот, каждое утро на заре Иоанн наполнял ведро водой и отправлялся в путь. Он взбирался на гору и поливал сухой ствол... И так продолжалось целых три года. Но в один прекрасный день Иоанн поднялся на гору и увидел, что его дерево все покрыто цветами!».

Этими благословенными словами пожилой уже «монах» Александер обращается к своему сыну-подростку – Мальшу. При этом вспоминает, как ему пригляделся «дом под соснами у самого берега!». Как в этом доме родился он, его замкнутый странным аутизмом «послушник» Малыш. Как подумалось, что если жить здесь, именно здесь, «то и после смерти можно было бы быть счастливым!».

Иван-Иоанн – что это, если не зеркальное откровение начала-конца общечеловеческой драмы, автобиографично отраженной в срединном «Зеркале»? Отроки словно пристально смотрят сквозь него друг-другом в себя...

...Персей с помощью подаренного Афиной отполированного щита-зеркала убивает Горгону – чудовище, непосредственный взгляд на которое смертелен для человека. Из поверженного тела рождается крылатый конь Пегас, прилетающий за вдохновением к живительному источнику. Иными словами, Зеркало помогает смертным противостоять-бороться со всем «нечеловеческим», предотвращая губительную встречу «лицом к лицу», «с глазу на глаз». Однако глаз человеческий неотвратимо ищет подобного себе и не просто так. Ведь, согласно античной мудрости, подобно тому как глаз, отражаясь в глазах другого, позволяет-подвигает увидеть себя, так и познающая самое себя душа обязана заглянуть в иную душу и отразиться, как в зеркале, и именно в той ее части, которая наиболее подобна божественному: «... и тот, кто всматривается в нее и познает все божественное – бога и разум, таким образом лучше всего познает самого себя» (Danilova Nika «Зеркало Absoluta»).

Примечательна поэтому символическая эволюция ювенильно-мальчишеского взгляда, «зеркала души», в токе киносаги: от молящего-клянущего у отвоевывающего свой Дом Ивана, через безысходно-потупленного у неприкаянного Иг-

ната, до сначала безразличного, а в финале чуть просветленного внебосмотрящего у Малыша.

Сему преобразованию послужил убийственный «подарок» ко дню рождения Александера – весть о начале смертельного побоища в общепланетарном Доме, после чего он впервые обращается к Богу с клятвой-зароком сжечь Дом, бросить семью, отказаться от сына, стать немым, чтобы только избавиться от наступившей катастрофы.

И тут явно не от мира сего, из Зазеркалья предстает-спускается посланник-ангел в облике Почтальона, **«коллекционера, в некотором роде»** – **«собирателя событий»**, которые **«считаются необъяснимыми, но правдивые»**. Он-то и предлагает отчаявшемуся Александеру **«лечь с Марией»**:

– Как это лечь с Марией?

– Все очень просто, она живет одна и если ты загадаешь всего лишь одно желание, чтобы всему этому пришел конец, так и будет...

И на другом конце-начале Зеркала, в «Ивановом детстве» невинная, нецелованная девушка, также бескорыстный служитель-целитель – лейтенант медицинской службы: **«Маша. Красивое имя»**.

...Пробудившись утром, Александер обнаруживает, что все вернулось, как хотелось-грезилось, на мирные домокруги своя. Но... обет, данный Богу! И он решительно поджигает Дом, купленный им у крутого, возможно, последнего лукоморья времен. И так исполняет свой завет-клятву: спасительно выгорает его Дом, а фактически он сам, не выдержав напряжения суисудьбного жертвовыношения и найдя «вечный» покой», судя по всему, в доме умасамолишенных...

Хотя Дом-жертва не отличался счастьем-гармонией. Оттого и терзала Александера душевная туга-мука – разобщенностью с миром и трагическим одиночеством. Она лишь усиливалась не столько разладом с женой, сколько молчанием-немотой сына Малыша. У этой нарочитой безымянности объяснение опять-таки «домашнее». Имя человека – гарант его сопринадлежности к устойчивому при всех каверзах-напастях Дому, в этой связи также безымянному.

– Часть крыши унесло, и в дом набился гром! Он раска-
тывался по всем комнатам, сшибая столы и стулья! Я так
испугалась, что собственное имя забыла!

– В такую минуту я бы и не пыталась его вспомнить! –
подумала Алиса.

Так что причина молчаливой неприкаянности Мальша проглядывается в зазеркалье современного ему мироустрой-
ства, которое явно неприемлемо детскому существу своей
убогой алчностью и меркантильностью. Видимо, поэтому он
был равнодушен к отцетворному пожарищу, к огню не
столько уничтожающему, сколько очистительно воскреша-
ющему. Ведь «поджигатель» априори признавался себе-
сыну:

**«Человек всегда защищался от других людей, от при-
роды, частью которой является сам. И он постоянно
насиловал природу, а результат этого – цивилизация,
основанная на силе, власти, страхе и зависимости!
И если это действительно так, то вся наша цивилиза-
ция, от начала до конца, зиждется на грехе!.. Что-то в
корне неправильно, мой мальчик».**

И здесь причины явны-ясны, они, как в неподкупно чи-
стом зеркале, отражаются в удушении природного, жено-
материнского, жизнедарующего начала – кроткозаботливой
Культуры, что оказалась бессильной перед агрессией маску-
линной Цивилизации-Горгоны, утратившей питательную
связь с глубинными корнями человеческого естества.

Поэтому спасает общечеловеческий Дом, не охочий до
кровавых жертвоприношений Господь, но, по сути, до-
патриархальная Мария, обладательница особых свойств и
хранительница ритуально-традиционного, мистико-магиче-
ского Дома. Знаменательное отражение актуальных неоязы-
ческих идей, отсылающих к мифологеме «вечного возвра-
щения», к «живому и говорящему Космосу» (М. Элиаде).
И, конечно же, к многоцветию «Розы Мира» (Д. Андреев),
вдохновленно «вращенной» за многие годы в сумрачных
казематах воинствующеатеистического «казенного дома».

С ней Андрей Тарковский мог познакомиться разве что понаслышке, в приснопамятном самиздате. Однако поражает созвучие идей, отраженных в зеркалах философско-художественных мыслей-текстов.

«...От гностиков до христианских мыслителей начала XX века в христианстве жило смутное, но горячее, настойчивое чувство Мирового Женственного Начала – чувство, что Начало это есть не иллюзия, не перенесение человеческих категорий на план космический, но высшая духовная реальность. Но то мистическое чувство, о котором я говорю, – чувство Вечной Женственности как начала космического, божественного, – осталось неудовлетворенным» (Д. Андреев «Роза Мира»).

«Волны Мировой Женственности» (Д. Андреев) и возносят Марию-ведьму в качестве мессии по новейшему Завету.

«Я заключаю новый договор с миром...».

С божественным Естеством, к которому приник Александер в девственно-натуральном обиталище Марии – **«старый деревянный дом с заброшенным двором, поросшим сорняком и крапивой, а в траве, под цветущим кустом черемухи...».** Особая, легкая стихия «дикого» первобытия.

...Ты была
Смелей и легче птичьего крыла,
По лестнице, как головокруженье,
Через ступень сбегала и вела
Сквозь влажную сирень в свои владенья
С той стороны зеркального стекла.

С подобным «запустением» некогда взялся покончить Александер в новокупленном комфортабельном доме.

«Однажды я решил привести все в порядок, я имею в виду, в саду. Постричь газоны, сжечь траву, подрезать деревья... Куда исчезло все прекрасное?! Все естественное! Это было так отвратительно! Все эти следы насилия!».

Прозревает, пробуждается Александер от сладостного и в то же время беспокойного сна, навеянного искусственностью имитаций-симулякров и тревожащего возвратно зовущую ностальгию.

«Люди должны вернуться к единству, а не оставаться разьединенными. Достаточно присмотреться к природе, чтобы понять, что жизнь проста. И нужно лишь вернуться туда, где вы вступили на ложный путь. Нужно вернуться к истокам жизни. И стараться не замути́ть воду» («Ностальгия»).

Ностальгия по Дому – «ностальгия по настоящему» (А. Вознесенский) – по настоящему Дому, то есть родному, априори святому во всем его бессознательно-разумном, метафизически-реальном воображении-воплощении.

«Где я, если я не в реальности и не в своем воображении».

Следовательно, не запечатлевал-припечатывал режиссер-поэт Время, как полагают иные, но воспевал его, давал возможность жить, творить-грезить на волнах времяворотной памяти и вольно уживаться своим Домом в любом из столетий-эпох. То есть не экранизировал, но зеркализировал самое для него сокровенное, видимо, пытаясь довысмотреться в самого себя, незримо глядя на нас с экрана-полотна неочевидностей.

«Понятно, что система, тяготеющая к исчислимости простых и однородных элементов, стремится устранить даже малейшие признаки такого внутреннего свечения вещей, символически обволакивающих взором или желанием» (Ж. Бодрийяр).

Именно Дом из такой, чуждой системы-чужбины был приговорен к небытию в «Ностальгии».

«...Одна служанка в Милане подожгла дом своих хозяев... Из-за ностальгии. Она хотела вернуться в Калабрию, к своим родным. Вот и подожгла дом, который мешал исполнению ее желания».

Подспудное устойчивое желание, как неизменно неотступен и эсхатологический страх индивидуальнообщего уничтожения во времявороте бедствий-катастроф. Между двумя мировыми пожарами – Вторым и Третьим, по всей видимости, окончательно Последним.

О том же исповедует и Зона голосом жены Сталкера, цитируя «Апокалипсис» о снятии ангелом семи сокровенных печатей судьбоносной Тайны, и каждый раз с тревогой

ожидаю добровольного проводника за «несчастьем» в их, также, кажется, опаленном изнутри Доме у лукоморья насмерть отравленного водовремяма.

Не собственным ли отчаянным самопожертвованием, выстраданным заветом за семью неисчерпаемыми в их вытаскивании кинолентами остановил Андрей Тарковский всемирную катастрофу? Не стал ли он для всех нас странноватым Почтальоном из иных, только ему и видимых зазеркальных времен-событий.

«Иди и смотри!».

...Сомнение в ненормальности происходящего зарождается вместе с проблесками самосознания, еще на исходном берегу-краешке судьбы.

О судьбах наших нет еще и речи,
Нас дома ждет парное молоко,
И бабочки садятся нам на плечи,
И ласточки летают высоко.
Воздух детства и отчего дома...

Утопическая попытка вернуться в природу-деревню как в материнское лоно, когда хоть и нищенски убогой была жизнь, но в ней сохранялось чувство безопасности, обеспеченное неусыпным бдением, непрестанной заботой Матери и потому врожденной эмпатией к миру. Его режиссеру удалось пронести через всю свою сознательную жизнь. И он подолгу уходил в наблюдение за жизнью Дома, упиваясь разводами какой-нибудь старой-престарой стены, или за древесными морщинами, или за игрой теней, или неистово следил за «внутренней жизнью» жука, ползущего из неизвестности в неизвестность...

Великая благодать непосредственно-детского видения-воображения – живое удивление чудным естеством, которое никогда не пресыщается и привлекает исключительно жизнерадостностью.

Бегут, струятся, как вода,
Беспечно день за днем.
Пройдут года, и навсегда
Уснем последним сном.
Но мы, как дети, гоним прочь
Противный сон и злую ночь.

«Я жду и не могу дождаться этого сна, в котором я опять увижу себя ребенком и снова почувствую себя счастливым оттого, что все впереди, еще все возможно».

Однако возможно разве что в лоно Культуры-Искусства, поскольку только оно и дарует переживание еще не испытанного, потому как «искусство – это вторая жизнь» (Ю. Лотман). Оно восполняет жизнь «первую» образами-смыслами небезнадежного бытия.

«Сам по себе художественный образ – это выражение надежды, пафос веры, чего бы он ни выражал – даже гибель человека. Само по себе творчество – это уже отрицание смерти».

Сообща такие образы неисчислимыми ручейками сперва подспудно сочатся, а затем сливаются в единое полноводное русло, образуя воистину божественное море.

Море Богу,
И дети Богу.
А после на небо переселились,
оттуда брызгали дождем
и вырос на месте дождливом дом.
Жил дом хорошо.
Учил он двери и окна играть,
в берег, в бессмертие, в сон, и в тетрадь.

А. Введенский

«Мне кажется, такое искусство, мужественное своим бесстрашием и женственное своим любвеобилием, мудрое сочетание радости и нежности к людям и к миру с зорким познанием его темных глубин, можно было бы назвать сквозящим реализмом или метареализмом» (Д. Андреев «Роза мира»).

Оно волшебным «живым зеркалом» (Н. Кузанский) ярко и убедительно отражает то, на что философы исписывают тома, противопоставляя Цивилизацию и Культуру и ища способы их примирения.

«Следовательно, оно оптимистично, даже если в конечном смысле художник трагичен».

Обладая таким возвышенно драматичным мышлением-переживанием, а также умением художественно сослагать,

не гадая, но предвидя, предтечествуя, пророчествуя, проникая в сослагательное наклонение истории, давали режиссеру возможность заглянуть в Запределье и, отвечая на вопрос, считает ли он себя бессмертным, ответить: «Да, считаю». Под этим можно понимать традиционную окончательную режиссерскую реплику: «Всем спасибо. Все свободны»...

Так же посчитает всякий, кто еще не оставил Род-Дом свой – детство. Андрею Тарковскому посчастливилось-угораздило задержаться-остаться там, видимо, навсегда. Будучи уже зрелым мастером, он подолгу, как дитя, играл в ручьи, запруды, дамбы, протоки, озерца, в сады камней или вообще в никому не понятные игры где-нибудь на опушке леса или у речной пустынной излучины. Словом, невольно уподобляясь старинным женщинам-прорицательницам, видящим потаенно-сокровенное в природных зеркалах водоворотов.

Верный пиит Дома жертвенно «сторе» у лукоморья Культуры в режиме реально-виртуального времени, приняв на себя грех, «смертельную болезнь бездуховности», драму всеобщей одичалости-бездомности...

...А нынче день, и за окном
Сугробы намело.
В уютном доме с камельком
Надежно и тепло.
И сказка снова потечет,
И новым дням начнется счет.

Здесь знаменательно признание философствующих антропологов и обществоведов, что при обращении от логических, умозрительных картин к «образам, настоятельно побуждающим углубиться в воспоминания о более далеком прошлом», поэты остаются их наставниками.

«Как убедительно они доказывают, что навеки потерянные дома продолжают жить в нас. Стремление дома выжить в нашей душе так упорно, словно он ждет, что мы продлим его реальное бытие. Насколько лучше могли бы мы жить в нем!» (Г. Башляр).

«Оптимистический экзистенциализм» также полагает долженствование «считаться с тем, что поэты в очень глубоком смысле подготавливают пути последующего философ-

ского развития, потому что они менее всего обременены громоздкостью системного мышления и беззаботны в вопросах строгого обоснования». Развеиваются сомнения, «что в наше время, главным образом в поэзии, наметилось зарождение такого чувства благодарной укрытости бытия». А оно родилось из гнетущего чувства нечаянного изгойства, одичалости, обезкровливания, означает утрату доверия, понимаемого не как доверие к некоему определенному бытию или человеку, а о доверии, вверении миру и к жизни вообще. «Доверие это возникает в процессе самой жизни из чувства глубокой укрытости» (О. Больнов).

Магическая атмосфера доверия принципиально важна по рождению с малолетства, будучи условием, без которого он, несмотря на благоприятность всех иных внешних обстоятельств, выжить-развиваться попросту не сможет. Кротко-трепетная сила доверия обнаруживается, когда не только люди, но и вещи выказывают свою сущность-содержание, свой скрытый смысл-гарант совместного бытия, «как у себя Дома». Иначе говоря, свободного от болезненных тревог-треволнений от тлетворного «без» – беспомощности, беспросветности, безнадежности... Притом, что надежда не замыкается на ожидании некоего конкретно-зримого результата, но зеркально отражает отношение к жизни-миру в целом. И говоря о жизни-мире настоящем, она означает насущность «нового» к нему доверия, основанного на идее Дома-Матери.

Поэтому, как знать, не обратился бы великий мастер своим восьмым кинозеркалом к «Розе Мира», к бытию Нэртис, страны великого умиротворения и гармонии. В ее сиянии «...я растворялся в счастливой дремоте, чувствуя себя подобно ребенку, после многих месяцев, полных обид, страданий и незаслуженной горечи, укачиваемому на материнских коленях...» (Д. Андреев).

Образно говоря, на них – под врачующим сном-гипнозом женщины-чародейки в белом халате – пробуждается к достойному самовыражению анонимный отрок в первом бликсюжете «Зеркала», заявив во всеуслышание: «Я могу говорить!».

В то же время Малыш остается флегматично малословным, крайне безучастным к происходящему. Ему уже, кажется, никогда не заговорить-довериться миру, окрашенному мрачностью «заброшенности личного бытия» (О. Больнов), а точнее – выброшенности...

Разве что, во сне...

«Мне снится, что я иду вверх по лестнице в каком-то подъезде, или внутри какой-то шахты со стенами из красного кирпича. Внутри шахты – лестница, примыкающая одной стороной к стенам, а другой выходящая на перила, которые вьются змеей вверх до бесконечности...».

И как на этом пути-восхождении не порадоваться за маленькую наивную, хотя и весьма цивилизованную девчонку, которая в зеркале обыкновенно-волшебных исполнений обретает свое имя, превращается во властительницу дум, в Матрону, повелительницу «Волн Великой Женственности», Хозяйку бала, Королеву...

«...А теперь перепрыгнуть через последний ручеек – и я Королева! Здорово! Еще два-три шага, и она очутилась на берегу ручейка. – Вот она, Восьмая Клетка! – воскликнула Алиса и перелетела через... ручеек. Она опустилась на мягкую, как мох, травку среди растущих островками цветов».

Ничего на свете нет
Сердцу темному родней,
Чем летучий детский бред
На пороге светлых дней...

...Малыш-Алиса – МАлис – образ собирательно-отражающий в Доме-зеркале МАтеринско-МАрииногo начала сонявь жизнеутверждающего бытия и мертвящее спанье, смурное всепросыпанье в безвременных оковах Гипноса. Следовательно, и образ пробуждения, дабы из безразличного раба Хроноса стать его вольнонаемным сподвижником.

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну.
Ты – вечности заложник
У времени в плену.

Б. Пастернак

« ...Нечего меня уговаривать, – сказала Алиса, обращаясь к дому, словно он с нею спорил. – Мне еще рано возвращаться! Я знаю, что в конце концов мне придется снова уйти домой через Зеркало, и тогда все мои приключения кончатся!».

...Весьма скромный памятник великому сновидцу и властелину киноззеркаля на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем, месте упокоения многих ярких представителей русской культуры, походит и на Дом трубодымящий, и на Древо крестокронное... И к нему приставлена Лестница из семи заповедных ступеней, открытых нескончаемости небес-времен. И надпись: «Человек, который видел ангела».

P.S. «...Я остался один, сел на стул против зеркала и с удовольствием увидел в нем свое отражение. Наверное, я просто отвык от зеркал».

«...Алиса послушно вскочила и побежала домой, но и по дороге она все думала, какой же это был чудесный сон – сон, который, наверно, никогда не забудешь...».

Реалистичные фантазии домового Квартета, или Момент неотразимой истины

Архитектура – тоже летопись мира:
она говорит тогда, когда
уже молчат и песни и предания...
Пусть же она, хоть отрывками,
является среди наших городов в таком виде,
в каком она была при отжившем уже народе,
чтобы при взгляде на нее осенила нас
мысль о минувшей его жизни...

Н. Гоголь

Дом отличается от здания-постройки, сооружения-строения принципиально – человечностью, внутренней, во всех смыслах, теплотой-семейностью жизни. Поэтому все они всего-то материально-физическое образование, фактически оболочка-футляр для исполнения определенной заботы, или добровольного со-в-местного со-участия, со-причастности, со-жительства, со-бытия, имеющего самобытные «одомашненные» отношения. Отсюда в нашем лексиконе-идиомах полное собрание Домов: «желтые» и «белые», терпимости и творчества, молодежи и престарелых... И даже философски абстрактных, как «общечеловеческий Дом» и «язык – Дом Бытия» (М. Хайдеггер).

...И поныне не найдено ни одного рельефа-изображения военных сюжетов и в надписях Навуходоносора II почти не говорится о войнах-победах – достойная речь идет исключительно о зодчестве. И панегирики эти были отнюдь не голословными. Вавилон буквально на глазах превратился в великолепную столицу процветающей страны-державы на зависть всему зарубежью. Его акцентами стали неповторимые Дома, словно многоликий оркестр, вдохновенно исполняющий гимн красоте-порядку. И во славу его учредителя-дирижера, конечно. На наш взгляд, это были храмы-служители поименных богов-культов, однако в устах-надписях вавило-

нян это были именно Дома – «Дом поднятой головы», «Дом приказов», «Дом, который придает скипетр над землей», «Дом основания неба и земли», «Дом судьи земли», «Дом чистой горы»...

...С раннего детства живу в Доме с незабываемым видом на минский Дом офицеров. Мальчишкой обходил его, неизъяснимо проникаясь магическими сочленениями форм, разнообразием-гармонией контуров-пропорций. Казалось, общаюсь один на один с неким отнюдь не бездуховным существом... Плюс военная романтика в лице офицеров, как правило, в парадной форме и приподнятом настроении. Позже я узнал, что таких впечатляющих Домов в родном Минске четыре – слаженный органичный Квартет. Квартет Лангбарда. И сегодня, после определенного проникновения в таинства зодчества, он для меня остается непревзойденным идейно-художественным замыслом-исполнением.

Согласно ему, Квартет искони завлекал, собирал в качестве своего обитателя-внимателя весь практически одноэтажнодеревянный Минск. Хотя у каждого из его участников была своя партитура, он гармонично выражал тему единения принципиальных сфер национальной жизни и благополучия – Правительства, Армии, Искусства, Науки.

...В непосредственной близости к железнодорожному вокзалу, словно навстречу прибывшим в столичный Минск выходил и привечал, брал под свое попечительство Дом правительства. Своей конструктивистской динамикой с яркой центростремительностью он не оставляет и округу равнодушной. Выступы, консоли и консольки, выразительное остекление делают его экспрессивным, словно собирающим все окраины страны-города под общий кров. Все говорит, что здесь происходит сложный, противоречивый процесс, который в итоге завершается согласием-выбором важного решения, направленного на консолидацию и восхождение к явно светлому будущему .

О том, что оно надежно защищено, убеждает Дом офицеров – надежный бастион, сродни средневековому замку-бастиону, занявшему ответственную и, как ему и положено, доминирующую высоту незыблемой цитадели. И еще – будто грандиозная военная машина взошла на вершину холма,

повернулась своей лобовой броней на запад и замерла, устрашая невидимого врага, успокаивая соотечественников-земляков. И этому символически споспешествовал и остов-стены ранее существовавшей на этом видном месте Покровской (Крестовой) церкви, которая была обречена на полное уничтожение. Однако замыслом зодчего также, пусть и невидимо, встала в общий редут-цитадель.

Так удалось сохранить практически в первозданном виде богоугодный «теремок-пряник» Юбилейного дома, хотя и перепетии в его и военной, и мирной судьбе зачастую сулили отнюдь не радужные перспективы.

За богатырской «спиной» цитадели подобие следа от траков – широкая многоступенчатая лестница сродни Потемкинской. (Кстати, довоенные минчане так ее и именовали.) Поскольку она снисходила в мирную набережную-парк. А там она увлекает-выводит к Театру. Величавый Дом-ларец, затаивший в своих драгоценных, умышленно лапидарных складках-закромах динамичное волшебство, преисполненное магией красок, музыки, танца...

Этот своеобразный дуэт выражает житейскую мудрость, относительно молчания муз в пору военного грохота. Так он исполняет контрапункт в общей теме, нацеливая из достойного настоящего в еще более впечатляющее будущее, что традиционно связывается с достижениями Науки.

Значит, настало время-место соответствующей партитуре, которую с блеском исполняет Дом науки. Истый академический храм. После античности только знаковые храмы (Казанский собор Санкт-Петербурга, Святого Петра в Ватикане) позволяли себе столь величественно солирующую в общей композиции колоннаду, предпочитая, правда, коринфский, наиболее помпезный-статичный, «законченный» ордер. А здесь величавость при великой простоте-лаконичности, устойчивости в нескончаемой динамике. Благодаря своему виртуозному развороту, интригующей игре просветов, она провоцирует воображение к полету-проникновению за порог нынешнего изведенного к потаенному предстоящему...

Апофеоз симфонической темы с мощной увертюрой – Домом правительства.

Так что друзья Квартета – не только знающие себе цену виртуозы, но и «сидят» удивительно выразительно, точно, в полном художественном согласии, как у себя Дома. После всего этого не скажешь, что архитектура – застывшая музыка. Истинная архитектура живет, подвижнее, темпераментнее всех искусств, для которых она и кров, и сцена...

...Квартет исходно обладал «административным ресурсом», став официальным в качестве ознаменования-подарка к десятилетию признания Минска столицей БССР (1919). И как напутствие ему в радужные перспективы коммунистического строительства. Словом, ему предрекалось стать достойным сюжетом зодческой летописи мира, для чего был проведен представительный конкурс, победителем из которого вышел замысел ленинградского архитектора И. Г. Лангбарда.

Он родился-выстоял, несмотря на радикальную смену тем-мотивов в национальном зодческом летописании. Максимально сохранил дух-букву конструктивизма с его чистотой творчества, непосредственной обращенностью к живому человеку-времени. Посчастливилось уцелеть в самую тяжкую эпоху, когда послевоенная архитектура «прогнолась» под натиском ваяний-лепнины, когда «женщины с веслом» беззастенчиво полонили все вокруг, прикрываясь лозунгами тотальной идеологической пропаганды и всеислия «социалистического реализма»...

Внутренний накал-напряжение, с которым сопровождалось становление-сопротивление Квартета, запечатлели бесстрастные документы, словно военные сводки с фронта. Видимо, последний-решающий бой произошел на предвоенном съезде белорусских архитекторов в апреле 1941 года. Его стенограмма хотя и не изобилует литературными изысками, но точна и доподлинна. Из нее видно, как нападки на Квартет вдохновлялись неустанными панегириками во славу «гениального зодчего всего прогрессивного человечества».

Квартет обвиняли за «грубые детали», «к тому же неудовлетворительно выполненные», за «увлечение гигантоманией». Наконец, даже за «обнаружение единых принципов», на что якобы указывали вертикальные пилястры.

Особые идеологические баталии развернулись вокруг Театра, которому вменялось принятие-чествование партийных съездов. Значит, музы должны притихнуть, когда говорят-грохочут политики. Или наоборот, трубить-фанфарить, кто во что с испугу горазд...

К этому подвел-вынудил один из делегатов, приехавший из Москвы. Его имя осталось вне протокола, но он негласно легко распознался «рукой Кремля». Признавшись, что всего пять месяцев живет в Минске, он прямо-таки обрушился на Квартет. А Театр произвел на требовательного делегата «самое удручающее впечатление»: столбы, вертикали, выступления, «с которых кто-то сшиб скульптуру».

Однако наибольшее негодование вызвал интерьер: «Когда заходишь в театр и смотришь сплошную безыдейно барочную лепнину, и она обрушивается на ваше сознание». Словом, «буржуазное западничество, с которым мы покончили и кончаем после постановления ЦК партии, где ясно было сказано: Товарищи, творите на основе классицизма и превращайте эту классику в социалистический реализм»...

Лангбард встал из своего «окопа» в самом конце, как бы завершая-отбивая вкуче все нападки на его Дома-Квартет интеллектуальным «боеприпасом». Это было артистично, мудро, дальновидно, потому как прямая оппозиция «генеральной линии» чревата была самыми печальными последствиями и для архитектора, и для его творений. Тем более, что неясно было: уже «покончили» или еще предстоит «кончать» с тлетворным влиянием...

Итак...

«...Архитектура это тоже политика. Хорошая архитектура – это хорошая политика. Плохая архитектура – это плохая политика. И надо помнить, что те, кто не знаком с учением Маркса-Ленина и думают, что они сделают хороший дом, они ошибаются...».

Иначе, как уничижительной иронией это назвать трудно. А после многочисленных и категоричных требований коллег еще более усилить тотальное идеологическое воздействие на всех, причастных к архитектуре, ни к чему не обязывающее «не знаком» звучит явно диссидентски...

Впрочем, Лангбарда волнует принципиально другое:

«Архитектор, стоя крепкими ногами на земле, должен одновременно обладать известной фантазией. Он должен не только учитывать современность, но и опередить ее».

Далее зодчий уверяет, что «работа с кондачка» в архитектуре зло-вредительство. Однако за «кондачком» явно понималась не просто спешка, несерьезность, легкомысленность и отсутствие плодотворной фантазии.

«...А белорусским архитекторам я хочу послать вот что. Я работаю здесь одиннадцать лет. Я имел здесь много приятных минут. Имею и разочарования. Насколько я знаю, ни один архитектор Белоруссии никогда не интересовался теми большими работами, которые делают по моим проектам... Я слышу много упреков по адресу моих работ. В отношении Большого белорусского театра эти упреки совершенно правильны. Даже наоборот. Я бы сказал, что они преуменьшены. Потому что это такое безобразие, когда я прохожу, я стыдливо отворачиваюсь от этого. Но из вас никто не знает, что театр делался без меня. Я только начал внутреннюю отделку, а потом работали без меня... Поэтому вы сейчас и имеете такое безобразие. Причем, все сделано безграмотно, некрасиво, уродливо... Я смотрел, как расписываются стены театра... Позвольте упреки вернуть, потому что этот театр я не делал...».

Вот он – момент истины. Ибо проясняются не частности, но принципиальное воззрение мастера. Оно, например, в многозначительном игнорировании темы «сшиба скульптуры» с его творений. В этой связи подлинность или, по крайней мере, приоритет сохранившихся эскизов с обилием таковой на Театре вызывают сомнение. Скорее всего, они были сделаны, чтобы еще раз убедить себя-других в неуместности, вредности их в Квартете. И тем отстоять величие-кредо Зодчества, что реально сродни Музыке, что с роду зиждется на выразительном символизме и только ничтожится нарративной изобразительностью. Иначе говоря, не требует-нуждается в посредниках-переводчиках на иной язык ее летописи-симфонии.

А бронзовое изваяние Ленину у Дома правительства? Без этого фактически религиозного, культового посредника, по определению, невозможно было обойтись. Тем не менее, и

он предельно «приземлен», «одомашнен», ибо вождь никуда страстно не зовет-указывает в несусветную даль, но внимательно, по-человечески, всматривается в суету Вокзала, словно ожидая-встречая кого-то на пороге своего Дома...

Так оригинально воплощается идея-поэтика «перетекающего пространства», предполагающего Человека вольного, независимого, открытого бытию. Это исполнено и на градостроительном, и на локальном уровнях. Отсюда все эти выступы, консоли, акцентированные балконы и козырьки, балконы-колоннады, соединяющие Дома и их основания, «пятый фасад» с безмерностью неба, «фасада шестого».

Все это действительно как живая Музыка-Архитектура, симфония-летопись, в контексте которой по замыслу квартетмейстера звучит-пишется судьба каждого «домочадца».

Имеющий глаза, да увидит, как анданте (умеренно медленно), но и маэстозо (торжественно, величаво) осуществляется эта благородная температура, точное установление высоты-количества зодческих «звуков».

Именно поэтому в друзьях-товарищах есть полное согласие, несмотря на их схожую непохожесть. Теперь былые упреки в гигантомании кажутся нелепыми. Просто автор не только хотел, но и смог «учитывать современность», дабы «опередить ее». Понимая, что она не в цифрах метрики-паспорта, но в духе, обладающем предчувствием, наитием, воображением, фантазией – замыслом.

Ортодоксальный позитивизм, «точные науки» скептически смотрят на непостижимость происхождения творческого замысла, хотя отрицать наличия в нем некоего промысла невозможно. Принципиальной аргументацией здесь служит презумпция цели-смысла творчества как такового, только и противостоящего духовной деградации и физической энтропии. Ибо целеполагание и смыслоусмотрение проявляют себя архетипически, существуют в «категориях еще-небытия» (М. Бахтин) и уже оттуда заражают творчество искрой мотивирующего замысла. Благодаря этому «польза-прочность-красота» Витрувия сливаются в едином содержании априори небесмысленного текста-летописания, изложенного на специфическом языке зодчества.

В определенной степени оно мистично, эзотерично, поскольку и не стремится все объяснить-представить в открытом, голом виде, обозначая лишь «то, что есть, или что было, или же что будет» (П. Валери).

Напротив, оно лишь наставляет на путь к сокровитости, полисемантической, символической потаенности выраженного, что только множит в веках коннотации в его понимании-интерпретации. Потому как в нем заложены не столько ответы, сколько мотивация понимания в контексте современности, сколько «предвосхищение совершенства» (Г.-Г. Гадамер).

Данная презумпция совершенства попросту заставляет видеть в уникальных творениях сущностно большее, чем это кажется на первый взгляд, стоя пред очевидными стенами внутренне непредсказуемого Дома. Воображение, мифопоэтическая память подсказывает: где-то в недрах высказывания присутствует некий потаенный смысл, тут же ускользающий, как только ему придается какая-нибудь форма определенности (Г.-Г. Гадамер). Как только он полностью покидает «сферу умолчания», обнажается очевидностью партитуры. А зодческий текст вопреки замыслу творца лишается, возможно, главных своих эпизодов, персонажей и акцентов, поскольку затушевывается его принципиальная тема (греч. *thema* – то, что положено в основу) и мотив. Именно они, а не формально-количественные показатели дают основания не только для созерцания, но и для понимания-переживания летописного события.

...Пусть и с надломом уникальный конструктивистский Квартет выстоял в пору тотальной гегемонии «женщин с веслом» и догм «социалистического реализма». Не знал-гадал, что напасти не закончились...

Ныне Дом Правительства загнан в угол уничтоженной площади. Спрятан за бронзовыми «триада буслами», явно прилетевшими, как «черные лебеди», из времен, предшествующих борьбе с кичливыми «излишествами». А теперь отчаянно пытающиеся взлететь в разные стороны, невольно выказывая, что «воз» с кондачка и ныне тут как тут. Даже медный Ленин преобразился – с опаской смотрит, не идут ли очередные претворители «классицизма», апологеты постсоциалистического реализма, заодно прикрывая собой свой Дом.

Дом офицеров взят в плен тихой сапой подкравшимися сзади амбароподобным строением и окончательно лишился надежды доставлять удовольствие-восторг созерцать, как его лестница-эспланада миролюбиво распускается навстречу Театру. Будто забыл про него, потеряв его из виду. Хотя ранее он доминировал в панораме, открывающейся с башен Дома офицеров.

Наверное, поэтому и не смог разглядеть-защитить Дом-Театр от нашествия-оккупации его бронзовым громадьем во главе с «Аполлоном». Они бесцеремонно заняли самые чувствительные места на его величественной тоге. Все это засилье воспринимается некой временной транспарантно-гламурной бутафорией. При этом нет нужды говорить о ее пластике, композиции, масштабе, тематике, о схожести, скажем, Аполлона с той одноименной гипсовой головой, что с незапамятных времен рисуют абитуриенты архитектурного факультета...

Возможно, кому-то нравится, не исключено, многие привыкли. Посему придется объяснять чужеродную замыслу природу-происхождение «друзей», подсаженных к Квартету и волей-неволей препятствующих достоверной мысли «о минувшей его жизни». Дабы впредь не исказить-убивать «совершенно необыкновенную живую идею в голове архитектора, если только этот архитектор – творец и поэт» (Н. Гоголь). Дабы не потрафлять агрессивности или, наоборот, безразличию обступающей толпы-толчей, но воспитывать «истинных ценителей». Поскольку зодческая летопись не для «мертвых душ», но для душ живо-поэтических. И с этим не поспоришь.

«Это неотразимая истина, что чем более поэт становится поэтом, чем более изображает он чувства, знакомые одним поэтам, тем заметней уменьшается круг обступившей его толпы...» (Н. Гоголь).

Татами-хокку для всех-каждого, или Песня привратной цикады

Старый дом опустел,
но, как прежде, поет на закате
цикада подле ворот...

Сики

...Покидая свой старый родительский Дом, оставив у порога свой татами и следуя в школу малоизвестного города Хиросима, думал-гадал ли физически хрупкий с обширно распространенным в Японии именем Кензо паренек, что в скорости и он, и город сей будут всемирно знамениты. И трагичностью судьбы и возвышенностью искусства навсегда объединивших два события мировой истории-культуры...

Действительно, всемирная слава приходит к Кензо Танге после вдохновенной работы по воскресению испепеленного убийственным атомом города, что началась сразу же после войны.

...А от дома после битвы
лишь руины
цветок ириса
почти завял.

Масаока Шики

Кульминацией этого архитектурного события стал мемориал жертвам небывалой бомбардировки, среди которых были и его родители. Однако лишь уважение к жертвам, назидание потомкам о хрупкости-незащищенности человеческой жизни, а не призыв к мщению преисполняет образный строй мемориала.

Печально-трепетное, но и настойчивое обращение ко всем сразу и к каждому персонально, словно к домочадцам единогообщего Дома.

Отсюда неожиданное, но глубоко символичное сочетание двух архитектурных татами.

Это – огромная открытая, непривычно обнаженная площадь с нарочитой пустотой, выказывающей незащищенность человековечества и способной, кажется, вместить всю его скорбь.

И это – модульные аскетичные помещения музея, соразмерные масштабу отдельного человека. И оба эти закодированные пространства также символически соединены общими лестничными пролетами и фойе, похожими на птичьи клетки, из которых так и хочется вырваться-оторваться от случившейся катастрофы-горя.

О, с какой тоской
Птица из клетки глядит
На полет мотылька!

Исса

Но к драме неминуемо возвращает огромный поминальный колокол, звон которого в торжественной обстановке разрывает тишину забвения.

Грузный колокол.
А на самом его краю
Дремлет бабочка.

Еса Бусон

Общий принцип композиции отсылает к традиции сада саккэи с его неперменной многоплановостью и включением дальних видов в свободный цельноландшафтный ансамбль. И, конечно же, различные интерпретации геометрически правильных татами – засыпанная галькой площадь, что напоминает дворы древних святилищ и средневековых монастырей, газоны, бассейны с водой. Наконец, Дом под кровом-сводом мирных небес.

...Замечательно-удивительный японский феномен – татами («циновка из соломы»). Внешне незамысловатый, но глубокомысленный, сродни хокку, он исполняет Дом как место

мгновенновечной встречи прошлого-будущего. Где человек уложит-бросит татами, там его на данный момент место и есть. Ушел – и место забрал с собой. Освободил простор для любого другого татами-места. Так Тишина-Пустота пульсирует наполняемостью. Так Дом медитирует, не защемляясь сбывшимся, но привечая сбывание. Так он становится поэтическим лейтмотивом творчества Кензо Танге:

«Зачем опять обсуждать то, что я уже построил? Мне еще столько предстоит сделать. Каждый новый проект для меня – шаг из прошлого в вечно меняющееся будущее».

...После шедеврального триумфа в Хиросиме Танге вполне заслуженно предстал мировым зодческим открытием, единственным повелителем-лидером мыслей-идей японской молодежи, затмив все былые светила (Маэкаву, Раймонда и Сакакуру).

Бедные звезды!
Нет им места в небесах –
так сияет луна...

Дэйкин

Считается, что в ход пошли модные тогда на Западе идеи-принципы функционализма. Однако, все не так очевидно-однозначно. И что хорошо европейцу, для японца, по крайней мере, не понятно. Не тот менталитет, не то мироощущение, которое достаточно быстро развеяло иллюзии, будто бы действительность с комфортом-уютом всякий раз укладывается на прокрустово ложе-нары жесткого рационализма.

Танге всегда чувствовал-сознавал всеми фибрами своей дзеновой души и искони гармонического самосознания, что отнюдь не только сила логики и «здравого смысла», «точный расчет» управляет человеком-природой, а, следовательно, и всяческий Дом.

Иначе говоря, он не должен запирается-застаиваться, но открывая врата свои открытиям-импровизациям бытия, богатству интерпретаций, эволюционному разнообразию, подобно жизнестойким органическим существам. Именно эту закономерную стихию искони воспевали традиционные хокку.

Хотя надо признать, это был неожиданный, ибо принципиальный отказ-отход от тогда практически безраздельно доминирующих постулатов функционализма. Возобладала эта «крамола» из внутренней врожденной уверенности-наблюдательности. Она убеждала, что реальное столкновение-вживание в действительность делало иллюзорными, утопическими воззрения, будто мир можно позитивно преобразовывать силой лишь одного рационального мышления. Жизнь, преисполненную сложными, зачастую непредсказуемыми феноменами, одним лишь умом, что говорится, не понять-объять. И тем более не уложить в приснопамятное ложе изощренного в издевательствах Прокруста, сработанное из раз-навсегда четко определенных норм-типов поведения, на поверку оказывающихся делом весьма туманным.

Выплыли из тумана.
Какое широкое море
Лежит перед нами!
Ласточки смело летят
В его сторону.

Шуки

Первой ласточкой у Танге стал его манифест на токийской конференции дизайнеров (1960), где он призвал к «наведению мостов» через все более разверзающуюся пропасть между человеком-техникой, культурой-цивилизацией. На практике это означало незавершенность архитектурных форм и установление многоплановой связи создаваемого с масштабом человека, пространственно-временную подвижность. Иначе говоря, всегда создавать Дом-татами, каких бы размеров-предназначений он ни был бы.

Отсюда на хвосте знаменательная ласточка принесла неслыханное – «метаболизм». Он подразумевал-пропагандировал циклическую последовательность стадий развития зодческого творения, неотступно следующего за общественной динамикой, гармонично вживаясь в нее.

...Центр коммуникаций в г. Кофу – первая зрительно-осязаемая реализация манифеста метаболизма, а также борцовское татами, где на обе лопатки был уложен принцип внешнего формализма-эстетства и непогрешимости функ-

циональной однозначности. Он стал «домашней заготовкой», к которой не было готово зодчество, воспитанное на «идеальных» объектах, замкнутых в себе и противостоящих, в лучшем случае безразличных к окружающей, не перестающей меняться Жизни-Естеству.

Центр, рожденный метаболистическим духом, шагнул ей навстречу, взял с нее пример, воспринимая ее способности адаптироваться-развиваться в изменяющихся условиях. Поэтому в его основе – концепция полифункционального использования крупного объема при диалектическом сочетании в общей структуре элементов двоякого рода – постоянно-стабильных и изменчиво-гибких, свободно-подвижных. Вполне живой организм со своим прочным «скелетом» и наращиваемой по мере надобности «мускулатурой». Общая жизнь-развитие поддерживается-вдохновляется принципом кротко-поэтической философии, поэтикой татами-хокку.

Так что искони не было в жизнелюбивом метаболизме ни эпатажа-амбиций, ни желания оказаться и удивить в авангарде архитектурного движения охочего на импровизации-эксперименты века. Ни даже моральной реабилитации, своеобразного реванша за тотальное поражение в мировой войне и попытки потрафить самурайскому духу, очень болезненно воспринявшему безоговорочную капитуляцию.

Хотя бы потому, что Танге никак не походил на воинствующего самурая. Жизнеутверждающий оптимизм, свобода естества и естество свободы – кредо всего его творчества, его многолетнего, почти в век архитектурного татами-хокку.

Правда, он не был и первооткрывателем, поскольку вдохновлялся-черпал идеи-образы из глубинных недр национальных традиций, из извечных закров родного Домотворения.

В забытом горшке
Расцвели вдруг цветы.
Весенний денек.

Шики

В этом отнюдь не позабытом горшке искони теплится дух синтоизма, дзэн-буддизма, который наставляет на особое

мировоззрение, где последовательное логическое мышление не является чем-то конечным, как не существует конечного вывода. Наличествует разве что некое трансцендентальное выражение внутреннего состояния, которое недоступно простой интеллектуальной мудрости. Поэтому, неоднозначно «да» и однозначно «нет». Ведь когда мы говорим «да», мы утверждаем, а утверждая, мы ограничиваем себя. Когда мы говорим «нет», мы отрицаем, а отрицание – это исключение.

Исключение-отрицание, в сущности, одно и то же, убивающее жизнь-душу. Поэтому всякое движение должно сторониться антитез-противопоставлений, надменной безапелляционности «здравого смысла». Но жить-творить «бессмысленным» мгновением, исполняющим столь же «бессмысленную» вечность.

Хочется, чтобы
Наш мир был постоянен,
Не изменялся,
Как след рыбацкой лодки,
Плывущей вдоль берега.

Фудзивара-но Масацунэ

В том числе и вдоль берега мегаполисного Токио, которому попросту некуда деться и он напрягся изнутри, вызывает о помощи.

В итоге миру предстает революционный проект «Токио-1960». Самый радикально-знаковый, татами-метаболиз – огромный обитаемый мост из сплетенных в замысловатую сетку автопешеходных эстакад с гроздьями нависающих над ними Домов. Для них исходно зарезервировано пространство, и они своими татами всегда уместны в татами неогорода, подвигающего их к взаимному общению.

Плетень не чиню –
пусть почаще в гости приходят
оленята из леса!

Сора

Так что отнюдь не случайно и название тангевской концепции найдено многозначительное – метаболизм (от греч. *metabole* – перемена, превращение), термин, позаимство-

ванный из наук о жизни, основанной на обмене веществ. Или, в переводе на язык социальной жизни, на беспрестанном обмене веществ, энергии-информации. Наконец, – на свободе перемещения людей, то есть еще и в обмене мыслями-образами...

Это был самый убедительный-яркий ответ на уже всемирную проблему мегаполисов, оказавшихся по-воровски чуждыми человеку.

В город крестьянин
Пришел полюбоваться вишней,
А его обокрали.

Шуки

...Вскоре – еще один уникальный подарок городу – не столько грандиозный, сколько грациозный татами Олимпийского комплекса (1964). Словно два могучих исполина вырастают из земли и преисполнены пластичной динамикой криволинейных форм. Порыв сверху исходит из единого нижнего татами в виде прямоугольного подиума.

Внутри вольно дышат огромные пространства, не закрепованные элегантными вантами, словно воздушной, но очень прочной паутиной.

Внутри впечатляющие татами бассейна и универсального спортивного зала, способного легко совместить многие борцовские татами, татами других состязаний, что в полной мере отвечало всесближающему и всепримиряющему символу-духу Дома Олимпиады.

Более того, здание не только внешне живет, но и вольно дышит, обладая отличной акустикой, обеспеченной особой геометрией кровли. Очень легкой, можно сказать, на подъем. Так что сразу даже и не поймешь: то ли она, словно веер, нагоняет свежий воздух, то ли он сам поддувает ее, соблазнившись внутренним тиховейным простором...

И в целом все спортивные сооружения разместились на новом просторном татами, что новаторски образовалось в как высвобождающий просвет в угнетающем хаосе старинного Токио.

Поэтому и диковинные тогда ванты смотрятся предельно органично, ибо ярко выражают стремления к свету всего живого одолевающего, казалось бы, непреодолимые преграды.

Я помню сотни
Каменных глыб, что в стенах
Моего дворца,
Но вдруг заметил росток –
Папоротник на крыше.

Шики

Секрет виртуозности-поэтики Танге именно в такой символической и непринужденной метаболии. Она – плод не столько структурированных умозаключений, но вещающая танка, «короткая песня», преисполненная поэтическим изяществом-лаконичностью, обязанное интуиции-наитию. И она, кстати, дается-даруется также отнюдь не просто-даром.

Сколько хлопот
Стоило мне повесить
Лампу на ветку вишни!

Шики

Где бы и сколько ни работал-творил Танге, он оставался верен своей натуре, духовной самобытности – родине своих исканий-образов.

Глубину сердца
Распознать не дано мне,
Но на родине
Аромат сливы тот же,
Что и в юные годы.

Фукаябу

Подобные ароматы зовут-влекут к истокам. Между великими стройками Танге вновь и вновь возвращается к образу-существованию собственного Дома, что он в «юные годы» выстроил для себя в полном согласии с национальной традицией – окруженный природной аурой, низкий, деревянный, с легкими перегородками, затянутыми рисовой бумагой между полупустыми, зато одухотворенными приветливыми татами.

Красота какая!
Через дыры в стенке бумажной
светит Млечный путь...

Исса

А по нашим современным меркам – откровенно убогое жилье. Однако раз Дому уже нечего терять, то он не обременен, ведь любое приобретение не обогащает, но разве что беспокоит. Так что именно в нем приходит столь важное для дзен успокоение-просветление, самообладание.

Ничегошеньки нет
В моем доме – только прохлада
и душевный покой...

Исса

А с ним и особая грусть всепреходящести бытия, за которым не угнаться.

Отсюда Танге счел, что традицию не то что позволительно, но и должно «в известном смысле разрушать. Ее нужно не канонизировать, а развенчивать». Однако при этом важно проникнуться восточной тонкостью «известного смысла» и «развенчивания традиции» – жить не как живется-может, не выживать, навсегда оставаясь заложником настоящего.

Тут то и таится печаль-скорбь великих зодчих, властителей умов, болезненно осознающих свою немощь преобразовать мир в его гармоничном совершенстве. Уже только потому, что оно есть чувственно неповторимо, как в каждом хокку, переливается из смутной глубины в туманную высь времен.

Об одних скорблю,
О других печалюсь, и
Отчаялся, как
Помочь остальным? Снова
Вижу себя несчастным.

Дзюнтoku

Принято полагать, что творения Танге дерзкие-необычные. Однако их новизна объясняется последовательно прав-

дивым, глубоко чувственным выражением-подчинением Жизни-Естеству. А оно зиждется не на мощи-напоре, но доверяется трепетной кротости-бережливости. словно пишется-оживает знаменитой японской акварелью, исполняемой «нежной кистью».

Даже самые грандиозные сооружения-ансамбли Танге не подавляют, но, напротив, возвышают человека. Человеко-Домашняя соразмерность, что определялась татами в самом обыкновенном крестьянском Доме, преисполняет и татами огромных урбанизированных пространств, не покушаясь на права-свободу уважаемого соседа.

Стремление к свобододолюценной жизни, несмотря на утопичность некоторых идей, пленяют европейцев, наперебой приглашающих к себе кудесника духовной метаболии. Сначала Скопье, столица Македонии, перенесшая свою «Хиросиму» – разрушительное землетрясение. Затем старинные Милан и Болонья, для которых разрабатываются новые татами деловых районов.

Наконец, «Неаполитанский руководящий центр» (1989) – обширный татами, полюс притяжения коммерческой и административной деятельности всей городской и окрестной территории. А также первое звено в преобразовании всего городского пространства. Однако не в ущерб уже сложившимся историческим образованиям. Напротив, во имя высвобождения их от дорог-проездов и возвращения Домов в гостеприимное лоно природы.

Плетень не чиню –
пусть почаще в гости приходят
оленята из леса!

Сора

Единство композиции при исключении монотонности. Тактичное разделение транспорта-пешеходов. Причем не громоздкими сооружениями, но любовным диалогом с ландшафтом.

На общем пешеходном татами мирно разместились татами «Общественное», «Спортивное» и, понятно, «Зеленое». Самое, кстати, обширное, в полсотни гектар, вполонину всей площади.

Локальные татами не нарушали структуру городов, но лишь использовали случай упорядочить ее, отведя место для свободного и совместного времяпрепровождения. То есть за внешней линейностью, регулярностью композиции сокрыты извивы полнокровной и пульсирующей жизни целого организма города-горожанина, метаболия-переходность. Прямо как в композициях хокку, где слоги, как татами, внешне геометрически строго, но символически изящно-неповторимо очерчивают-наполняют образ.

Отсюда и ее издревний знак-символ, который в Японии традиционно предстает как всегда открытые ворота – тории. Здесь же – два небоскреба, динамично расположенные в плане под углом 45° друг к другу. Кажется, беспрестанно открываются на токе жизни-событийности, где, если прислушаться-присмотреться, можно услышать и цикаду, увидеть всякую зверюшку.

На дверце плетеной
повисла вместо замка
ракушка улитки...

Исса

Рисунок городской ткани, внешний облик строений – простые геометрические формы, зеркальные стекла светлых тонов, такая же гладкая облицовка стен, благодатно отражающая солнечные лучи на всю панораму. Ну, прямо-таки Дом-город нежного восходящего солнца.

На солнцепеке
Прикоснулся к камню рукой –
Как он прохладен!

Сики

...Свой татами в контексте мирового зодчества Танге искал-плел весьма замысловатым путем-узором. В разгар мировой войны на Дальнем Востоке он пишет свой первый литературный труд на «странную» тему – эссе о Микеланджело (1939). И уже в нем – сомнение в непреложности догм ортодоксального функционализма, напроочь отвергавшего значение Ренессанса. И, казалось бы, странная параллель между Микеланджело и Корбюзье, которому молодой архитектор

отдает должное исключительно как искателю новых-актуальных путей архитектуры. Ибо вдохновлен идеей гармоничного сочетания рационально-эстетических и стихийно-чувственных начал в едином творческом потоке. И в последующих, нет, не трактатах, но эссе-хокку он еще больше проникается-следует ей. Как будто выбирает, куда уложить свое собственное творческое татами, на которое будут ориентироваться гости-домочадцы его неподражаемого Дома.

Поэтому разве что ортодоксальный формализм способен уличить Танге в эпигонстве. Например, в подражании Эйфелю. Действительно стараниями Танге Токио имеет свою «железную даму», ТокуоTower (1958).

Она чуть выше своей парижской предшественницы. Зато почти вдвое легче, а также цветисто раскрашенная и артистично подсвеченная. Пожалуй, это вовсе не подражание, и даже не настырная амбиция, но скрытая ирония, намек на неуловимость совершенства, которое не стареет, всегда кажется молодым-задорным, всякий раз другим-инаковым, живым-разнообразным.

Побывав под ногой,
он стал по-иному прекрасен,
листок увядший...

Кеси

И вняв этому перевоплощению, Эйфелева башня-старушка сегодня также не чурается, бравивирует самыми экстравагантными цветосветовыми «одеяниями».

Поэтому, только лишенный художественно-аналитического дара упрекнет Танге в прямом, и тем более слепом заимствовании корбюзьеанских идей.

Возможно, под влиянием Корбюзье Танге, по собственному его признанию, пришел в архитектуру. Но то была иная, его архитектура, несмотря на все комплименты, которые звучали в адрес «современной архитектуры» Запада с ее глубоко футуристическими приоритетами. Ибо в японской архитектуре «современность» гармонично впитывает-источает уже бывшее перед воротами-ториями, откуда торится путь-поиск еще небывалого.

Правомернее, пожалуй, будет звучать иная-обратная версия: философия-поэтика Танге подвигла Корбюзье к пересмотру своей жестко рационалистической доктрины, памятником чему стали его явно иррациональные, «цветочные» капеллы.

В мире все повидав,
Глаза мои снова вернулись
К белой хризантеме.

Исса

Как бы то ни было, при всей своей творческой мощи Танге не стал, по крайней мере не стремился стать ни прожектором, ни даже факелом архитектурной жизни. Разве кротким светлячком, который не направляет, не выводит на «путь истинный», но трепетно предупреждает о хрупкости жизни, что мы не одни даже в самом темном лесу.

Зажегся легко –
и также легко угаснет
ночной светлячок ...

Тинэ-дзе

...Прощались с жизнелюбивым «светлячком» в токийском соборе Святой Марии, что он сотворил вместе с европейскими архитекторами. Так что у прощального одра-татами непринужденно-грациозно сошлись-встретились Восток-Запад в гостеприимном Доме. Поэтому, очевидно, он выглядит особенно возвышенно-парящим, легко-одухотворенным. Словно душа-птица взмывает ввысь, вспорхнув гиперболически-параболическими нержавеющей-стальными крыльями, отражающими многоликие огни города. И так до сих пор мгновенно-вечно он перекликается со своим танка-хокку родителем-пиитом.

Ветры в небесах,
Сохраните врата для
Белых облаков!
Еще одно мгновенье
Дайте мне насладиться.

Фукаябу

...Ну как тут не поверить в судьбное предначертание имен-фамилий! Разве не созвучны Танге и танка? Разве они не сроднены. И это притом, что древнейший, известный еще с санскрита корень «тан» означает распространение своего влияния, а «го» (ге, га) – подвижность-движение, метаболику...

Умирает цикада,
Но как все еще громок
Голос ее!

Шики

Поскольку зримо поет «цикада подле ворот» в будущее. Поет для всех-каждого, ибо вековечна танка Дома, безразмерно-вымеренный у нее татами.

Ностальгия по прошло-будущему, или Воспоминания-грезы о будущембылом

Все погибает, все вновь устрояется; вечно строится тот же дом бытия. Все разлучается, все снова друг друга приветствует; вечно остается верным себе кольцо бытия

Ф. Ницше «Так говорил Заратустра»

...1982 год. ЮНЕСКО по инициативе и попечительстве японского архитектурного журнала объявляет международный конкурс зодчих «Жилище будущего». Решился и я участвовать. Как ни как только закончил обучение на архитектора, есть некий опыт в проектировании жилья, есть и амбиции. Однако не одержать победу, но разобраться с тем, что собственно-сущностно есть Будущее как таковое. Где же тот трансгрессивный порог, переступив который можно будет признать: вот и Оно собственной персоной, повествующее от первого лица, что нам стоит Дом-сбывание нашего собственного бытия-предназначения построить...

Формально «завтра» – будущее, как и «вчера», по определению, «прошлое». Однако, если «завтра» явится таким, как «сегодня», достойно ли оно именоваться Будущим? Этот вопрос справедлив относительно личности, семьи, народа-нации, всего человечества. Поэтому мы вполне справедливо выделяем периоды-эпохи стагнации-застоя. Или, напротив, вспышки революций-переворотов. И прежде всего не в предметной повседневности, но головах-чаяниях.

Дом строят для будущего. Да из вчера-сегодняшнего, но все-таки для будущего. В нем-им жить. Но вот незадача...

«Если я направляю свой шаг в будущее, я должен буду считаться с постоянным рождением чего-то нового, оно будет преобразовывать существующее, но предугадать его мне не дано, потому что оно иной природы»²⁰.

²⁰ Здесь и далее курсивом размышления Антуана де Сент-Экзюпери, «Цитадель».

Вся хитрость-эзотерика здесь заключена в том, что она все той же природы-естества Человека. А оно нынче явно ропщет-пасует перед непредвидимым накатом смутного Будущего. Страшит неизвестностью: что день грядущий нам готовит, что там, за порогом настоящего «ад или райское место, или попросту мрак» (И. Бродский)?

Хочется забиться в дальний угол хоть как-то обжитого Дома и переждать пугающий налет.

«Подобные тенденции были выражением духа эпохи. Они родились из ощущения перекоса в развитии цивилизации. Почва ушла из-под ног».

Действительно, Будущее скорее пугает-отвращает, чем радует-зазывает. Потому как человек не успел, да, пожалуй, и не способен адаптироваться к натиску-наплыву информационно-событийного бума-цунами. Отсюда «футурошок» (Э. Тоффлер), безотчетный ужас будущего, а также беспрецедентные переживания херофобии, отвращение-чужение счастья, поскольку, если оно и почувствовалось, то это или самообман, или быстротечная пилюля-плацебо от неминуемого несчастья.

Невольно подумаешь, не знаки-стигматы ли это «Второго Пришествия» и «Страшного Суда», что и подвигает искать более радужные идеологии-веры. Одна из них «Религия без откровения» (Д. Хаксли, 1927) – идеология «трансгуманизма»: чтобы выжить-спастись требуется фундаментальное изменение-переформатирование человека: значительное улучшение его умственных и физических способностей, психологических возможностей, ликвидация старения, достижение бессмертия...

Уже ныне мы в состоянии «подправить» Природу и помочь человеческой жизни всяческими искусными протезами. Вполне серьезно поговаривают об искусственном разуме, открывая путь к постчеловеку – гипотетический образ которого уже весьма убедительно рисуется на нашей картине мира стаями-косяками киборгов и иже с ними. А протезы совести, наслаждения муками творчества и рождения нового?.. Вряд ли нас обрадуют Франкенштейны не по словам своим, но по делам своим априори бездуховным, хладносердным. Им не нужен Дом, гараж-ангар разве что...

Меж тем Человек-Культура изыскивает в себе как имманентность Аристотелевскую энтелéхию, – внутреннюю духовную силу, потенциально вбирающую цель-результат, реализацию возможностей. Пока же она в сомнении, обескуражена, болезненно озабочена реальной вероятностью сникнуть-пропасть в пропасти тревожной неопределенности, «невесомости», самое себя выжившей из Дома.

«Я не хочу пропадать. В миг великой утраты у меня обнаружился рефлекс ностальгии, щемящее желание вернуться, но не только в какую-то страну, не только в какую-то определенную местность, а в родной дом... Быть может, это слишком дерзко с моей стороны – желать гармонии, синтеза и радости? Быть может, совершенство и свершение просто мои навязчивые идеи? Я воспринимаю это как свой долг – становиться лучше: еще больше стараться быть самим собою» (П. Хандке «Медленное возвращение домой»).

То есть не быть фрагментом-частью, но всецело без купюр-изъятий-отрывков.

«Надоело жить очерково...» (А. Вознесенский).

И при этом не терять само узнавание-тождественность, что ныне называется «идентичностью» (от лат. *identitas* – узнавание, отождествление). Поэтому полезен и апофатический взгляд на проблематику Человека, дабы понять, чем кем он явно не хочет-может быть. Своеобразная ностальгия по будущему с презрением настоящего с потребностью-надеждою понять, что-зачем так все есть, как имеет случиться быть.

...Будто сделал я что-то чуждое, или даже не я – другие.
Упаду на поляну – чувствую по живой земле ностальгию.
Нас с тобой никто не расколел.
Но когда тебя обнимаю –
обнимаю с такой тоскою,
будто кто-то тебя отнимает.

.....
Хлещет черная вода из крана,
хлещет рыжая, настоявшаяся...

.....
Я дождусь – пойдет настоящая.

А. Вознесенский «Ностальгия по настоящему»

«Снова появляется потребность в Вечной Чистоте... Да, я чувствую периодическое право на вселенную. И моя эра – сейчас; сейчас – Наша Эра. Так вот, я претендую на весь мир и этот век – ибо это мой мир и мой век» (П. Хандке «Медленное возвращение домой»).

«Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: “Возвращусь в дом мой, откуда вышел; и, придя, находит его выметенным и убранным”» (Лк. 11:24.)

Так вот в чем обеспокоенность Христа – не в новом Богостере, но в чистоте ЧеловекаДома, или в «царстве небесном, что внутри нас есть».

Чистый Дом – творение чистого духа, благой души, сообщества сильного этим духом. Мужскому началу не сорить, не нарушать порядок, женскому – очищать и поддерживать благой уют-порядок в умиротворенном Доме, где чистота не повторяется, но вос-полняется, воз-обновляется.

Отсюда и «новая» потребность в чистоте, которую, впрочем, смертные не находят-получают как сбывшийся факт, но находят как цель-исполнение своего. Как выстрадавшая ностальгия по грядущему – по Дому-идентичности, по своему-родному Дому-миру-веку, который, как никогда ранее, требует заботы-чистоты, второго ее пришествия.

«Пусть мой дом озарится светом. Я построил его и содержу в чистоте...».

В противном случае – «выученная беспомощность» бороться-совладать с пакостью-напастью, тотальное безразличие-запустение и итоговая сдача популяции-роду паразитов с окончательно бессильным виноватым.

«Расплоди тараканов... и у тараканов появятся права. Права, очевидные для всех. Набегут певцы, которые будут воспевать их. Они придут к тебе и будут петь о великой скорби тараканов, обреченных на гибель. Зачем защищать то, что есть, и бороться против того, что будет? Защищать гниение, а не цветение?».

Более того, важно отделять зерна от плевел, правду от лукавства.

«Вот таракан бежит вокруг тарелки, а воображает, что движется вперед весьма целеустремленно. Откуда ты мо-

жешь знать, что думает таракан, когда бежит вокруг тарелки? Может быть у него это своего рода ритуал? – Конечно, собственный, тараканий. – Вот именно, может быть. Все может быть. Может случиться. В противном случае, у нас будет вот эта самая правда» (А. Тарковский «Жертвоприношение»).

Неужели необходимо сжечь свой Дом, дабы освободиться от нечисти, ведь очистительный Огонь известен со времен его одомашнения?

Или, что наиболее плодотворнее, очищаться? Признание в его надобности шестимиллиардное человечество начинает испытывать сегодня, когда мощнейшими средствами коммуникации человек «сплотил» материки, «спрессовал» протяженность и длительность. Благодаря этому, мы усматриваем в себе домочадца ноосферы, «Планеты людей», Многонародного Дома, перефразируя О. Шпенглера, самого чистого выражения общечеловеческого жития-бытия.

Интересно, кстати, много ли сору-хлама мы вынесли на позор из нашей общей «избы» за свою историю? И как в «глазах» гостей с краев иноразума выглядит наш межзвездный «особняк», коль в наших собственных он предстает отнюдь не соблазнительным?..

Ведь с чем только уничижительно ни сравнивали мудрецы-философы нашу Дом-Землю, дабы поизощреннее оскорбить...

«...Наконец, с клоакой, куда спускают нечистоты из других миров». Сперва же на ней было много деревьев, «нагруженных роскошными плодами, остатки которых незаметно испарялись из организма. Исключение составило дерево, заманчивые плоды которого не улетучивались подобным образом. Поскольку наши прародители дали себя соблазнить и, несмотря на запрет, попробовали эти плоды, то, чтобы не запачкать небо, пришлось воспользоваться советом одного из ангелов, который показал на Землю и сказал: “Вон отхожее место для всей Вселенной”... Так будто бы и появился на Земле человеческий род» (И. Кант).

Так уж наследили, и с таким наследием и мы нервничаем, ибо, кажется, понимаем, что не готовы к визиту Гостей. Главным образом потому, что они могут застать наш Дом в

виде неприглядном, а может и постыдном, естественно принимая за общечеловеческую «идентичность»... Со стороны-высоты виднее.

«И как добрый гостеприимец не вводит в дом званого гостя, не приготовив угощения, но сперва приготовит все, как подобает, вымоет, приберет и украсит надлежащим убранством дом» (Григорий Нисский).

А мы еще хотим найти иной Дом во Вселенной, не задумываясь, как нас, незваных гостей, загадивших до неузнаваемости Дом, встретят в Домах пристойных. Искать ли счастья-доли в чужом Доме-поле?..

...Да, зачастую «встречают по одежке», по внешнему облику-фасаду, но провожают то «по уму». Хотя нас легко уразуметь уже только на пороге, видя, что-как происходит «под крылом самолета». Поэтому, возможно, и проходят стороной, поняв, что мы им вовсе не «братья по разуму»: живите, дескать, как знаете-хотите.

«Когда мы стараемся познать самый мир, мы, естественно, удерживаем себя по мере возможности от вмешательства в порядок и строение окружающей нас действительности, чтобы не исказить своим вмешательством собственного облика действительности» (П. Флоренский).

...«Планета обнимает нас также как стены родительского дома обнимали наше детство... Сегодняшний символ в виде Земного Шара проявляется как доминирующий фактор цивилизации, медленно рождающейся из нашего запутавшегося и трагичного западного общества... Если в прошлом энергия человека должна была направляться наружу, то есть на территориальные завоевания, то в наши дни эта энергия должна направляться внутрь, то есть на гармонизацию всепланетного организма, всепланетного объединенного человечества... И в этом пробужденном состоянии прийти к вере в Человека, вере в Землю, вере в Силу, которая создает безмерное Поле деятельности, которое является нашим глобальным домом» (Д. Радьяр).

В этой связи уже мало жить «картинами мира», требуется прямое, чистое «зеркало мира», дабы вовремя заметить-подвигать незамутненные стереотипами, былыми напластованиями амбициозных «живописцев» истые изменения-тен-

денции. И увидеть в них очередное эпохальное «осевое время» (К. Ясперс), отчаянно призванное Естественным. Поэтому не случайно актуальная трактовка нынешнего времени столь «неуловима»: «состояние после конца, но до начала», «без-», «пост-», «постевременья», «мир-до-начала»... Словно стоим на пороге невиданного Дома-ожидания.

«Да, мы ждем, что в конце нашей искусственной культуры явится эпоха, когда уже не нужно будет никакого подготовительного общества для религии, кроме благочестивого домашнего очага» (Ф. Шлейермахер).

Одиночества не искупит в сад распахнутая столярка.
Я тоскую не по искусству, задыхаюсь по настоящему.
...я ищу не подобья – подлинника, по нему грущу, настоящему.
Все из пластика, даже рубища.

А. Вознесенский

«Современный человек не понимает, насколько его “рационализм” (растворивший его способность отвечать божественным силам и идеям) отдал его на милость психической “преисподней”... Его моральная и духовная традиция распалась, и теперь он расплачивается за это повсеместное распадение дезориентацией и разобщенностью... Это старый, можно сказать, вымирающий человек. На смену ему идет человек новый. И уже на пути к этому новому человеку мы понимаем, что нечто очень важное мы не понимаем, забыли» (К. Г. Юнг).

Оживить экзистенциальную память не есть печаль-ностальгия по настоящепрошлому, но нега-ностальгия по грядущему. А это – принципиальный, весьма выстраданный, необходимый чувственно-ментальный сдвиг-скачек.

«Дело именно в том, что это возвращение нуждается в скачке, для которого пришло время, время мышления, отличное от исчисления, которое сегодня отовсюду протискивается в наше мышление» (М. Хайдеггер).

И проникает стараниями апостолов-посланцев из того же грядущего, пророками, которых, как известно, не сразу признают-жалуют в своем-нашем Доме-отечестве. Хотя имена-предназначение некоторых уже известны.

Так, Сверхчеловек, в котором Ф. Ницше увидел-признал Творца исторического развития. Поднявшись над повседневной суетой-сует, он отвергает образ «последнего человека», уставшим-изнуренным жизнью, удовлетворяемый разве что поблажками комфорта-безопасности.

«И пусть разобьется все, что может разбиться об наши истины! Сколько домов предстоит еще воздвигнуть! – Так говорил Заратустра».

Или Родомысл, что, по убеждению Д. Андреева, есть тот, «чья деятельность оказывает решающее и благотворное влияние на народную судьбу... волей демиурга сверхнарода». Вдохновленный Розой Мира, одаренный опытом-усилиями нескольких поколений он решает насущную дилемму-выбор между «дикой природой и природой-садом, а в выборе между природой-садом и антиприродой». И наш взлет-возвышение над самими собой предполагает погружение, «чтобы войти возможно глубже в Природу, в жизнь стихий, и войти притом не как разрушителю и не как любознательному испытателю, а как сыну, после многолетних скитаний на чужбине возвращающемуся в отчий дом».

Мудрецы-пророки всех времен-культур не уставали предупреждать о необходимости искреннего покаяния, признания порочных заблуждений. Это и есть предпосылка «страстного, почти аномального интереса современного человека к истории» (М. Элиаде). Он жаждет не регресса и не оригинальности, но *Regressus ad originum* – Возвращения к истокам. То есть следование безначальноконечным Путем, преисполненным духовно-мистических переживаний «первобытия» как бытия в гармонии с Естественным, – Путем Дао.

«Повинуйтесь природе вещей, и вы будете в гармонии с Путем».

Раскинулись творенья, как трава,
Но каждое придет к своим корням.
И в этом возвращеньи – тишина,
Которой круг бываний завершен:
Представленный от века лад.

Дао де Цзин

«Человек – есть Дао» (К. Г. Юнг).

И только в такой «сверхчеловеческой» ипостаси можно в достатке уразуметь древнейшую мудрость Гермеса Трисмегиста (Трижды величайшего).

«Весь прогресс является Возвращением Домой» («Кибалион»).

Не в Дом семьи-народа-нации-континента, но в Дом человековечества. Истинная глобализация – взаимная забота.

«Планета обнимает нас также как стены родительского дома обнимали наше детство... Сегодняшний символ в виде Земного Шара проявляется как доминирующий фактор цивилизации, медленно рождающейся из нашего запутавшегося и трагичного западного общества... Если в прошлом энергия человека должна была направляться наружу, то есть на территориальные завоевания, то в наши дни эта энергия должна направляться внутрь, то есть на гармонизацию всепланетного организма всепланетного объединенного человечества... И в этом пробужденном состоянии прийти к вере в Человека, вере в Землю... Поле деятельности, которое является нашим глобальным домом» (Д. Радьяр).

...Все станет вновь великим и могучим.
Деревья снова вознесутся к тучам...
...Церквей не будет, бога задавивших,
его оплакавших и затравивших,
чтоб он, как зверь израненный, затих.
Дома откроются как можно шире,
и жертвенность опять родится в мире –
в твоих поступках и в делах моих.

Р. М. Рильке

Святая, хотя и вынужденная жертвенность в вере-подвиге к Дому человековечества после многовекового «падомничества» по чужбине и усталости духа воистину спасительна. И не «смерти в сражениях», но «обновления» требует сей Дом, потому как «ныне пришло спасение дому этому» (Лк. 19:9).

Не про нас-теперь ли эти откровения «Сына Человеческого». И не к нам ли, обездоленным в Доме, ставшим токсичноопасным, обращены его обещание-завет приготовить достойное Место?..

...Видится, вновь провиденческие «волхвы с Востока» несут-доносят евангелие-благость о грядущем Доме.

Индиец Пулла Тирапути Раджу объясняет потребность-факт насущного сближения культур с концом Второй мировой войны, глобального конфликта-конфронтации. И не только для недопущения очередного всепобоища, но во имя со-в-местного созидания. Поскольку ни одна нация не может ныне изолироваться в своем Доме: «Она желает знать, что другие думают о ней и как они действуют по отношению к ней. Братство наций и рассматривается, чтобы стать таким же важным, как братство человека в любой отдельной стране». Будучи «психологическим существом со своим собственным разумом, смотрящим назад в прошлое и вперед в будущее, со своим внутренним взглядом», Человек является-служит общим знаменателем, ссылаясь на который проверяются религии, философии, идеологии, наука.

«Знаменатель» как знамение нового-актуального мировоззрения, «сравнительной философии», которой вменяется «сделать доступными ценности других традиций настолько, что каждая может развиваться через включение в себя всего ценного в остальных». Основная человеческая природа не только везде одинакова, но также «когда мы рассматриваем длительный отрезок истории, то видим, что нет восточного взгляда, который бы отличался от западного взгляда на жизнь».

Китаец Фэн Юлань исповедует «Всемирную философию будущего» («Future World Philosophy») с основополагающей идеей о надцивилизационной общности человеческого сознания, обусловленного всеобщим сходством человеческой природы. Следовательно, общностью человековеческой экзистенции в Домомире с единством хозяина-гостя, Своего-Другого. «Человечество имеет общее естество, оно также имеет общую проблему человеческой жизни». Поскольку подчинено «новому ли-сюэ», актуальному Принципу, «учению о человеческой природе и мире идей», которое вырастает из учения «старого».

Не об этом ли «приходе» уже давнишние по нашим меркам пророчества?

Мир ждет повелителя Света и знаний.
Казалось, что он никогда не придет.
Дорогу Гермеса мостят ожиданьем,
И гений Востока в любви оживет.

Нострадамус

Не в отчаянии ли от своей тягостной «западности-западности» поэтическая душа рвется к нему?

«Я послал к дьяволу пальмовые ветви мучеников, радужные лучи искусств, гордость изобретателей, рвение грабителей; я вернулся к Востоку и к мудрости, самой первой и вечной» (А. Рембо).

Не его ли так взалкала другая поэтическая натура?

...Когда ж забрежжется восток
Лучами жизни обновленной?

Н. Гумилев

Не к неизбежной ли встрече с ним призывает
мистическая мудрость?

Новые, новые, новые соберутся.

Считайте друзей, намечайте врата будущего Восхода.

«Агни-йога»

Трижды новые – жаждут не регресса и не оригинальности, но *Regressus ad originem* – Возвращения к истокам, дабы не просто воспроизвести, но оживить «работу примитивной души» (Г. Башляр). Поэтому ныне они собираются на пороге Дома-эйкоса под знаменем **экогуманистики** (ecohumanities), исследования тех форм и признаков человеческого в нас, которые с развитием техносреды постепенно уходят в прошлое, отмирают, словно уже никчемный рудимент. А главное, способствования явлению в мир **экоиндивида** (eco-individual), избегающего техносреду, отданного естеству Природы-Культуры. Это должен быть **экоэго** (eco-ego) – человек, углубленный в свой интеллектуально-моральный мир без технических посредников-поводырей. Ибо это будет **эко-спиритуальность** (eco-spirituality) – духовные искания в недрах традиционных религий-культур без технических стимуляций мозга-духа и всяческих нейронных имплантов (Эпштейн).

«По природе люди сближаются, по привычкам отдаляются» (Конфуций).

...Древненоваторский Принцип подразумевает вневременную универсалию Культуры, отвечающую на запросы-потребности мирового Домограда. Естественно, для счастья, внутренняя иерархия которого, по Конфуцию, – восхождение от того, чтобы тебя понимали, через любовь к тебе, к любви твоей.

В подобный город счастья приглашает «Роза Мира».

«Мне видится, как в крупнейших городах мира, а потом вообще во всех городах воздвигаются очаги и источники новой религиозной культуры: я с юности привык применять к ним наименование верграда – города веры» (Д. Андреев).

Обитель веры в благоразумие Естества человеческого и естество благоразумия. Посему верграда живут природным разнообразием-гармонией, «составляя единое целое с системой парков, водоемов, улиц, рощ и площадей... Эти парки создадутся для того, чтобы через высокое эстетическое наслаждение развивать чувство стиля и художественного вкуса, чувство историческое и метаисторическое, чувство культурного универсализма и общечеловечности... Сам зеленый массив прорезается в длину главной пешеходной дорогой, а вправо и влево от нее ответвляются извилистые дорожки, образуются поляны и цветники, а среди могучих древесных групп и куртин открываются, здесь и там, скульптурные сооружения нового типа. О, они будут разнообразны почти до бесконечности».

Все здесь создано-подчинено «внутренней работе» – «средоточью духовной и культурной жизни», «глубоким мистериальным обрядом, связующим сердца живущих ныне со всем просветленным человечеством». Тому и служит особый Дом-«общежитие» – «окруженный тихим и безлюдным садом, разделенный на небольшие звукоизолированные помещения, медиторий представляет собою круглое, башнеобразное здание в несколько этажей. Вокруг лестнично-лифтовой клетки радиусами расположены однотипные, очень просто обставленные кабинеты: удобное кресло, кушетка, небольшой стол, за окнами – деревья сада». Вольный обладатель сего Дома «получает на несколько часов возможность поль-

зоваться совершенной тишиной и покоем; в его распоряжении – предметы, необходимые для разного рода медитаций».

В Верграде органично переслились «природа-привычки» человековечества во всех его своеобразиях-инаковостях. Ведь «на протяжении всей истории человеческой мысли наиболее плодотворные открытия происходят на пересечении двух различных систем мышления... Поэтому, если они действительно пересекаются, если они имеют столько общего, что становится возможным их подлинное взаимодействие, то от этой встречи можно ожидать новых и интересных событий» (В. Гейзенберг).

...Вполне вероятно, по сроку «Роза мира» наречется «Евангелием от Даниила», ибо истинно содержит благовест во спасение Человека-Культуры. И этому же служат возникновение и интенции «единой философской культуре», «единой философской традиции землян». При этом сохранение экзистенциальной диалектики и синергетики «природы-привычек», «общего-уникального», «одного-единого», «абсолютного-относительного».

Даже без намека на обязательную альтернативность, не говоря уже об антагонизме.

«Прежде идеал представлялся нам как поглощение всего неким Абсолютом – теперь нам нужно признать ценность “непреодолимых рубежей”. Дабы, говоря о всем человечестве, теперь и впредь знать, как возможно объединить любовь к тождественному и любовь к иному, быть верным себе – и одновременно быть с другим, сбережение идентичного и похожего при встрече с различным» (Люс Иригаре).

«Сокровенное и сущностное передается не словом, а общением к любви. Любовью, пробуждающей любовь, передают люди накопленное наследство. Но отторгните единственный раз одно поколение от другого, и любовь умрет».

В том, что существует, запрятано больше премудрости, чем может вместить слово.

Видимо, из таких же соображений «Роза мира» детально не описывает Дом человека-семьи, дабы загодя не навязывать его облик-существо и тем более не устанавливать

«непреодолимых рубежей» Домотворчеству. А оно непременно выйдет на общечеловеческие идеи-ценности.

«Если бы я решил выстроить дом для истинных моих друзей, я бы не справился – так он должен быть огромен – нет человека, который не был бы мне другом, хотя бы одной своей малоприметной черточкой...».

На этом искони зиждется идеал Дома-ойкоса (от др.-греч. οἶκος – жилище, местопребывание), из которого ныне вышли на простор мироустройства и экуменизм, и многоплановая экология, включая социальную и «экологию души» (Д. Лихачев).

В возможности-условии счастья добиваться счастья.

Но, люди, счастье наше в том,
Что счастья мы хотим упорно,
Что на века мы строим дом,
Свой мир живой и рукотворный.

А. Твардовский

В сущности, в Доме воплощена безумномудрая мечта всего человечества – опровергнуть аксиому: все мы – лишь постояльцы в этом Доме-мире. Человек хочет доказать всем, и себе в первую очередь, что уж он-то не постоялец, не временщик, раз у него есть Дом. По крайней мере, сотворается в единении-совершенстве магическом: «сделать из двух одно и тем самым исцелить человеческую природу» (Платон).

Не просматривается ли в этом «андрогине» опять-таки «восточно-западный» симбиоз? Причем не в общекультурном исполнении, в феномене взаимо-инакового мышления-чувствования. Это, в частности, означает отказ от рационалистического волюнтаризма, от деспотии-монархии науки.

«Наука не укрепила, а ослабила наше чувство человеческих ценностей». Притом что «человеческая жизнь, в сущности, является корпоративной жизнью». Поэтому абстрактная логика не может быть критерием: реальный критерий – это жизнь человека (Раджи).

«Дом для людей! Рассудку ли тебя строить? И способен ли кто-нибудь выстроить тебя как цепочку логических заключений? Ты – реальность, но ты – нереальность тоже...».

Подобные убеждения-откровения страницы многотомного Ветхоновейшего Завета, где страницы отведены экзегезам наследия Мэн-цзы (ок. 372–289 до н. э.), его самобытного воспоминания о будущем: «Небо и Человек пребывают в гармонии и единстве» (*тянь-жэнь хэ и*) и о высшем познании, как «исчерпаний сердца-разума» (*цзинь синь*). А оно зиждется на тождестве Природы-Человека и Природы-Универсума как Целого. Так провозглашающая принцип холистической картины мира, нашедшей согласие-переключку в Ноосфере (В. Вернадский), «Божественной среде» (П. Тейяр де Шарден), в «планетаризации сознания» (Д. Радьяр), «планетарном мышлении» (П. Успенский). Наконец, в единственно достойном Порядке для истой Жизни.

«Жизнь – единственная истина для меня, и я не признаю иного порядка, кроме целостности, которая объединила в одно дробность мира... Мой порядок – это общее дело, где каждый в помощь благодаря другому. Я должен стать творцом, чтобы поддерживать такой порядок».

Порядок, снимающий напряженную проблематику «другого», теперь-уже самообращенного в холистическое Я-Мы, в сотворчестве с Природой-Естеством в закладке-культивировании планетарного ДомМестоса. И его не понять-постичь фрагментами-очерково.

Так что находятся не только пророки, но и реальные подвижники – исполнители сокровенных чаяний.

Современный фаворитный американский зодчий Стив Холл – последовательный апологет энвайронментальной (средовой) парадигмы, которая зиждется на «духе места». Притом что «место» как феномен живой априори требует культурного контекста, в котором концептуальная идея «укорененности» не только рефлектирует специфику местной традициональности, но одновременно конституирует ауру места, имманентно проникая в ее квинтэссенцию. Отсюда принципиален и культурный контекст, обусловленный не только требованием артикулирования мемориальной значимости «места», но культурным его содержанием, мощным стимулятором переживания субъектом ситуации и атмосферы «места». «Важно зацепить идею, которая парит в

воздухе каждого места. Это может быть все что угодно: истории, передаваемые из уст в уста, живой фольклор, неповторимый юмор. Ведь оригинальные и аутентичные элементы культуры настолько сильны, что заставляют нас забыть о стиле».

В подобных «откровениях» состоит мотивация-насущность смены, по крайней мере существенного оздоровления цивилизационной интенции Запада культурной парадигмой Востока с его преданным традиционализмом и культом естества. Потому весьма символично, что «Афинская хартия» (1933) с ее стойкой верностью рациональному модернизму преклонилась перед «Пекинской хартией» (1999) с ее слоганом-заветом «Места с душой». Он, пожалуй, как нигде, был выстрадан на тонкочутком Востоке.

«Человеческая цивилизация настолько изменилась по сравнению с прошлыми веками, что простой человек уже не может владеть пространством, обладать им. Мы ушли так далеко вперед, что человек должен считать себя счастливым, если у него есть клочок подстриженного газона, посреди которого ему даже удастся выкопать маленький прудик для золотых рыбок и соорудить искусственную горку, на которую муравей заберется за пять минут. Эти нововведения в корне изменили наши представления о доме. Теперь уже нет речи ни о птичнике, ни о колодце, ни о площадке, где дети могли бы ловить сверчков и в свое удовольствие вымазаться в грязи. А вот наше жилье превратилось в голубятню, которой присвоено красивое название “квартира” (Линь Ютань).

Неспроста призыв, возвращение к Месту-колыбели исходят из родины Дракона, первенца-царя животного мира, привносителя добра-процветания, счастья-долголетия. Дракон-самка не спеша откладывает яйца, так и детеныши вылупляются через тысячу лет и могут менять свое обличие. Не обнаружил-вызвал ли провидческий гений-жрец пиита возвращение-реинкарнацию одного из них, «повелителя древних рас»? Ибо нашел же он «нить золотую», что «связует его и нас». И беседа с ним по душам, вздохнул облегченно:

Много лет провел я во мраке,
Постигая смысла бытия,
Видишь, знаю святые знаки,
Что хранит твоя чешуя.

.....

Первый раз уста человека
Говорить осмелились днем,
Раздалось в первый раз от века
Запрещенное слово: – Ом!

.....

Освежив горячее тело
Благовонной ночью тьмой,
Вновь берется земля за дело,
Непонятное ей самой.
Наливает зеленым соком
Детски-нежные стебли трав...

Н. Гумилев «Дракон»

«Мы зовем в страну, где говорят деревья, где научные союзы, похожие на волны, где весенние войска любви, где время цветет, как черемуха, и двигает, как поршень, где зачеловек в переднике плотника пилит времена на доски и, как токарь, обращается с своим завтра... Мы, исследовав почву материка времени, нашли, что она плодородна» (Велимир Хлебников).

Не иначе, как ностальгия-грезы о будущемпрошлом...

...Итак, проект «Жилище будущего». В нем не было ни ошеломляющих, невиданных доселе конструкций-материалов, ни фантастических агрегатов-механизмов. Правит-повелевает чарующее «девственное» многообразие Природы – одновременно уживаются весна-рассвет, лето-полдень, осень-вечер, зима-ночь. Для этого понадобился цветной фотоколлаж-мозаика из множества разноразмерных кусочков-вырезок.

В этой перманентно живой среде некая, похоже, постройка. Впрочем, таковой она видится только с первого взгляда, а при внимательном рассмотрении вовсе не сооружение это, но мирно-вольное собрание архетипических символов, искони преисполняющих жилище человека: калитка, крыльцо, стена, дверь, окно, кровля, и гнездо аиста над ней. Конечно, дымоочажная труба...

Не башня-цитадель, бутон-цветок экзотического произрастания. Ни мал-высок, зато не уступает тем же башням стойкости, ибо гибко укоренен он в плодородную Землю и подпирается со всех сусветных сторон вольными Небесами.

Подобное творение Велимир Хлебников, возможно, назвал бы Домом-поле:

«Дом-поле; в нем полы служат опорой пустынным покоям, лишенным внутренних стен, где в живописном беспорядке раскинуты стеклянные хижины, шалаши, не достающие потолка, особо запирающиеся вигвамы и чумы; на стенах грубо сколоченные природой олени рога придавали вид каждому ярусу охотничьего становища; в углах домашние купанья».

И сей Дом волен-самодостаточен, дышит полной грудью: Вот Я-Дом! Мое отчество – одиночество. Мое отчество – человековечество!

Когда вершины нашего неба
Друг с другом сольются
Над домом моим появится крыша
Нынче вечером
И станет в доме моем светло
Но что назову своим домом
Дом мой тепер повсюду
Дом мой тепер где люди
А самым желанным из всех домов
Нынче вечером
Мне будет жилище моих друзей.

П. Элюар

...В неопределенном поодаль Другой-Дом, левее Третий-Дом, на пригорке Четвертый-Дом, в низинке Пятый Дом. Или наоборот, это не имеет значения. Потому как нет и в помине пресловутой проблемы ни Другого, ни какого из последующих-предыдущих.

Явились люди в мир чтобы понять друг друга
Услышать и понять и полюбить
Их сыновья отцами стать должны
Их сыновья голодные нагие
Должны опять изобрести огонь
И заново людей изобрести

Природу воссоздать и воссоздать отчизну
Отчизну всех людей
Отчизну всех времен.

П. Элюар

И каждый из Домов также как нечто живое-житийствующее. Ни стиля, ни школярии архитектурного формообразования-зонирования. Неосязаемая воздушность-прозрачность. Можно сказать, ангельская...

Впрочем, если верить Э. Сведенборгу, утверждавшему, что самолично был в гостях у ангелов, они творят-имеют Дома по нашему образу-подобию:

«Это совершенно такие же дома, как и у нас на земле, но гораздо красивее; в них много различных комнат, отдельных покоев и почивален, а вокруг – дворы с цветниками, садами и полями... Мне дано было посещать их, осматривать их со всех сторон и даже входить в самые их дома...».

«Неверы смеются над нами, предпочитая воздушным замкам реальные, осязаемые. Но радуется только неосязаемое».

Уже потому, что мы не в праве навязывать жителям-обитателям Будущего свои во многом уже устаревшие технические и композиционные принципы-стереотипы.

«Было понятно, что постройка жилищ должна быть делом тех, кто их будет населять» (Велимир Хлебников).

Дом – сугубо личностное дело-творчество. Одно, что предусмотрено – гармоничное единение Человека-Природы. Сохранение в нем целостности, благоугодной раскрытой все-каждому, а не раскромсанной на частные делянки-угодья.

Я себе построил дом посреди дубравы.
Посадил вокруг него шелковые травы.
И серебряным его окружил я тыном.
И живу теперь я в нем полным властелином.

.....
И ворота у меня без замков железных,
Но закрыты как врата областей надзвездных.
Лето, Осень, и Зима, с нежною Весною,
Говорят душе: «Люби. Хорошо со мною».

.....
Хорошо построить дом в тишине дубравы.

К. Бальмонт «Мой дом»

Тишина! Не нарушают ее механизмы-агрегаты. Разве что дельтапланы, воздушные шары, ветряки делают ее еще более тихоинтимной. Поумолчанию в неге как предтеча долгожданной встречи.

...тишина мне шепчет снова:
Не так нам встретиться пора...
Вдали от суетных селений,
Среди зеленой тишины
Обрести утраченные сны
Иных, несбыточных волнений.

А. Блок

Как, впрочем, и сбыточных переживаний благодатного детства. Фактически из них строит свой сказочно-реальный Дом анонимный «Джек».

...Вот два петуха,
Которые будят того пастуха,
Который бранится с коровницей строгою,
Которая доит корову безрогую,
Лягнувшую старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.

(Английское народное детское стихотворение-сказка)

Сказка сия – что перевод в реальность, на детский язык, старинной мудрости-наивности Лао-цзы (прозвище, означающее «старый ребенок»): «Люди дорожат своей жизнью. Им нелегко покинуть родные места и уехать в дальние края. У них будут лодки и повозки, но никто не будет на них ездить. У них будет оружие, но никто не будет им пользоваться. Люди вернутся к простой и скромной жизни. Такое общество достигнет процветания. У людей будут вкусная еда, красивая одежда и уютный дом. Все будут довольны своей жизнью, будут спокойно жить и радоваться повседневности».

И надо же всего то...:
Чтобы соседние земли были обращены
лицом друг к другу,
и можно бы было слушать друг у друга
лай собак и пение петухов.

...Сквозь прорези-проемы «Жилища будущего», дверико-
окна видится нечто реально живое-подвижное. Приглядев-
шись, признаешь самого себя – изображение в зеркале-
подложке. Первое, единственно-первое лицо уникального,
по определению, ЧеловекоДома, бездонного колодца воспо-
минаний-грез.

...В доме земля
Женщина на земле
Ребенок зеркало око вода и огонь.

П. Элюар

Отражение сие подобно оберегу – не дает заглянуть-
разглядеть, что же там внутри, в Зазеркалье. Посему отхо-
дишь, чтобы... вернуться. К нему-себе.

...Немного отойду и возвращаюсь,
Любуюсь – до чего красиво здесь.
Вот домик мой, вот ручеек журчащий,
А вот тростник поднялся словно лес.
Глаза туманятся слезой невольной.

«Цветы Сливы в Золотой вазе»

Волнения переполняют «вазу» обыденного, одаривая вос-
ходящим из себя же озарением.

Из волнения жизни истекая.
Дух царит, что исцеляет все,
Родничок звенит в тонах зеленых,
В откровеньи, будто мир спасен,
Сердце станет нежно-просветленным.

Г. Гессе

...На Планете людей невозможно окончательно оставить-
кинуть Дом, ибо это планета Дом-Домов. Ведь только «отой-
дешь», и уже тянет-влечет обратно – нечто добавить-изме-
нить, прибрать-почистить, переделать-переписать, будто

сокровенную книгу Я-судьбы. Ведь она не для библиотек, для Дома. Посему хочешь – не хочешь...

«Хочу закончить свою книгу... Я меняю себя на нее. Мне кажется, что она вцепилась в меня, как якорь... Мне ничего не нужно. Я не преследую никакой корыстной цели. Не нуждаюсь в одобрении. Я теперь в добром согласии с самим собой... Быть может, это будет всего лишь толстенный посредственный том, мне совершенно все равно – ведь это лучшее из того, чем я могу стать...».

Если «будет», то у нее есть будущее, как и у Домиады, априори нескончаемой «в этом мире вечно молодом» (П. Элюар), пока от любого лица есть-житийствует ЧеловекоДом Бытия.

ИЗ ТОМА В ТОМ ТОМИТ ИСТОМА
О ТЕПЛОТЕ УЖЕ-ЕЩЕ НЕВЫРАЩЕННОГО ДОМА.
ЗАБОТИТЬ АЛЧЕТ ЧЕЛОВЕКОДОМ,
ДАРОВАННЫЙ ПОКОЕМ-ТИШЬЮ ПРИТОМ.
УЖЕ-ТЕПЕРЬ, А НЕ ПОСЛЕ-ПОТОМ.
ВО ВРЕМЕНИ, БУДУЧИ КРОТКОМ.
НЕ ЗА ВНЕШНИМ ОБЛИКОМ-ВИДОМ
ЗА ПРОЗРАЧНО-ТАЙНЫМ КОДОМ
НЕ СЛУЧАЙНЫМ МИМОХОДОМ –
С ВЕЧНОСТИ ДЫХАНЬЕМ-ВЗГЛЯДОМ
С МГНОВЕНИЯ ОПЕКОЙ ВПЕРЕДИ-СЗАДИ...
И КРАСИВЫХ СЛОВ НЕ НАДО.

ВСЯК ТОМ ОСТАНЕТСЯ ОБЕТОМ.
ЯРКОКРОТКИМ ОТКРОВЕНИЕМ-ЗАВЕТОМ.
ИСПОЛНЯЯСЬ МАГИЕЙ-ОБРЯДОМ
НЕВЕСТЬ ГДЕ, И СОВСЕМ РЯДОМ.
В ДОМЕ ДРЕВНЕМЛАДОМ,
ВКОНЕЦ ЗНАКОМОНЕВЕДОМОМ.
КОМУ КРАСАВЦЕМ, КОМУ УРОДОМ
УЕДИНЕНИЯ ГОЛОДОМ,
ОДИЧАЛОСТИ ХОЛОДОМ...
ЛЮБЫМ МЕЧТАНЬЕМ-ПОВОДОМ,
СУДЬБОЙ «ОТ-БЫЛО» К «БУДЕТ-ДО».
ОТ ВЫСИ КРОВЛИ
ДО ПОДНОЖИЯ КРЫЛЬЦА.
ДО ДУШЕВНОЙ РАДОСТИ-БОЛИ,
ОТ ПЕРВЕЙШЕЙ ДУШИ-ЛИЦА.